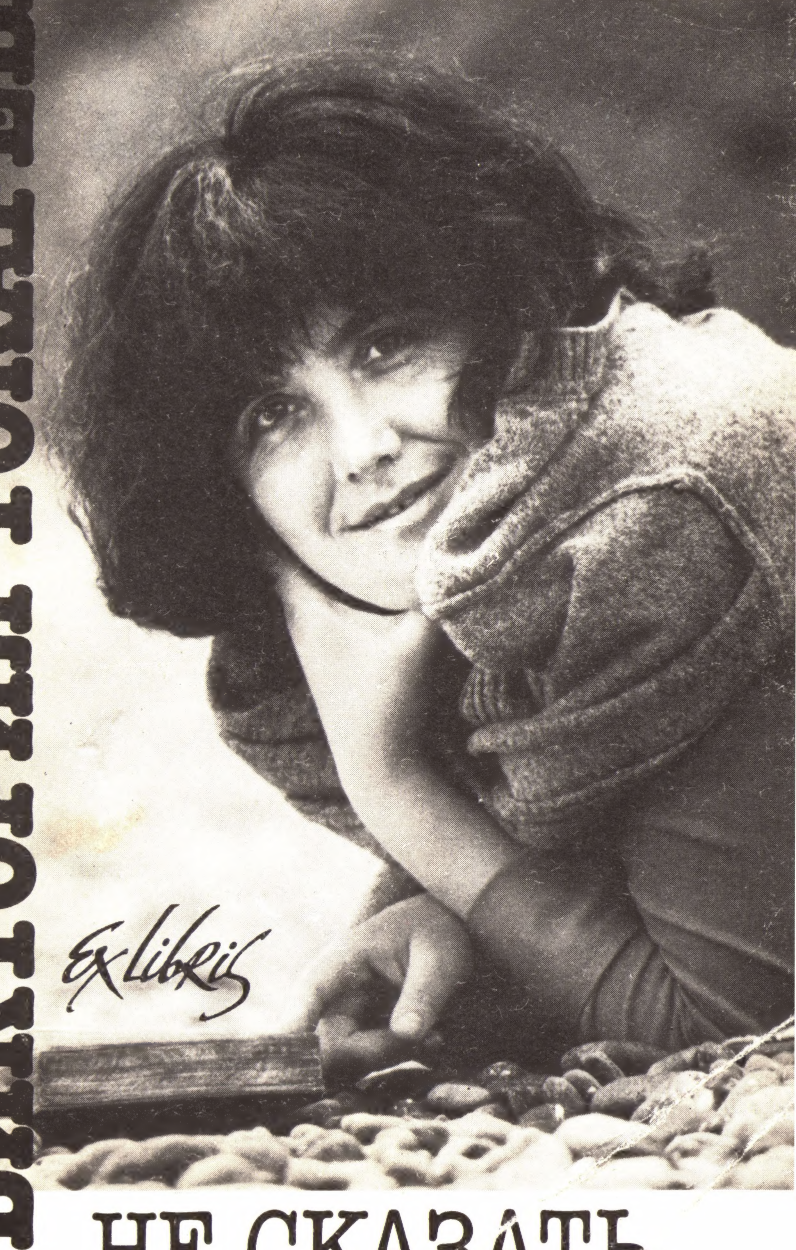
# ВИКТОРИЯ ТОКАРЕВА

# СКАЗАТЬ —




# НЕ СКАЗАТЬ...

ВИКТОРИЯ ТОКАРЕВА

# СКАЗАТЬ — НЕ СКАЗАТЬ...

ПОВЕСТЬ
РАССКАЗЫ

EX LIBRIS
Издательство
Советско-Британского
совместного предприятия
СЛОВО/SLOVO
Москва · 1991

ББК 84Р7
Т 51

Художник
ВЛАДИМИР МЕДВЕДЕВ

Т $\frac{4702010201—47}{М 128(03)—91}$ Без объявл.


ISBN 5-85050-267-X

## ХЭППИ ЭНД

Всю субботу пекли пироги, а все воскресенье их ели. Пироги были с мясом, с капустой, с яблоками, с вишнями, с картошкой. И вот эти, с картошкой, пока горячие — были особенно вкусными. Эля съедала четыре штуки, желудок растягивался до того, что болела диафрагма, и вся она казалась себе переполненной, неповоротливой, как беременная бегемотиха.

Эля с ужасом и каким-то этнографическим интересом смотрела на стариков — родителей мужа. Они втягивали еду, как пылесосы. Потом, отвалившись, в прямом смысле слова — откинувшись на стульях, начинали кричать песню. Пели три поколения: старые Кислюки, сын и внук Кирюшка. И были окончательно счастливы. Особенно старуха. Да и как не радоваться? Время досталось лихое, попробовала и холодного и горячего. Когда выходила замуж в тридцатом году, у нее не было нижнего белья. Рубаху и трусы сшила из плаката. На трусах — белые буквы масляной краской. Потом краска смылась, а буквы все равно остались. Что-то там «да здравствовало». Нищета, голод, только и радости, что молодые. Но молодость никак не чувствуешь, а голод подпирает до зелени в глазах. В тридцатые годы Украина голодала. В войну тоже голодали. И после войны, в сорок шестом, пришла большая засуха. Научились есть впрок: а вдруг завтра не будет.

Время для жизни выпало крутое, но чем труднее живется, тем ярче мечтается. И когда мечтали о светлом будущем, то мечта выглядела в виде стола, заваленного пирогами.

И вот они пришли, эти самые светлые дни, и вот пироги — с мясом, с вишнями, с картошкой. Сын Толик

вырос, получил высшее образование и теперь на шахте — юрист, сидит наверху, дышит свежим воздухом, не то что старый Кислюк — всю жизнь под землей, как крот, все легкие угольной пылью забиты. Внучок Кирюшка — красавчик и умник, ни у кого нет таких детей. Правда, на невестку похож, тощенький, как беговой кролик. Ну да все равно на кого похож, хоть на Гитлера. Главное, чтобы не отобрали. С появлением внучонка дом помолодел, живи себе и умирать не надо. Так-то старости вроде и не чувствуешь, но времени впереди осталось мало. Раньше, бывало, время торопили, чтоб скорей прошло. А теперь дни летят один за другим и за хвост не схватишь. Только что была зима, а уже лето. Раньше было: понедельник, вторник, среда, четверг, а теперь: весна, лето, осень, зима. Ложишься спать и не знаешь, проснешься или нет. Однако две жизни не проживешь, выше себя не перепрыгнешь. Живое думает о живом. У Кислюков свой сад и огород — живые витамины круглый год. Откармливали свинью, держали индюков. Целый день забит с утра до вечера, успевай поворачивайся. Как потопаешь, так и полопаешь. Покрутился — взрастил. Взрастил — продал. Продал — заработал. Заработал — трать. Потратил — радуйся. И все сначала. И все в жизни понятно. Сам живешь и детям помощь, слава богу, в карман к сыну не заглядывают.

Невестка все равно недовольна, сидит, будто репей в заднем месте. А чего недовольна, спрашивается? Из каких таких господ? Лучше бы еще тройку детей родила, пока не выстарилась. Но Кислючиха не вмешивается, с советами не лезет. Сын сам выбрал, сам пусть живет. А то еще разведутся, ребенка отберут, не приведи господи. Пусть все как есть, не было бы хуже.

Эля закурила.

— Не кури,— приказала Кислючиха.— Здесь ребенок, для него это пассивное курение.

— Да ладно,— вступился Толик.

Толик изо всех сил старался, чтобы Эле было хорошо у стариков, но у них был разный гонор. Мать все время упирала на слово «даром». Эле не нужны были ни пироги, ни старики, ни упреки. А Толику необходима была и Эля и родители, и он крутился между ними, вибрировал душой и уставал от вибрации.

— Что значит ладно! Ты отец или не отец?

Эля поднялась, вышла из избы.

Смеркалось. Во дворе стоял стол. В столе — большая дыра для ствола старого дуба, и дуб как будто прорастал сквозь стол, раскинув над ним свою богатую крону. Возле стола, как холм из сала, дыбилась свинья. Эле казалось, что еще немного и она превратится в такую же хрюкающую субстанцию с глазами, повернутыми внутрь чрева.

Все началось с того, что мать вышла замуж за Илью и привела его в дом. Эля была уже студенткой второго курса текстильного института и привыкла быть у матери главной. А теперь стало двое главных — двоевластие, и, соответственно, борьба за власть. Эта борьба не выражалась открыто, но существовала как фон. Повышенная радиация. На этом фоне Илья передвигался по квартире, ел, пил, спал. У него была манера ходить голым по пояс в пижамных штанах. Из-под мышки торчал жесткий куст ржавых волос. А на груди и животе волосы были с проседью и курчавились. Илья шумно скреб живот ногтями, и если не смотреть, а только слушать, то можно подумать: корова чешется о забор. При этом Илья громко вопрошал:

— Жена, ты меня любишь?

Мать всхохатывала и двигалась по квартире с неуклюжей грацией, как цирковая лошадь, и при этом норовила случиться на пути Ильи, попасть ему под руку. Илья снисходительно брал двумя пальцами ее щеку и тряс. Это была ласка. Двадцатилетняя Эля считала, что любовь существует только для двадцатилетних, в крайнем случае для тридцатилетних. Но в пятьдесят... В пятьдесят это противоестественно и очень стыдно, и если уж такое случается, надо прятать, скрывать, ходить опустив глаза долу, а не ржать победно, как лошади-ветераны.

Эля в знак протеста стала покупать себе отдельную еду. Илья простодушно подворовывал, а когда Эля заставала — шастал из кухни, как крыса, жуя на ходу. И это в пятьдесят-то лет. В первый юбилей. Эля разговаривать с ним не желала, писала ему записки. Он тоже отвечал ей письменно. Мать разрывалась между своими двумя любовями. Кончилось все тем, что Эля ушла жить в студенческое общежитие.

В общежитии койки стояли тесно, как в больнице. Учились вяло, через отвращение. Думали и разговари-

вали только об одном. А Милка Никашина, кровать которой стояла у стены,— купила в комиссионном японскую ширму и практически вышла замуж. И всем было мучительно неловко, когда за ширмой воцарялась напряженная живая тишина. Эля уходила из комнаты. Домой идти не хотелось. Податься было некуда, и она без цели бродила по улицам, заходила в кинотеатр «Арс». В кино тоже показывали про любовь, и Эле казалось, что все живое только и норовит притиснуться друг к дружке, и даже мухи, которые чертили в воздухе фашистские знаки, и те успевали совокупиться, не переставая при этом чертить. Мир сошел с ума.

Однажды в кинотеатре Эля познакомилась с Толиком Кислюком. Он продал ей лишний билет. Толик оказался иногородним студентом с юридического и тоже жил в общежитии. Внешне он был похож на несчастного немца: белесенький, голубоглазый, голова яичком, ничего особенного. Замечательным в Толике было то, что он не лез. Приходил, как братик. Смирно сидел. Потом вместе отправлялись гулять. Эля любила прогулки, у нее была потребность в движении. Особенно не разговаривали, больше помалкивали, но возле Толика было тепло и надежно, как дома до прихода Ильи. Однажды они поцеловались, и Толик заплакал от невыносимости чувств. Потом стали целоваться постоянно, и, поскольку не было ничего лучшего, Эля его полюбила. Любовь имела снисходительный оттенок, но все же это была любовь. Толик был совсем ее. Сидел в Эле по самую макушку и не хотел вылезать. А свое отдавать жалко в чужие руки, и Эля вышла за него замуж.

Сначала сняли комнату, потом угол. Нищета замучила. А тут еще Кирюшка родился. Мать звала к себе, рисковала личным счастьем. Но Кирюшка был такой тощий и синий, что бог с ним, со счастьем, лишь бы выжил. Эля жертвы не приняла, и все кончилось тем, что бросила институт и укатила в город Летичев. Одно название, что город. Его, наверное, и на военных картах не обозначают. Куры ходят по дороге. Один универмаг, один кинотеатр. Это была родина Толика. Здесь жили его старики. А Толик — человек стабильный, все имел в одном экземпляре: одна любовь, одна родина, одна жизнь...

Эля выбросила сигарету. Сигарета попала на сви-

нью. Свинья колыхнула груду жира и хрюкнула. Воскресенье было на исходе.

Завтра понедельник. Потом вторник. Среда — середина недели, и скоро пронесутся четверг и пятница. В субботу печь пироги, в воскресенье их есть. И это все. И больше ничего не покажут... Вышел Толик, остановился за спиной.

— Хочешь, Кирюшку к себе заберем, а то мальчик от нас отвыкнет? — виновато спросил Толик.

— Отвыкнет, потом привыкнет, опять отвыкнет. У него вся жизнь впереди...

Эля стояла чужая, жесткая. Толик испугался, прижал ее двумя руками, чтобы приблизить. Он прижимал ее и трясся, как цуцик на морозе. Эле стало его жалко. Она его любила. Правда, любовь постепенно принимала крен ненависти, но все же это была любовь.

Свинью накрыло сумерками. Воздух был напоен близким лесом и рекой. В мире покой и нежность, и хорошо знать, что так будет завтра, и невыносимо знать, что так будет завтра. Сердце рвалось на части. А все Илья. Не было бы Ильи — не случилось бы ни Толика, ни Летичева.

В понедельник Эля отправлялась на работу. Она шла по единственной в городе, а потому главной улице и знала, что во всех окнах прилипли носами к стеклам, рассматривают, во что она одета, и подсчитывают, сколько стоит каждая вещь.

А если по улице шла разведенная тридцатилетняя Верка, ту оглядывали с гораздо большим пристрастием, разыскивая на Верке место, куда можно поставить клеймо. И выходило, что некуда. По мнению летичевцев, на Верке негде клейма ставить. Эля знала Веркину жизнь: никого у Верки не было, молодость уходила, как дым в трубу. Просто: раз разведенная, значит, вне крепости и по закону стаи — можно пинать.

Универмаг — единственное в городе двухэтажное здание. Кабинет Эли находился на втором этаже. Она работала товароведом. Весь дефицит оседал у нее.

К двадцати пяти годам Эля расцвела: кудряшки, глазки, талия. Красота двадцатипятилетней женщины — еще одна, дополнительная власть, такая же мощная, как дефицит. Стало быть, у Эли две власти. А толку чуть. Вот если бы попасть в Москву. «В Москву, в Москву» — как чеховские три сестры. Москва отсекла

бы ее от пирогов, и от сплетен, и от свекрови. В Москве можно встретить знаменитость или миллионера и уехать в Америку. Сфотографироваться на фоне небоскребов и прислать фотокарточку Илье. «Вот смотри: где ты и где я». Как пели в детстве: «Я на эроплане. Ты в помойной яме».

Из окна Элиного кабинета — вид на почту. Возле почты молодые парни. К основанию брюк пришиты кольца от занавесок. Ковбои.

Постучал в дверь, а потом вошел директор школы Николай Анисимович,— смешной мужик, некрасивый, как будто сделанный из собаки. Протянул конверт с благодарностью в глазах. Благодарность так и искрится. Эля помогла достать его жене плащ на искусственном меху: и тепло и непромокаемо по вызовам бегать. Эти плащи давно из моды вышли, а им мода не указчица.

Эля дождалась, пока он отыскрился и вышел из кабинета. Заглянула в конверт. Там лежали два билета на концерт по рубль восемьдесят каждый. На другой стороне билетов было написано «Товарищ кино». Это значило: в Летичев приехали киноартисты — не очень знаменитые. Знаменитые — те по заграницам.

Эля вздохнула. Она еще не знала, что Николай Анисимович вручил ей судьбу в конвертике. Так это и бывает. В один прекрасный день приходит совершенно посторонний человек, вручает конверт, как будто переводит стрелку на путях. И с этой минуты твой поезд катится уже по новым рельсам и ничего от тебя не зависит.

Вышел крепкий жизнерадостный старик, бодро прокричал приветствие в стихах. Все захлопали и даже засвистели от восторга. Зал на пятьдесят процентов состоял из молодежи, их души были готовы к счастью и доверию, что ни покажи. Свет потушили. На экране выпрыгнул из окна и побежал по крыше соседнего дома молодой чекист. Вот он покатился, но зацепился за трубу и тут же, использовав трубу как прикрытие, стал отстреливаться, глаза сумасшедше-веселые от отваги. Эля вспомнила, что видела этот фильм в третьем классе, когда еще не было Ильи и они жили с мамой.

Свет зажегся, и на сцену вышел артист живьем. Между тем и этим лежали пятнадцать лет жизни. Каза-

лось, что того, молодого, взяли за ноги и провезли по асфальту лицом вниз и все лицо стерли. А потом перевернули лицом вверх, провезли на спине и стерли на затылке все волосы. Жизнь повозила человека. Однако зал встретил его с восторженной благодарностью, прощая ему вытертость и проецируя на него того, прежнего.

Эля заглянула в программку, чтобы познакомиться с фамилией. Прочитала: Мишаткин. Разве можно выбиться с такой фамилией? Вот раньше актеры звучали: Остужев, Качалов, Станиславский. А тут какая-то мультипликационная фамилия: Мишаткин. Поменял бы на Медведева, и то лучше. Мишаткин подошел к микрофону, взялся за него рукой, качнулся и чуть не упал в оркестровую яму. Но устоял. Посмотрел в зал простодушным, каким-то мишаткинским взглядом и сказал:

— Выхожу один я на дорогу; сквозь туман кремнистый путь блестит. Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу, и звезда с звездою говорит.

Эля вспомнила, что это стихи Лермонтова, но Мишаткин читал их как свои, даже не читал, проговаривал, как будто он только что их сочинил и пробует на слух. Все остальные артисты, которых Эля слышала в своей жизни, читали классику торжественно, будто на цыпочках, делая царственный голос, вибрируя голосом и бровями. А этот вбирал Лермонтова в себя, и получалось, что он и Лермонтов — одно и то же.

В небесах торжественно и чудно!
Спит земля в сиянье голубом...

У Эли замерзла кожа на голове. Как точно. Как собираются простые слова в единственно возможное сочетание. И какой космический размах. Голубое сиянье вокруг Земли увидели космонавты в середине двадцатого века, а Лермонтов за сто лет увидел его своим прозрением. Что значит гений. Эля тоже вчера стояла одна, пусть не на дороге, на крыльце. В небесах тоже было торжественно и чудно, но она даже головы не подняла. Что она увидела? Свинью под деревом и больше ничего.

— Что же мне так больно и так трудно? — еще ти-

ше, чем прежде, спросил Мишаткин.— Жду ль чего? Жалею ли о чем?

Эля заплакала. Толик взял ее за руку. Но что Толик...

— Уж не жду от жизни ничего я,— просто сказал Мишаткин, без сочувствия к себе,— и не жаль мне прошлого ничуть.

Мишаткину было себя не жаль, но ковбоям в зале стало за него обидно. Притихли.

Эля вдруг отчетливо ощутила свою причастность к великим. Она тоже вместе с Лермонтовым и Мишаткиным — тоже хочет забыться и заснуть, но не тем холодным сном могилы, а до лучших времен. До Москвы. До Америки.

Мишаткин проснулся от отвращения к жизни. Обвел глазами комнату. В ней было много коек. В Мишаткине метнулся ужас: не в сумасшедшем ли он доме? Но возле зеркала стоял коллега, артист Минаев,— тридцатилетний красавец, разглаживал лицо массажным утюжком. Может, и Минаев сошел с ума, рехнулся на своей красоте, но маловероятно. Минаев — это маленькая фабрика, работающая на себя. По утрам пьет теплую воду и бежит десять километров, в какой бы части света он ни находился. Даже в Париже, проснувшись поутру в отеле,— стакан теплой воды из термоса и пять кругов по Елисейским полям. Что бы ни происходило в жизни, даже если, не дай бог, конечно, объявили бы войну, Минаев опрокинет стакан воды, смоет шлаки с пищевода — и в путь за силой, здоровьем и красотой. Что ж, его можно понять: снимается голый по пояс, вся страна видит его накачанную грудь, его зубы один к одному, его волосы — упругие и блестящие, как шерсть у здоровой собаки, какой он весь Бельмондо а ля рюсс, и жена красавица, и ребенок красавчик, а к ребенку теща бесплатная, машина «Жигули» последней модели, родители подарили, квартира государственная. Все у него есть, и все бесплатно.

У Мишаткина жгло в груди от отвращения и обиды. Как он начинал пятнадцать лет назад. Второй курс института — и главная роль. В автобус было не войти, все узнавали. Приходилось на такси ездить, таксисты денег не брали. А потом — как обрезало. Выпал из воза.

И все казалось, что это ошибка. Вот возница натянет вожжи и повернет воз обратно и подберет лежащего в пыли Мишаткина. И все пойдет, как прежде. Но никто не спохватился. Мишаткин мгновенно взошел и мгновенно погас, как огонек, пущенный из ракетницы. Теперь приходится ездить «по огородам», в поте лица зарабатывать хлеб насущный. Минаев ездит из жадности, а Мишаткин из нужды. Уходит его время. Да что там говорить, ушло. Мать внуков просит, хочет кого-нибудь любить, заботиться. Надоело ходить за сорокалетним сыном, переживать один и тот же страх, что пьяного заберут в милицию, а там побьют. Был такой случай, гнули его в милиции, это называется у них «делать салазки», чуть спину не сломали. Не сказать, чтобы ни за что, распустил язык до плеча, а может, и руки, но ведь не спину же ломать. И вот всю жизнь так: провинился на копейку, а отвечай на рубль. Мать с тех пор боится, как его нет поздно — всех обзванивает. Сначала стеснялась, а потом уж и перестала. От такой жизни все притупляется, и совесть в том числе. Жалко мать. У Мишаткина на глазах выступили слезы. У матери своя жизнь не сложилась, все надежды на сына. А сын... какую старость он ей уготовил, ни одного спокойного дня у человека. А какая натура, сколько детского простодушия, доверия к жизни, любви к людям. Каждого умеет понять, каждый ей интересен, все-то у нее гении и красавцы, не то что мамаша Минаева — две задницы вместо одной. Одна там, где у всех, а другая там, где рот. Только откроет — и потекло рекой, сыночка встречает и провожает на собственной машине, всю жизнь любовника имеет в придачу к высокооплачиваемому мужу, сын положительный, не пьет. Ну почему так? Одним все, а другим ничего? И те, кому ничего, нисколько не хуже, а лучше тех, кому все. Мишаткин талантливее, чем Минаев, даже смешно сравнивать, а тем не менее Минаева во все фильмы суют, правда на эпизоды, но все равно намелькался, и денег — как у дурака махорки. Мишаткин застонал от несправедливости. Слабо позвал:

— Валера...

Минаев услышал, но не обернулся. Промолчал, разглаживая щеку.

— Валера, сходи, а... Будь человеком...

Мишаткин был убежден: если уж так случилось

в жизни, что Минаеву все, а ему ничего, то пусть он за это хотя бы сходит в магазин и принесет хотя бы самого дешевого портвейна.

Мишаткин-то был убежден, но тон все равно вылез просительный, зависимый. А когда один ощущает зависимость другого, то обязательно кочевряжится.

— И не подумаю,— отрезал косым ртом Минаев.— Я тебе не мальчик на побегушках. И вообще... Всю ночь шастал, пил, гремел, блевал. Я не выспался, а мне целый день работать. Три концерта.

— Так и у меня три концерта. Странный ты человек,— подивился Мишаткин.— Только о себе думаешь.

— Скажу Большаковой, пусть нас расселит. Я после гастролей как с войны возвращаюсь. Никаких денег не захочешь...

— Сходи...— простонал Мишаткин.

Минаев не ответил. Они были разными людьми, взаимоисключающими друг друга. Минаев считал, что Мишаткин — нормальный эгоист, довольно распространенный в современных условиях тип сорокалетних сироток. Можно разложить свои жизненные обязательства на всех вокруг: на родных, на друзей, на первого встречного, а самому сидеть сложив ручки и идти ко дну. Тело запущено, душа запущена, и всем вокруг жалко: ах, непонятый талант, хрупкая душа... Нормальный халявщик. Жить на халяву, пить на халяву... Отстреливать таких и зарывать на десять метров в глубину. Каждый раз, вернувшись с гастролей, Минаев отмывался в ванной от этих домов колхозника, от Мишаткина, отмахивался от воспоминаний, как лошадь от слепней. Но, оказавшись через какое-то время на гастролях,— искренне радовался встрече и селился вместе. Он его по-своему любил. За что? Может быть, за выгодный фон. Ни с кем и никогда он не чувствовал себя таким полноценным. Минаев знал все его безобразия, понимал, что им движет, и не боялся. А Мишаткин, в свою очередь, тоже знал, что хоть Минаев и скотина бесчувственная, но в трудную минуту не бросит, надо только проявить настойчивость.

— Валера...— слабо позвал Мишаткин, полностью отказавшись от амбиций правого человека.

В дверь постучали. Минаев торопливо сунул утюжок под подушку и открыл дверь. На пороге стояла молодая блондинка под Мерилин Монро. «Материал хо-

роший, но работы много»,— определил про себя Минаев. Он привык, что провинциалки падают на него пачками. Иногда это бывает кстати, а иногда нет, как сейчас. Блондинка вежливо поздоровалась и спросила:

— А можно Игоря Мишаткина?

Мишаткин поднял одеяло к самым глазам.

— К вам можно, Игорь Всеволодович? — хорошо поставленным голосом спросил Минаев.

Мишаткин обомлел. Блондинка не стала дожидаться, пока он разомлеет, вошла и села возле кровати, как врач возле больного.

— Меня зовут Элеонора Александровна,— представилась она.

Ее имя показалось обоим артистам длинным, состоящим из гласных, мягких «л» и ярких «р». Как музыка.

— Очень приятно,— хором сказали Минаев и Мишаткин, и это было правдой.

— Я вчера подошла к вам после концерта поблагодарить, но вы спешили и попросили меня прийти сюда,— напомнила Элеонора Александровна.— Я понимаю: вы пригласили из вежливости. Но мне это надо. А может быть, и вам.

Мишаткин ничего не понял: кому надо, кто подходил, куда торопился. Он напряг память, но тут же заболела голова, застучало в затылке и еще мучительнее захотелось выпить.

«Может, ее послать за бутылкой»,— подумал он, и в глазах обозначилась надежда.

— Я пришла сказать вам «спасибо». Вы вчера заставили меня пережить незабываемые минуты.

Слова были жалкие, не то что у Лермонтова. Но Эля заметила, что большие глубокие чувства выражаются такими вот затертыми словами.

— Я пришла сказать: вы нужны людям. Вы несете культуру в массы...

«Сейчас попрошу»,— приготовился Мишаткин и стал ждать, когда Элеонора Александровна закроет рот.

Но она все перебирала губами — розовыми и поблескивающими, как леденцы.

— Я хотела принести цветы. Но цветы дарят женщинам. Я принесла вам суровый мужской подарок.

Эля отдернула на сумке молнию и достала пузатую

бутылку с обширной бархатно-черной этикеткой, где золотыми латинскими буквами было написано «Наполеон».

Мишаткин почувствовал, что сердце его на мгновенье остановилось, потом заскакало в два раза быстрее. Он мог просто умереть от радости. В конце концов неожиданная неподготовленная радость — это тоже сильный стресс.

— А давайте прямо сейчас и выпьем,— внес предложение Мишаткин и сел на кровати.

— Ты хоть оденься,— напомнил Минаев.

— А... да...— Мишаткин засуетился руками под одеялом.

Блондинка деликатно отвернулась.

— А у вас тут что, французские коньяки в свободной продаже? — спросил Минаев.

— Это мне подарили,— бесхитростно созналась Эля.— Мне все время бутылки дарят, а я не пью. У меня на работе целый бар скопился. Я держу для подарков, с рабочими рассчитываюсь когда надо...

— А где вы работаете?

— В торговле.

Минаев глубокомысленно покачал головой. Это был его контингент. Он пользовался успехом у продавщиц, официанток и проводниц. Но Элеонора Александровна смотрела спокойно, незаинтересованно. Обидно даже.

Мишаткин тем временем искал рубаху, но так и не нашел. Надел пиджак на майку.

— Ты что, в таком виде собираешься пить французский коньяк? — осудил Минаев. Он подошел к другу и включился в поиски рубашки. Наконец рубашка была найдена,— завалилась за тумбочку,— но непригодна к употреблению. На груди — какая-то засохшая субстанция, величиной с обеденную тарелку. То ли сам облился, то ли его облили. Трудно вспомнить. Мишаткин озадаченно смотрел на обесчещенный фасад своей выходной вещи.

— А как же ты будешь выступать? — поинтересовался Минаев.

— Дай мне рубашку, Валера,— попросил Мишаткин.

— У меня всего две.

— Вот и хорошо. Одна мне. Другая тебе.

— Какой ты щедрый...

— Постесняйся,— благородным тембром урезонил Мишаткин.— Что Элеонора Александровна подумает об артистах? Подумает, что артисты жлобы.

Минаев мог бы ответить, что его не интересует постороннее и совершенно неавторитетное для него мнение, но в этот момент Элеонора Александровна промолвила:

— Одну минуточку...— наклонилась над своей сумкой и вытащила оттуда новую рубашку в целлофановой упаковке.— Это Индия. Стопроцентный хлопок,— прокомментировала она.— Тридцать девятый размер воротничка.

Размер был мишаткинский. И воротничок самый модный.

— Они недорогие, но редко бывают,— пояснила Эля.— Я стеснялась вам это отдать. Очень бытовой подарок. А вы человек необыкновенный...

Эля протянула ему рубашку. Мишаткину на секунду показалось, что у него белая горячка. Потому что в реальности так не бывает. В реальности все женщины, которые случались на его пути, предпочитали взять, а не отдать. Им казалось, что весь мир у них в долгу. А его первая жена, самая красивая девочка на курсе, даже отказалась ходить за хлебом. Она считала: раз она такая красивая — нечего ей в булочную ходить. И вдруг... пришла своими ногами, приплыла, как золотая рыбка. Мишаткин даже забыл на какое-то время о реальной возможности выпить, о чем он никогда не забывал.

— Послушайте,— прочувствованно и трезво сказал он.— Какое счастье встретить такую женщину, как вы.

— А таких больше нет,— ответила Эля, незаметно наводя порядок на столе.— Каждый человек в одном экземпляре.

— Значит, какое счастье встретить вас,— поправил друга Минаев.

— Да,— серьезно подтвердил Мишаткин.— Какое счастье встретить вас.

Вечером Эля снова сидела на концерте, уже без Толика и в кулисах. Гастрольная бригада «Товарищ кино» привыкла к тому, что в разных городах в кулисах то и дело появляются молодые девушки, как их называ-

ли — «карамельки». Эля испытывала некую неловкость от своего «амплуа», от скрыто-насмешливых, любопытных взглядов, но ничего не могла сделать. От нее мало что зависело. Поезд судьбы уже шел и набирал скорость.

После концерта Минаев гулял по свежему воздуху, создавая тем самым другу условия. Эля, оставшись с Мишаткиным вдвоем, пыталась сначала на словах, а потом и на жестах объяснить, что она «не такая». Еле ноги унесла и ушла, возмущенная до глубины души. А еще Лермонтова читает, «пустыня внемлет Богу». Никто никому не внемлет. Пустыня — в душах и в сердцах.

Три дня Эля не появлялась на мишаткинском горизонте. А поезд все равно стучал колесами, куда денешься. В конце третьего дня Эля пришла на концерт, сидела в партере. Знакомая завклубом принесла ей стул, так как все места были заняты. Половина города пришла по второму и третьему разу.

Мишаткин на сцене не появился. Эля нашла Минаева за кулисами. Тот сказал, что Игоря Всеволодовича разбил радикулит. Так и сказал: разбил.

Эля не стала дожидаться конца представления, пошла в дом колхозника.

Мишаткин лежал один, затерянный в кроватях, как в муниципальной больнице для бедных. Он был похож на революционера, умирающего от чахотки: запавшие щеки, большие глаза с блеском благородной идеи. В Эле шевельнулось неведомое ей прежде чувство сподвижницы. Мишаткин не отрываясь смотрел на сумку. Эля отдернула молнию и достала свекровины пироги: с мясом, с капустой и с яблоками. Положила на салфетку, которая тоже была в сумке. Мишаткин тут же стал есть, держа кусок двумя руками, и был в этот момент похож на мальчика с картины «На побывку к сыну». Эля смотрела, как он широко кусает, жует с опущенными глазами, и вдруг осознала, что он без нее пропадет.

В том, что произошло между ними чуть позже, Эля ничего не поняла. Она поправляла перед зеркалом прическу и чувствовала себя курицей, попавшей под поезд. Но то, в чем она не разобралась, не имело в данном случае никакого значения. Она уважала в Мишаткине его божественный талант, а все остальное неважно. Уходя, оставила банку индийского апельсинового сока.

Минаев, вернувшийся с концерта, заявил, что состав консервированного сока — цедра, пульпа, сахар, кислота, консерванты, вредные для желудка. В них есть все, кроме самого сока. Но Минаев циник, это у них семейное. Он все может принизить, даже обычную жестяную банку сока, прибывшую из далекой и жаркой Индии.

Толик смотрел по телевизору футбол, когда Эля сказала ему, что хочет развестись и уехать в Москву. Толик не пошевелился, продолжал смотреть еще напряженнее. Эля удивилась, понаблюдала за мячом, который гоняли по полю две конкурирующие команды, но не заметила ничего такого, что было бы важнее, чем крах семейной жизни.

Эля внимательно всмотрелась в мужа и увидела, что его лицо поменяло цвет. Оно стало серым, как лист, пролежавший всю зиму под снегом. Эля поняла: его неподвижность — это драматический шок, реакция на ожог, травму, несовместную с дальнейшей жизнью.

— Фиктивный! — громко крикнула Эля, пробиваясь через шок.— Фик-тив-ный...— по слогам повторила она, чтобы по порциям влить смысл в его парализованное сознание.

Толик по-прежнему смотрел в телевизор, но Эля видела: он доступен пониманию. Горячо, искренне, убежденно стала объяснять смысл слова «фикция»: она пропишется в Москве, а прописавшись, разведется, отсудит площадь и вытащит его, Толика, с сыном в столицу.

Эля так убеждала Толика, что поверила сама. А в самом деле? Почему одни могут жить в столице, а другие по огородам. Почему нельзя жить там, где хочешь. И если закон ставит препятствия, то можно найти способы эти препятствия обойти или через них перелезть.

Толик по-прежнему смотрел на футбольное поле, но в его лицо стали возвращаться краски. Он верил жене, потому что никогда не врал сам и еще потому, что верить легче. Если верить — то можно жить дальше. А если не верить, то нельзя.

— А зачем нам Москва? — спросил Толик.— Нам что, здесь плохо?



2-751

— Мне плохо,— сказала Эля и заплакала.

Толик понимал, что в Москве ему делать совершенно нечего. Здесь оставались его родители и друзья, то, что называется родные и близкие, охота и рыбалка, работа и вечера, люди и земля, кусок земли. Вне этого он — ничто. Но Толик внутренне согласился быть ничем. Пусть лучше будет плохо ему, чем ей.

— Ладно,— сказал Толик.— Делай как хочешь. Я на все согласен.

Эля заплакала еще сильнее. В Толике все заметалось от невыносимости чувств. Он пошел на кухню и стал мыть посуду, чтобы как-то переключиться. Эля подошла к нему и молча стала вытирать тарелки. Они все делали в четыре руки, и казалось, что даже воздух между ними напоен прощальной нежностью.

На другой день сидели у стариков. Кирюшка весь оброс белыми волосами, как пастушок. Глаза большие, ноздри круглые. Характер спокойный, весь в Толика. Кислюковское семя.

Толик сообщил родителям их жизненные планы, напирал на слово «фиктивный» и так же, как Эля, вытаращивал от искренности глаза. Старый Кислюк, однако, не мог взять в толк: зачем куда-то уезжать, зачем обманывать государство, да еще на таком святом участке жизни, как семья. А ушлая Кислючиха сразу все усекла, но убиваться не стала. Для нее было главным в этом вопросе, чтобы невестка не забрала внука. Но об этом даже не было речи. Стало быть, Кирюшка не нужен своей мамочке-вертихвостке. И слава богу. И пусть едет. Ее сын-красавец не засидится при таком мужском дефиците в поселке. Вон Верка-разводушка первая отхватит, а чем она хуже этой. Ничем. Даже лучше. Зад как телевизор «Рекорд». Пятерых нарожает. Намучилась в прежней жизни, теперь будет семью ценить, а не вихриться по столицам, по фиктивным замужествам.

Эля посмотрела на свекровий рот, сомкнутый курьей гузкой. Поднялась. Вышла на крыльцо. Лето стояло в самом расцвете, как ее жизнь. Пахло яблоками. У свекрови летние сорта бело-розовые, отборные, хоть рисуй. Еще неизвестно, что ждет ее там. Но главное — не ТУДА, а ОТСЮДА. Вышел Толик и сказал:

— Я буду ждать.

Свадьбу справляли в Доме кино. Гостями были только Минаев с женой Катей. Ничего не подарили, потому что Минаев оплатил столик. Это и был его свадебный подарок.

Катя Минаева поражала необычностью красоты: рост как у баскетболистки, плоская — ни спереди ни сзади, нос на семерых рос, а глаз не оторвать. Женщина из будущего. А Эля со своими пакляными волосами казалась себе женщиной из вчера и даже из позавчера, с тех послевоенных открыточек, где два целующихся голубка. Эля переживала. На ее темную юбку налип пух от кофточки. Вид был неопрятный, как будто ночевала на мельнице, на мешках с мукой.

Казалось бы: радуйся. Сбылась мечта. Но радости не было. С одной стороны: она в Москве. Квартира — на Патриарших прудах, замужем за Игорем Мишаткиным, в дипломе которого написано: артист кино.

С другой стороны: квартира хоть и в центре, но в коммуналке. Помимо них еще семья: пожилые брат и сестра. У брата в недавнем прошлом был инсульт, мозги попортились. Ходит, ногу тащит, на лице недоуменное выражение. Время от времени сестра выгоняет его в коридор, он прогуливается, набирается впечатлений. Слева кухня, ванная комната, туалет. Справа у стены стоит сундук, накрытый старым ковром. Над сундуком телефон, к телефону на ниточке привязан карандашик. Брат прогуливается, смотрит по сторонам. Это его Елисейские поля. Иногда из него исторгается звуковой взрыв, этот взрыв толкает его вперед, и он, как реактивный самолет, пробегает несколько шагов. Потом останавливается и продолжает смотреть по сторонам с еще более недоуменным выражением.

Новая свекровь Нина Александровна любит этого реактивного братца, называет его «голубчик». Нина Александровна родилась в 1910 году и вынесла из тех предреволюционных времен выражения: душенька, голубчик, «на все воля божия».

У нее на все воля божия. Живут на пенсию, из расчета сорок три копейки в день. Как в тюрьме. И ничего. «Не мы первые, не мы последние». Отрезали три четверти желудка — «ну что ж, пожила». Мужа убили на войне — «как у людей, так и у нас». Сын спивается — «ему нужна разрядка». Покорность судьбе. Не то что Кислючиха. Она в этих условиях развела бы кроликов

на балконе, мясо на базар, шкуры государству. Нина Александровна человек непрактичный, птичка божия. До полночи сидит на кухне газеты читает, боится в комнату войти. Молодые ложатся спать, а комната одна. Могла бы смело входить. Молодые невинно спали, лежа на боку, в одну сторону, как ложки в подарочной коробке.

Эля подозревала, что поезд судьбы завез ее куда-то в тупик.

За соседним столом сидел народный и заслуженный, толстый, как беременная баба, волосы сальные. Однако сидел королем, все для него и всё для него. Он скучным взглядом обвел Элю, как покупал. Но не купил. Отвел глаза в сторону.

В чем его козыри? Талант. Но талант есть и у Игоря, только об этом никто не знает. Надо, чтобы узнали. Игорь сидел и крепился изо всех сил, чтобы не напиться, но в конце концов напился все равно.

Эля положила его руку себе на плечо, повела из зала, как раненого бойца с поля битвы. На выходе из зала Игорь выпал из-под ее руки и свалился на стол, за которым сидели иностранцы. Пожилая американка посмотрела на Элю повышенно доброжелательно, и Эле показалось, что ее муж где-нибудь в штате Огайо тоже надирается до чертиков. Половина планеты в свиньях, половина в алкашах. А где живут?

Минаевы уехали на первом попавшемся такси. Эля осталась одна, если не считать Игоря. Но Игоря можно не считать. Он не стоял на ногах, вместо опеки стал нагрузкой.

Эля посадила его на ступеньки какого-то учреждения. Голова не держалась, падала вперед и вбок. Эля собрала пальцы в кулёчек и подставила таким образом, чтобы нос утопал в кулёчке. Голова оказалась зафиксирована в одном положении. Игорь клевал носом в прямом и переносном смысле этого слова. Дремал.

Потом очнулся на морозе. Увидел Элю рядом. Сказал ей просто и трезво:

— Если бы ты знала, как тяжело быть никому не нужным.

— Ты мне нужен,— возразила Эля.— Я у тебя есть.

— При чем тут ты?— горько возразил Игорь.— Меня нет у меня.

— Как это при чем...— растерялась Эля.— Я ехала... Я...

— Зря ты ехала. Я тебя обманул. Я тобой спасался.

— Я помогу тебе.

— Бесполезно. Я уже не талантливый. Я ничего не хочу. И вообще ничего не надо. Тебя не надо. И жить не хочется. Маму жалко...

Фамилия режиссера — Сидоров. На киностудии работало два Сидоровых. Две творческих единицы под одной фамилией. Чтобы не путаться, одному оставили — как было, а другому дали прозвище: «Анчар». Тот самый, пушкинский. «К нему и птица не летит, и тигр нейдет». У Анчара был тяжелый, скорпионий характер. Он мучил всех и себя в первую очередь. На прошлой картине отказался отпустить актера в роддом, навестить жену с ребенком. Потом все же смилостивился и выделил полтора часа. К роддому подъехал немецкий «оппель», оттуда вышел офицер в форме СС с автоматом и партизан в ватнике. Вошли в роддом. Партизан поцеловал жену, заглянул в красное резиновое личико ребенка. Его тут же забрали в машину и увезли.

Женщины, глядевшие в окна, подумали, что у них послеродовой психоз. Иначе откуда в восьмидесятых годах немцы и партизаны.

В данную минуту времени Анчар сидел в своем кабинете за столом, пил чай и грел руки о стакан. Он готовился снимать новый фильм, современную «Золушку». Золушка — лимитчица. Принц — эфиоп. На роль принца взяли студента из университета Лумумбы, который действительно оказался принцем. Его папаша-король отправил сына учиться в Россию. Принц был богат, красив и скромен — как все люди, долго живущие в достатке. Они гармонично развиваются. В них не вырабатывается хваткости и хамства. Эти качества им не нужны.

Принц совпадал с образом на сто один процент. А вот Золушка... Анчар только что просмотрел пробы: актриса талантливая, но уже известная, засмотренная. Играет наивность, а в каждом глазу по пятаку. Золушки нет и, как казалось, никогда не будет. У Анчара было чувство, что он стоит на подоконнике сто второго этажа. Подоконник качается, ползет под ногой. Как в страшном сне.

В кабинете сидели друзья и соратники: второй режиссер и монтажница, с которыми он шел из картины в картину.

Второй — сальный, вариантный, состоящий из множества комбинаций, как замусоленная колода карт. Анчар знал ему цену, но держал за преданность. Преданность была стопроцентной. А это — главное: хоть плохонькое, да мое.

Монтажница смотрела на Анчара и мучилась его мукой. В какую-то минуту отвлеклась на домашние дела: в доме нет картошки. В магазине плохая, начинаешь чистить — вся в синяках. Видимо, сбрасывают с большой высоты, не умеют хранить. Надо покупать на базаре, килограмм десять-пятнадцать, чтобы подольше хватило. А как дотащишь пятнадцать килограмм. Пуп развяжется. Придатки болят, постоянное воспаление после первого аборта.

Анчар строго глянул на монтажницу, и она увидела, что он засек ее придатки. Надо думать о работе. Монтажница преданно сморгнула и переключила мысли с личного на общественное.

В эту смутную минуту отворилась дверь и в комнату вошла Эля. Минаев заказал ей пропуск на киностудию.

— Здравствуйте,— сказала Эля.— Моя фамилия Мишаткина. Я жена артиста Игоря Мишаткина.

— Есть такой,— вспомнил Второй, глядя на Элю, как перекормленный кот на очередную мышь.

Монтажница приставила к Эле свои острые глазки и сверлила в ней дырку. Она ненавидела молодых женщин, всех без исключения. Ее бы воля — погрузила всех на плот непомерной длины и ширины, свезла в море и ссыпала в морскую пучину. Так делали в Китае во времена Мао, когда освобождали город от проституток.

— Дайте ему работу. Он пропадает. Пожалуйста...

Анчар смотрел в ее глаза, но думал о своем. Он думал: есть люди, которые умеют жить. Просто жить и радоваться. А есть — творцы. Они умеют отображать жизнь, а сами не живут. Сейчас, в эту минуту, Анчар твердо знал, что не умеет ни жить, ни отражать. Каждый час, как фальшивый рубль, не обеспечен золотым запасом.

Монтажница презрительно дернула губой. В кино

не просят, а тем более не посылают жен. В кино гордо ждут.

Второй засалился еще больше, нос заблестел от выступившего жира, хоть яичницу жарь.

Эля обвела их глазами. Слепые. Глухие. Не видят. Не слышат. Сидят, как рыбы в аквариуме, смотрят сквозь толщу воды.

Эля поняла, что ничего не получится, и успокоилась. Трезво посмотрела на эту троицу. Разве это люди? Недочеловеки. Рабы.

— Оставьте ваш телефон. Мы позвоним,— пообещал Второй.

— Вы не позвоните,— спокойно сказала Эля.— Все вы тут горнолыжники.

— Почему горнолыжники?— удивился Анчар.

— Когда один ломает шею, другому некогда остановиться. Он на скорости,— объяснила Эля.— Но ничего. Когда-нибудь вы тоже сломаете себе шею и к вам тоже никто не подойдет.

Эля повернулась и вышла из комнаты. Все трое молчали — минуту, а может, две. За это время поезд Элиной судьбы подошел к развилке. Отсюда, от развилки, было три пути: прямо, влево и вправо. Поезд остановился, как Илья Муромец. Но у Ильи на стрелках было ясно указано, где что найдешь, а где что потеряешь. Здесь не было написано ничего. Судьба ни о чем не сообщает заранее, а может, и сама не знает.

— Кто это Мишаткин?— спросил Анчар.

— Дохлый номер,— отозвался Второй.— Десять лет не снимается. Спился, по-моему.

Монтажница при слове «десять» снова вспомнила о картошке: десять или пятнадцать килограмм.

— А как же он живет?— спросил Анчар.

Второй пожал плечами.

— А профсоюз у нас есть?

— Есть,— подтвердил Второй.— И что с того? Профсоюз не может заставить вас снимать Мишаткиных, если вы не хотите.

Анчар посмотрел на Второго, осмысливая сказанное.

— Может быть, дать ему шофера грузовика?— вслух подумал Анчар.

— Это же почти массовка,— напомнила монтажница.— Десять лет не сниматься, и в массовку.

— Сделаем две-три реплики, будет эпизод.

Стрелка судьбы щелкнула. Поезд пошел прямо. Рельсы благодарно и преданно стелились под колеса.

Игоря Мишаткина пригласили на роль шофера грузовика, который потом стал кучером кареты-тыквы.

Игорь сидел в гримерной и волновался, что гримерша Валя недостаточно скрывает его потертость. Игорю хотелось быть красивым. Потом он сообразил: чем хуже, тем лучше. Густой тон покрыл лицо неинтеллигентным, жлобским загаром. Не скрыл, а наоборот — проявил морщины. Линия глаза в окружении морщин напоминала рисунок голубя мира Пикассо. Овал глаза — очертания голубя, птичье тело. А веер морщин в углу — хвост. В довершение на передний зуб надели серебряную фиксу, на голову — плоскую кепочку.

Получился типичный люмпен. Казалось, что это не артист театра киноактера, а настоящий ханурик, которого задержали на дороге и попросили сняться в кино.

Кучер тыквы был с тем же серебряным зубом, но в широких коротких штанах, похожих на арбузы, и в белых чулках.

Эти два Мишаткина, особенно первый, вызвали на съемочной площадке смех. Смешно, когда узнаваемо. Узнаваемо — когда правда.

Из восьмидесяти минут экранного времени Игорь прожил на экране четыре минуты и сказал одну фразу: «Никогда хорошо не жили, нечего и начинать». Но запомнился и он и фраза. Игоря узнавали в метро. И когда он ехал на эскалаторе вверх — замечал: на него смотрят те, что едут вниз,— и он возносился, возносился. Казалось, что эскалатор донесет его до облаков.

Эля решила воспользоваться просверкнувшей удачей и пошла в районный отдел распределения жилплощади. Отдел находился на первом этаже. Раскрыв дверь, Эля увидела человеческий муравейник. Но в муравейнике — дисциплина, а здесь — хаос. Значит, потревоженный муравейник. Краснолицый инспектор громко отчитывал женщину:

— Как вы себя ведете? Вот возьму и вызову сейчас милицию.

— А что я сделала? — оправдывалась женщина.

— Как что сделали? Побежали в туалет вешаться.

— Да ничего не вешаться. Просто в туалет и все.

— Вы сказали: «Если не дадите квартиру, пойду в туалет и повешусь». Вот люди слышали.

— А что нам остается делать?

Очередь заурчала. Назревал бунт.

— Товарищи! — растерялся инспектор. — Ну что я могу сделать? Я — исполнитель. И если в районе нет жилья, я вам его не рожу.

Эля поняла: с исполнителем разговаривать бессмысленно.

Когда подошла ее очередь, спросила:

— Кто у вас тут самый главный?

— В каком смысле? — обиделся инспектор.

— Ну, кто решает, — объяснила Эля.

— Малинин, — назвал инспектор. — Но вас к нему не пропустят. Вас много, а он один.

Малинин сидел без пиджака, смотрел домашними глазами. Он узнал Игоря, с удовольствием рассказал ему, что сам из военных, служил на подводной лодке. Подлодка — хуже, чем заключение. В заключении — лесоповал, тайга, много свежего воздуха. А на подлодке замкнутое пространство, кислорода не хватает, можно сойти с ума. Некоторые и сходили и даже пытались разгерметизировать лодку, чтобы разом все покончить. Но подлодку один человек не может вывести из строя. Надо нажать сразу две кнопки в разных концах. А двое одновременно, как правило, с ума не сходят.

Игорь сочувственно слушал, кивал головой. Ему тоже хотелось рассказать, как он десять лет не снимался и эти десять лет осели в нем копотью на сосудах, на душе. Пасмурно жить. Но жаловаться было нельзя. В сложившейся расстановке сил Игорь не имел права выглядеть жалким. Он должен был глядеться хозяином жизни, который почему-то живет в коммуналке.

Разговор окончился тем, что реактивного братца с сестрой отселили в отдельную однокомнатную квартиру в Ясенево, на край леса. А Мишаткиным досталась вторая комната. Отдельная квартира на Патриар-

ших прудах. И все по закону. Сейчас Москва освобождается от коммуналок.

Мама Игоря предложила Эле привезти в Москву Кирюшку. Она соглашалась быть ему бабушкой и учить уроки. Кирюшка уже пошел в первый класс.

Толик жил в Летичеве с Веркой-разводушкой. Свой новый брак он не регистрировал, но Верка тем не менее родила ему дочку и снова ходила беременная. Получалось, что у Толика трое детей, а у Эли ни одного.

Эля написала Толику письмо и попросила привезти Кирюшку. Сама не поехала, чтобы не встречаться с Кислючихой, с беременной Веркой. Верка была ей омерзительна, как кошка, укравшая со стола чужой кусок. Эля забыла, что сама бросила Толика, обманула, предала. Но ей можно, а Верке нельзя.

Толик привез сына. В дом войти отказался. Ему было невыносимо видеть Элю чужой женой. Он стоял во дворе и смотрел в землю. Эля поняла: боится ее видеть. Боится новых страданий.

— Ты же обещал ждать,— усмехнулась Эля.

— А я жду,— серьезно ответил Толик, продолжая смотреть в землю.

— С Веркой?

— Нет. Один. Верка не ждет.

За прошедшие годы Толик не изменился. Он вообще мало менялся. Вечный мальчик. И возле него так легко стоять, как в лесу. А возле Игоря стоять тяжело. От него исходило хроническое неудовольствие, как радиация от Чернобыльской АЭС.

Но здесь, на Патриарших, надо было постоянно что-то завоевывать и преодолевать. А там, возле свиньи,— все спокойно, как на пенсии.

— Ну, как там у вас?— спросила Эля неопределенно.

Толик рассказал, что в шахте случилась авария по вине вечно пьяного расхристанного Мослаченко. Сам Мослаченко погиб. Ведется расследование, но и без расследования ясно: преступная халатность. Толик как юрист должен дать заключение. Но семья Мослаченко просит свалить все на шахту. Тогда другая пенсия детям. Дети ведь не виноваты в халатности папаши. Им надо расти, вставать на ноги.

— Государство у нас не бедное,— подсказала Эля.— Пусть платит.

Толик не ответил. Он понимал: Мослаченко виноват и наказан. Он умер. Значит, добро и зло уравновешены. Зачем прибавлять зла, наказывать детей?

Но Толик Кислюк не мог писать неправду. Ему соврать — все равно что съесть дохлую мышь. Умрет от отравления.

Толик стоял и мучился от невыносимости чувств.

— А Верка что говорит? — спросила Эля.

— Не помню,— сказал Толик.

То ли Верка, замученная хозяйством, ничего не говорила, то ли он не прислушивался к Веркиной душе.

Кирюшка поселился в комнате вместе с чужой бабкой. Своя бабка была толстая и уютная, так весело было ползать по ее животу, вдоль и поперек, а эта узкая и жесткая. Прежняя бабка то тискала его, то орала как резаная, а эта говорит ровно и правильно, как по радио. Кирюшка привык из дома выходить сразу в сад. А здесь он из дверей выходил на лестницу с мусоропроводом. И дышать ему нечем. И безобразничать неудобно. И отец чужой. И даже мама какая-то другая.

По ночам его тоска особенно сгущалась, становилась невыносимой. Он кричал на всю квартиру, а может даже и на весь этаж. И плевать ему, что новый папа спит и что завтра ему на работу. Раз никто не считается с ним, то и он, в свою очередь, не будет ни с кем считаться.

Эля ложилась рядом, утешала, увещевала. Слышала, как под руками вздрагивает его хрупкое тельце. Как раненый заяц. Потом он засыпал. Эля всматривалась в спящего сына. Он был копия Толика, но как бы омыт ее красотой. Изысканный хрупкий мальчик, похожий на жениха Дюймовочки — принца эльфов.

Эля любила сына, но могла вкладывать в него только ЧАСТЬ жизни. А Кислючиха — ВСЮ жизнь. Значит, там ему было лучше.

За Кирюшкой снова приехал Толик. Теперь они расставались надолго.

— Я сама виновата,— сказала Эля.— Я отучила его от себя.

— Ты не виновата. Ты счастье искала.

Великодушие Толика ударило Элю, как пощечина. Она заплакала.

— Мы никуда не денемся,— сказал Толик и бесстрашно посмотрел в Элины глаза.— Мы у тебя есть и будем.

Кирюшка вытащил свою руку из руки отца и побежал к берегу смотреть лебедей. Лебеди скользили по воде. Посреди пруда стоял их деревянный домик.

После «Золушки» Игорь пошел нарасхват. Стал мелькать то тут, то там в одном и том же образе. Плоская кепочка как будто прилипла к его голове.

Однажды кому-то пришло в голову снять Мишаткина в маленькой роли белого офицера. Та же гримерша Валя клала на лицо тон посветлее, сообщая благородную бледность. Игорь сидел и смотрел на себя в большое зеркало: умное лицо с аскетически запавшими щеками, легкая надменность дворянина и страдание за поруганную Родину. Валя легко касалась лица гримерной губкой. От губки пахло псиной.

Фильм о первых годах революции вышел на экран — и у артиста Мишаткина пошла офицерская серия.

Далее, из восемнадцатого года Игорь шагнул в сорок первый, в образ немецкого офицера. Безукоризненная опрятность, пенсне, жесткость в глазах. Враг.

Покатилась «немецкая» серия. Его лицо клишировалось на потоке фильмов, как одноразовая зажигалка на конвейере. Игорь понимал это, но не мог отказаться от следующего клише. Многолетний простой сломал его. Он соглашался, но при этом чувствовал себя как девка, которую употребляют за деньги. Игорь пил, чтобы притушить лермонтовский комплекс: разлад мечты с действительностью.

Пока артист Мишаткин мыслил и страдал, Эля вязала комплекты: шапочки и шарфики. Она покупала в магазине английский мохер и делала в день по комплекту. На шапочках той же шерстью вышивала цветы из четырех лепестков. Получалось очень красиво.

Катя Минаева сбывала комплекты среди своих по пятьдесят рублей. Часть брала себе. Остальное — Эле. На эти деньги жили.

Мама Игоря смотрела на Элю, как Золушка на фею. Взмахнет хрустальной палочкой — и из воздуха возникает все, о чем мечталось.

«Р-раз» — и работа! Игорь снимается. У него есть дело.

«Р-раз» — квартира. А ведь это так удобно — не жить с молодыми в одной комнате.

«Р-раз» — индюшачьи котлеты на обед. Можно, конечно, насытиться чем угодно, желудок не обидится. Но провернутое белое мясо...

— Эля! Вы великий человек,— с убеждением говорила мама Игоря.— Вы можете приспособиться в любых условиях.

— Как ленточный глист,— добавлял Игорь, убивая пафос.

Ленточный глист живет в человеке, и, если его выгнать и зарыть в землю, он живет в земле.

Игорь не любил эти разговоры. Да, квартира. Да, работа. Но при чем тут Эля? Он снимается потому, что талантлив. А квартиру ему дали потому, что он в ней родился и жил сорок лет. И две комнаты на трех человек нормально. И даже мало. При чем тут жена? Ах, она бегает, встает на уши. Но он же не виноват, что ему досталось такое время и такая страна, где за норму надо вставать на уши. Она умеет, а он не умеет. Он, Игорь Мишаткин,— художник и не должен тратить на ЭТО свою жизнь.

Мама Игоря считала: Эля тоже художник, просто у нее другие подручные средства. У Игоря — литература. Игорь произносит чужие тексты и лепит образ. А Эля лепит саму жизнь. Берет одну жизнь и лепит из нее другую.

Что касается Эли, она не рассуждала столь абстрактно: надо было подтягивать жизнь к мечте. Не получалось. Мешала водка. Водка — это такой конь, который перетопчет любое поле: хоть сей, хоть не сей.

Эля решила взять фактор пьянства под контроль. В каждой группе у нее были свои люди. И если Игорь, находясь на съемках, опрокидывал рюмку, в доме Эли тут же раздавался телефонный звонок.

Игорь в неведенье счастливом возвращался домой, звонил в дверь. На всякий случай старался не дышать вперед и выстраивал на лице значительное выражение. Дверь открывалась, и навстречу Игорю летел кулак, прямо в значительное выражение. Резкая боль в носовую кость. Искры из глаз. Так повторялось каждый раз. Сначала — кулак. Потом разборка: с кем, почему,

по какой причине. Причина всякий раз была уважительная.

Игорь стал элементарно бояться, срабатывала сигнальная система, как у подопытной собаки. Водка связывалась в одну прямую с искрами из глаз. Игорь резко сократил свое пьянство.

Мама Игоря начала серьезно пересматривать жизненные позиции. Как можно бить человека по лицу? Но если во благо, значит, можно? Значит, надо?

Может быть, трагедия их поколения в неумении постоять за себя? В излишней деликатности?

В Москве Игорь почти не пил. Он стал лучше себя чувствовать и понял, почему бездарности завоевали мир. Они с самого утра хорошо себя чувствуют и тут же принимаются за карьеру. Но как только Игорь выезжал с группой в другой город — там он, что называется, дорывался. И однажды, вернувшись домой, попросился в темную комнату.

Эля ничего не поняла и отвела его в ванную.

Игорь напряженно смотрел на дверь и вдруг сказал:

— Проходите.

Дверь в ванную была прикрыта. У Игоря возбужденно блестели глаза.

— Никого же нету,— сказала Эля.

— Потуши свет, а то нас найдут.

Он сидел на краешке ванны и чего-то боялся. Эля поняла: кулаками не поможешь. Его надо лечить.

Врач районного психоневрологического диспансера Иван Алибеков сидел в своем кабинете и тупо смотрел на телефонный аппарат. Он только что позвонил дочери, шестилетней Марише, и она сообщила, что мама поменяла замок в двери. Это значило, что он не сможет попасть в квартиру и ему негде ночевать.

Родственников в Москве не было. К общим друзьям идти не хотелось. Негоже выносить сор из избы, хотя избы не было, остался один сор. Куда уходит любовь? А может, ее и не было? Была. Они каждую минуту ощущали свое счастье. Какое становилось у Таньки лицо, когда он шел к ней навстречу. Сколько сумасшедшей радости в глазах. Никогда не ссорились. С ней нельзя было поссориться. Сделаешь замечание — виновато моргает. Лицо такое несчастное, что сразу жалко. А как слушала... Глаза выдвигались вперед, будто на столбиках, сейчас — выскочат от напряженного внимания.

Эти ее лица — радостное, несчастное, внимательное — как зеркало, в которое он смотрелся и видел в нем себя, невероятно преображенного, прекрасного. Вот чем была Танька. А последний год — что он видел в этом зеркале? Жалкого никчемушника. Гвоздя в доме и то не может вбить.

И как изменилось Танькино лицо. Она стала похожа на провинциальную учительницу в очочках, с аккуратненьким вторым подбородком, которая учит детей строго по учебнику. Своих мыслей нет.

Куда все делось? Москва сожрала.

Не надо было переезжать в Москву. Отец устроил прописку, в год Олимпиады. Москва была закрыта, но свои люди сделали прописку. Отец был хозяин края. У него друзья во всех хозяйствах, в том числе и на Московии. Чистоплюйка Танька морщила нос, однако благами пользовалась. И отцовскими деньгами пользовалась. При этом поднимала бровки, спрашивала: откуда? Иван отвечал: «От верблюда». На Востоке дары входят в традицию. На верблюдах привозили драгоценные ковры, кувшины с золотом. Но это в давние времена. Сейчас романтика ушла. Никаких верблюдов. Просто несут деньги в коробках из-под туфель и из-под сапог. Сколько рублей может уместиться в такой коробке? Иван не знает. Не считал. Мать считала. Потом делила деньги на части. Часть прятала в ванной комнате, за кафелем был тайничок. Часть посылала Ивану. Но Танька хотела, чтобы Иван сам зарабатывал. И оказалась права. Отец умер за год до перестройки. Умер рано и глупо. В шестьдесят лет. Лечили зуб, внесли инфекцию через иглу. Заражение крови. Чушь какая-то.

Через год после смерти у матери отобрали дачу, сказали: «на нетрудовые доходы». А отца объявили вором. Так и сказали: «Ваш муж был вор». Хорошо, что не дожил отец до этих слов. Умер как хозяин. Хоронили с почестями.

Иван ничего не мог понять. Отец, сколько он его помнил, работал с утра до ночи. Ходил пешком. Не барствовал. Брал деньги. Но он же не требовал. Не вымогал. Несли и оставляли. Все тогда брали, и он как все. А почему он должен быть другим?

Ивану было его бесконечно жаль. Жизнь отца, хоть

и после смерти, была поругана. Где ты, отец? Где честь? Жена из дома выгнала. Спать негде.

Отворилась дверь. Вошла блондинка, похожая на Аникееву. Спросила:

— К вам можно?

— Проходите,— тускло сказал Иван.

Аникеева... Тварь. Это она сказала Таньке: свет не сошелся клином на твоем Иване. Учти, он хуже восьмидесяти процентов всех остальных мужчин. Раскрыла ей глаза. И Танька увидела мужа новыми глазами. И в самом деле: все песни он ей перепел. Ритмы отстучал. Слова отговорил. До потолка допрыгнул. Низок, низок оказался его потолок: двести рублей без вычетов.

Блондинка сидела и смотрела на Ивана. Он подвинул к себе телефон. Снова подошла дочь.

— Мариша, а давай встретимся на улице,— беспечным голосом предложил он.— Мне ведь не обязательно к вам заходить.

— Я у мамы спрошу,— сказала Мариша.

— Спроси. Я подожду.

— А ее сейчас нет. Она уехала на теннис.

«С Аникеевой,— подумал Иван и бросил трубку.— Аристократки».

— Я жена артиста Игоря Мишаткина. Знаете такого?— поинтересовалась блондинка. Тоже аристократка.

Иван не ответил. Он думал, где ему ночевать. Позвонил старому другу Коле.

До перестройки Коля назывался фарцовщик, теперь бизнесмен. Открыл обувной кооператив, пригласил армян, тачают модную обувь. На счету кооператива — три миллиона. Вот это потолок.

Коля подошел к телефону.

— Можно я у тебя переночую?— спросил Иван.

— Из дома выгнали?— догадался Коля.

— Примерно,— нехотя сказал Иван.

— Денег мало приносил?— догадался Коля.

— Примерно.

— Приходи. Только я сегодня в театре. Вернусь в одиннадцать.

— Договорились.— Иван положил трубку. Задумался: где он будет околачиваться до одиннадцати часов.

Эля смотрела на врача. Он и не собирался ею заниматься.

— Послушайте,— с интересом спросила она.— Вы зачем здесь сидите?

— Что?— Врач поднял на нее глаза. Глаза были странной, грушевидной формы: они долго шли узкими, а потом расширялись к вискам.

Иван Алибеков был полукровка, хотя правильнее говорить — двукровка. В нем текли две крови: славянская и мусульманская. Форма глаз как бы отражала борьбу двух начал и победу славян.

Эля споткнулась о его глаза и потеряла напор.

— Я жена артиста Игоря Мишаткина,— мягко напомнила Эля.— У него плохо с нервами. Если его поставят на учет, он будет невыездной. Я бы хотела частно.

Иван выслушал с отсутствующим видом, потом подвинул к себе телефон и стал цеплять пальцем диск.

Эля встала, подошла к розетке и вырвала из нее телефонный шнур вместе с розеткой и куском стены.

Врач, будто проснувшись, посмотрел на Элю и сказал:

— Я не знаю, что с нервами у вашего мужа. Но ваши никуда не годятся. Сядьте.

Он выдвинул стул на середину комнаты.

— Зачем?— не поняла Эля.

— Сядьте.— Его грушевидные глаза стали определяющими на лице.

Эля села. Иван простер над ней руку, как Медный всадник. Голове стало тепло. Немножко захотелось спать. Голос врача, как голос самого господа, был добрым и бесстрастным.

— Представьте себе, вы маленькая. Вам восемь лет. Вы в пионерском лагере. Родительский день. Ко всем приехали, а к вам нет. У всех радость, а вы плачете...

Из глубины памяти всплыл тот давний, а оказалось — недавний день.

...Самодеятельная сцена под открытым небом. На сцене хор — девочки и мальчики, поют «Пионер, не теряй ни минуты». А на лавках сидят родители и со слезами умиления смотрят на своих чад. На Элю никто не смотрит, она никому не нужна. Мама не приехала.



3–751

Эля спела и ушла со сцены,— сначала в лес, потом в поле, которое стелилось за лесом. Ее никто не хватился. Люди в счастье забывают о других.

Началась гроза. Эля стояла среди поля одна, она была самым высоким предметом, как громоотвод на крыше. И если бы молния ударила, то ударила именно в нее. «Пусть убьет,— мстительно подумала Эля.— Тогда они по мне заплачут. Вспомнят, как мучили». Эля заплакала по себе. И вдруг увидела еще один предмет, двигающийся по полю от электрички. Мама... В руках у нее тяжелая сумка. В ней — вкусное. Мама... Мамочка...

— А теперь представьте себе: родительский день окончен. Вечер. У всех уезжают. Все плачут. А у вас — счастье. К вам приехала мама.

Эля поднялась со стула. По щекам шли слезы, оставляя за собой холодящие дорожки.

— А откуда вы знаете? — тихо, потрясенно спросила Эля.

— Это легко. Закон компенсации.

— Но откуда вы знаете про лагерь?

У Ивана была способность предвидеть и подвидеть. Видеть то, что было и будет. Это свойство он открыл в четвертом классе, когда не успевал решить контрольную, а учитель уже тянул листок из-под его рук. Иван напрягся до нечеловеческого предела и вдруг увидел мамино кольцо глубоко под шкафом. Это кольцо пропало год назад. Подозревали домработницу Зою. Иван пришел домой, полез под шкаф и достал кольцо в коконе затвердевшей пыли. Потом ЭТО не повторялось. Ушло. Так, наверное, уходит талант, если им не пользоваться.

Сейчас Иван увидел вдруг Элю — маленькую и плачущую среди поля. Видимость была нечеткая, как проекция на экране старой затертой пленки. Но все же видел. Значит, ЭТО вернулось.

— Вы гений...— поняла Эля.

Иван сделал неопределенное движение бровями и ртом.

Иван знал, что мысль материальна. Это не мистика, а реальность. Но пусть темные Аникеевы считают его гением. Тогда он попадет не в последние двадцать процентов, а в первые восемьдесят.

Эля смотрела на Ивана во все глаза. Гении — те же

люди. У них не две головы и не четыре глаза. Нормальные человеки, иногда даже в плохих ботинках. Чаще в плохих, потому что для них, гениев, это мелочь.

Иван Алибеков стал бывать на Патриарших прудах.

Он лечил Игоря гипнозом. Метод его был Эле неведом. Суть метода состояла в том, что блокировался участок мозга, который заведует волей. Оказывается, алкоголизм — это болезнь воли, и значит, волю надо держать под кнутом, как скота, а не уговаривать ее, как капризного ребенка. При этом методе категорически запрещалось пить, иначе помрешь в одночасье.

Желание жить оказалось в Игоре сильнее желания пить. Инстинкт жизни победил все прочие инстинкты.

Мама Игоря не могла поверить в такое преображение. Игорь был трезв, здоров, много работал. А еще совсем недавно ей казалось — она его теряет. Она боялась, что сын умрет раньше нее — это был самый главный, верховный страх, который леденил душу, к нему нельзя было привыкнуть.

А сейчас — какая перемена в жизни. Мама смотрела на Элю молитвенным взором и спрашивала:

— Деточка, за что мне такое счастье?

— За прошлые страдания,— отвечала Эля.— Закон компенсации.

— Я так боюсь, что все кончится,— говорила мама и сжимала кулачки, чтобы удержать это время.

Все были счастливы, кроме Игоря. На его лице остановилось брезгливое выражение, будто он преодолевает дурной запах. Игорь был постоянно угнетен без видимых причин. Будто сглазили человека.

— Ему тяжело не пить,— объяснял Иван.

— Но что же делать? — терялась Эля.

— Ничего не делать, из двух зол надо выбирать меньшее.

И в самом деле: пусть Игорь будет хмурый трезвый, чем хмурый пьяный.

Эля поставила на Игоре точку. Она сделала для него все, что могла. Дала ему работу, жилье, здоровье. Что еще? Она отдала бы ему и душу, но Игоря любить было неинтересно. Он умел слышать только себя, а на всех остальных за что-то обижаться. И чем больше ему делаешь, тем больше он обижается.

Игоря она вспахала, засеяла, на нем взросли репьи. Иван Алибеков лежал у ног бесхозным невозделанным участком. На нем еще пахать и пахать. Земля благодатна.

Люди несчастны по разным поводам. «Одни плачут, что хлеб жесткий, другие — что жемчуг мелкий». Но плачут все. И все хотят участия.

Эля посоветовала Ивану открыть частный кабинет психоанализа, как на гнилом Западе. Но Иван боялся, что его посадят: скажут, отец был вор и сын вор.

Ивану было привычнее и спокойнее сидеть в государственном учреждении. В каком-то смысле он был противник перестройки. Его вполне устраивал застойный период, в котором протекало его безоблачное детство и столь же безоблачная юность. Он сформировался тогда. Застыл, как гипс. Его было не перелепить. Если только сломать.

Эля ломала. Но не кулаками, а клиентурой.

Первой частной клиенткой явилась мамаша Валеры Минаева — женщина с возрастным обострением.

В жизни человека бывают два периода: из начала в середину и из середины в конец. Девочка — женщина — старуха. Из первого во второй все стремятся попасть как можно скорее. И никто не хочет в третий возраст. Но, как говорят восточные мудрецы, серьезная жизнь начинается после пятидесяти.

Иван назначал диету, режим дня, нагрузки. Он как бы организовывал время, загонял его в строй. Подчинял. И уже не время командовало человеком, а человек им.

В сущности, Иван объединял работу врача и священника.

Минаева ушла, торопясь к новому режиму и диете, радуясь еще одной возможности поработать на себя. Оставила на краешке стола конверт.

Иван вздрогнул, как от оскорбления, помчался следом. Но не догнал. Позвонил Эле и прокричал, что он целитель, а не шабашник и не собирается наживаться на несчастьях и так далее, очень возбужденно.

Эля выслушала и ответила, что медицина ДОЛЖНА быть платной. Лечиться даром — это даром лечиться.

Ивану захотелось в это поверить, и он поверил. На следующий день он купил Марише фломастеры и осенние резиновые сапожки. В другой раз он купил Эле розы — тугие бутоны на сильных высоких ножках. И почувствовал себя мужчиной. Оказывается, одаривать других гораздо радостнее, чем получать самому. Но для того чтобы одаривать других, надо получать самому, и Иван смирился с «конвертируемыми рублями».

Минаева нагнала Ивану своих подруг. Пошла серия вянущих красавиц с неувядающими душами. Душа говорит одно, а время сует под нос паспорт: смотри. И земля уходит из-под ног. За что держаться? За кого?

После третьего возраста пошла серия сорокалетних мужчин. Почти у всех склонность к томлению и желание изменить свою жизнь: работу, жену, страну, политическое устройство. В сорок лет, когда понятно, что прошла половина жизни и притом — лучшая половина, вырастает вопрос: и ЭТО ВСЁ? И они бегут к Ивану, чтобы не сойти с ума.

После сорокалетних начались престижные алкоголики — это уже контингент Игоря Мишаткина.

Иван тщательно копался в душах, как в испорченном моторе. Особенно внимательно разбирал и раскладывал ДЕТСТВО, потому что все начинается ТАМ.

Счастливые люди к Ивану не приходили, и ему казалось, что весь мир тяготится жизнью и боится умереть.

Он простирал над головами руку. От руки шло тепло. Хотелось спать. Забыться и заснуть.

С женой не помирился и по-прежнему ночевал у Коли. Коля разрешал находиться Ивану только в общем с ним куске пространства. Если Иван вставал ночью по нужде или по жажде, Коля поднимался и сопровождал его, будто конвоировал. Ивана это раздражало, пока не понял: у Коли где-то спрятаны деньги. Он боится, что Иван с его способностью — просечет тайник и заберет.

Эля искала Ивану квартиру в центре Москвы, но квартиры предлагали в новых районах, на выезде из Москвы. Ближе к Ленинграду, чем к Патриаршим прудам.

Приходилось мириться с бездомностью, с Колей. Выглядел Коля довольно противно: лицо как после пчелиного налета. Один сплошной волдырь. Но это

в конце концов — не важно. Важно — Эля и Мариша. Однако Эля — чужая жена. А Маришу он получает раз в неделю у подъезда.

Через полгода Иван открыл собственный кабинет психоанализа. Как в Швеции. Для этого понадобились четыре фактора: желание, деньги, медицинский диплом и Эля.

Эля сразу пошла к ТОМУ, КТО РЕШАЕТ. Тот, кто решает, пребывал в отвратительном настроении, и к этому были веские причины. Врачи определили у него опухоль, надо было ложиться на обследование.

Эля привела Того, кто решает, к Ивану, вернее — наоборот. Ивана привела в просторный кабинет.

Иван сосредоточился, выдвинул вперед руки и как миноискателем поводил руками вокруг обширного тела.

Опустил руки и сказал:

— Жировик в средостении.

— А что это? — не понял Тот.

— Жир, — просто объяснил Иван. — Вы много едите. У вас восемьдесят процентов лишнего веса. Лечение — голод.

— И все? — не поверил Тот, кто решает. Он полагал, что его лечением будет — тот свет. — А откуда вы знаете, рак это или жир? — усомнился Тот.

— Слышу, — объяснил Иван. — От плохой опухоли идет холод, а от доброкачественной тепло. Своя ткань.

Тот, кто решает, — не поверил окончательно, но настроение у него заметно улучшилось.

Через месяц диагноз Ивана подтвердился врачами. Тот, кто решает, дал помещение Ивану в центре Москвы, в семи минутах от Кремля.

Кабинет — в старом купеческом двухэтажном доме. Комната прислуги. Восемь метров. А больше и не надо.

Окна выходили в деревья. На окошке горшок с геранью. Ситцевые занавесочки.

У Ивана установилась постоянная клиентура. Расписание. На человека — шестьдесят минут. А раньше, в государственном секторе, на человека — восемь минут. Восемь минут смотреть, семь — писать. Итого пятнадцать минут. Что можно понять за это время? И зачем так подробно записывать? Кто это читает?

У Ивана появились деньги, как при отце, но сейчас это были его собственные деньги, что не одно и то же.

Финансовый успех завершился покупкой машины. Это тебе не фломастеры и не розы. Машина. Эля помогала выбрать цвет. Выбрала красный. Цвет не нравился Ивану, но он подчинился беспрекословно. Иногда казалось, что это отец сверху послал к нему ангела-спасителя — Элю. Хотя отец был мусульманин и его ангел, посланец Аллаха, выглядел бы по-другому.

Иван работал четыре часа в день. За четыре часа энергия вытекала полностью. Надо было заряжаться. Заряжался от Эли и от природы. Вместе ездили за город.

Однажды остановили машину на краю зеленого луга. Трава только что вылезла из земли, была молодой, в первом своем переходном возрасте. Каждая травинка сверкала на солнце. Над лугом стояло изумрудное свечение. Бежевая корова с непомерно набухшим выменем лениво щипала траву.

Иван задумчиво смотрел на луг, потом сказал:

— Она все время от меня что-то хотела и дергала, как корову за вымя. Но я был пустой. Она могла оторвать сосцы, я только мычал.

Эля поняла, что «она» — это жена. И еще поняла, что он думает о семье постоянно.

— А ты вывела меня на луг. Молча, спокойно. Погладила меня по шее, и мое молоко течет струями.

— Странное сравнение с коровой.

Но Эля понимала: это благодарность.

Иван смотрел на нее. Эля была красивее Аникеевой. Женский тип тот же, но в Эле доброта. Доброта — это тоже внешность. А у Аникеевой зубы в два ряда, как у акулы.

Иван взял ее руку, понес к лицу, чтобы поцеловать ладошку. Но, не донеся до губ, остановился. Линии судьбы пересекались посреди ладони, образуя крест.

— Ты болела? — спросил Иван.

— Нет, — удивилась Эля.

— Кончала с собой?

— Ты что, с ума сошел?

— Странно, — Иван пожал плечами. — Линия жизни, а рядом еще одна. Дублирующая.

Иван поцеловал обе линии. Спрятал свое лицо в ее ладонь.

Красивая корова благородной оленьей окраски все ела и ела изумрудную траву.

— Знаешь что? — раздумчиво спросил Иван.

— Что?

— Я без тебя сдохну.

Покатился новый этап Элиной жизни. Он назывался «Иван». Что бы ни делала: варила, вязала, вытирала пыль, — Иван существовал в ней и вокруг, как воздух.

Иногда воздуха не хватало. Начинало подсасывать. Эля чувствовала недостаточность. Нервы напрягались. В такие моменты все падало из рук: ложка, тарелка, железный лист, на котором жарилась курица. Грохот листа — как взрыв, удар по нервам — наотмашь, всей пятерней. Эле хотелось закричать — на весь белый свет. До неба. И внутри себя она кричала: а-а-а... Иногда это прорывалось наружу длинным стоном.

Мама Игоря внимательно взглядывала на Элю и, казалось, слышала весь крик. Она покачивала головой, соглашаясь с какими-то своими мыслями.

К двум часам Эля торопилась к купеческому дому. Подходила к красной машине и ладошкой вытирала ветровое стекло — медленным нежным движением. Ей казалось, она гладит Ивана по лицу. Здесь, возле машины, она успокаивалась, как будто пришла домой.

Иван выбегал, одеваясь на ходу. Он теперь все время бегал.

С двух до шести — это было их время. А в шесть Эля должна была вернуться, как Золушка с бала. Могла бы и не спешить, но жаль старуху. Старуха такая, что не ударишь. Сидели в кафе, в кино, как десятиклассники. Иногда просто гуляли по Арбату. Говорили об одном и том же: хорошо бы не расставаться. И не надоедало ему говорить, а ей слушать. Люди, дома, фонари — все приобретало какой-то дополнительный смысл. А если бы Эля шла одна — все бессмысленно — и люди, и фонари, и ее жертвы, и вся жизнь.

Шли, взявшись за руки, переплетя пальцы. Через пальцы текла энергия молодых тел. Эля чувствовала себя коровой, которая ест молодую траву и в нее входят соки земли и солнечные лучи. Она была переполнена. Счастье стояло у горла. Иван время от времени накло-

нялся, целовал Элю, отпивал несколько глотков счастья.

Четыре часа длились бесконечно, а пролетали в краткий миг. Иван отвозил Элю домой. Долго сидели в машине, переживая надвинувшуюся разлуку. Успокаивались тем, что завтра в десять пятнадцать Эля позвонит. Вот эти минуты разлуки были самыми беспощадными. Дальше — легче. Эля входила в дом, надев на лицо деловитое выражение. Грамотно спокойно врала. Дом уравновешивал Элю. Но ненадолго. Перед сном опять начинало подсасывать, внутри выла сирена. С трудом доживала до утра, до десяти пятнадцати, когда можно было набрать семь заветных цифр. Услышать его голос. Иван произносил всегда одну и ту же фразу:

— Ну, как ты поживаешь? — Не живешь, а именно поживаешь.

Эля вслушивалась в его глубокий голос, впитывала его в себя. Неизменно переспрашивала:

— А ты? Что у тебя в душе?

Иван замолкал и прислушивался. В душе у него была любовь и боль. Он чувствовал себя виноватым перед женой, перед Игорем, перед больными.

Много чего было в его душе.

— Скажи что-нибудь, — просил Иван.

— Скажу, — обещала Эля, и это «скажу» как веревка, брошенная утопающему.

День открывало серое пасмурное утро. Казалось, что небо, дома и деревья — все выкрашено в один и тот же серый цвет.

Иван стал отпирать кабинет. Услышал звонок и удивился. Было только десять утра. А десять и десять пятнадцать — не одно и то же.

Иван снял трубку. Голос дочери спросил:

— Это кто?

— Это я, — сказал Иван. — Здравствуй, Мариша.

— А ты когда ко мне придешь?

— Когда ты хочешь? — спросил Иван.

— Мама сказала, чтобы ты пришел сегодня обедать. У нас будет лимонный пирог.

«Мама сказала...» Иван догадался. Восемьдесят процентов лучших мужчин — один за другим раствори-

лись во времени. А Иван в это время укрепился материально, имеет собственный офис — пусть даже в виде восьмиметровой комнаты, собственную машину — самую дефицитную модель. И гуляет по Арбату с собственной Аникеевой, для которой он лучше ста процентов всего мужского населения. Их, наверное, видели. И передали.

— Я перезвоню,— Иван положил трубку.

Десять пятнадцать. Телефон зазвонил. Иван снял трубку. Спросил:

— Как ты поживаешь?

— Хорошо,— сказала жена.— Ты придешь?

— Я занят.

— Ты что, не хочешь видеть ребенка? — беззлобно удивилась жена.

— Ребенка хочу, а тебя — нет.

— Пожалуйста, приходи к подъезду,— не обиделась Танька. Ее устраивал любой вариант.

Двор не был приспособлен для гулянья: ни детской площадки, ни зелени. Сразу против дома — дорога, по которой выезжали и подъезжали машины, гоняли на велосипедах подростки. Казалось, кто-то кого-то обязательно сшибет: велосипедисты пеших, машины — велосипедистов.

Иван обратил внимание, что дети во дворе похожи друг на друга, как братья и сестры: смуглые, курчавые, большеглазые. Председатель кооператива был южный человек и принимал в пайщики преимущественно своих. Взаимопомощь малой нации.

Время от времени на балкон выходила толстая женщина и кричала:

— Альбер-тик!

Русские кричат иначе, у них второй звук на два тона ниже. А у южан, в том числе у итальянцев,— второй звук на той же ноте.

— Альбер-тик...

На стоянке против подъезда — «вольво» и «мерседес». В доме жили внешторговцы. Ивану на минуту показалось, что он где-то в Сицилии: смуглые глазастые дети, иностранные машины, толстая женщина на балконе среди развешанного белья.

Иван ждал Маришу. Сейчас она появится —

остренькая, вьющаяся, вреднющая, как детеныш Кикиморы. Скакнет на него, обнимет руками и ногами, тут же спросит: «Что ты мне принес?»

Иван ждал Маришу, но спустилась жена и сказала:

— Что ты стоишь, как беженец? У тебя что, дома нет? Пойдем домой.

Она сказала это просто, как само собой разумеющееся, и смотрела незамутненно, будто не было ни его бездомности, ни его Арбата.

Танька ждала. Иван весь сжался, как в тот далекий день во время контрольной. И перед ним всплыло видение: старик и старуха сидят перед телевизором. Старуха толстая, а старик худой. Усохший дедок. Видение было неотчетливое, как будто размыто водой. Иван вгляделся и узнал в стариках — себя и Таньку.

Эля крутила диск. Телефон не отвечал. Эля позвонила на телефонную станцию, ей объяснили, что номер исправен. Ночью Эля позвонила Коле. Коля сказал, что Иван вернулся к жене и больше не будет здесь бывать.

Эля сказала: «Спасибо». Коля ответил: «Пожалуйста». Поинтересовался, не надо ли чего передать. Эля ответила, что не надо.

Все было ясно. И вместе с тем не ясно ничего. Хотя, конечно, все ясно. Поступок говорил сам за себя. Зачем слова? И все же нужны слова. Люди отличаются от зверей тем, что у них есть слова. А может, это какое-то особое восточное коварство, неведомое простодушному человеку средней полосы.

Эля решила выждать, выдержать паузу. Она вымотает его своим молчанием.

Потекла неделя. Эля умерла, но продолжала при этом есть, разговаривать, куда-то уходить и возвращаться, спрашивать свекровь: никто не звонил?

Свекровь перечисляла. Ивана среди них не было.

— Иван не звонил? — как бы между прочим уточняла Эля.

— Нет, — уверенно подтверждала свекровь, и Эля проваливалась еще глубже в свою смерть.

Человек считается мертвым, когда останавливается сердце. А когда останавливается душа?

В конце недели Эля подошла к купеческому дому. Машина — на месте. За день ее запорошило сухим сне-

гом. Эля, не снимая варежки, стала вытирать ветровое стекло.

Иван видел из окна, как Эля вытирает машину. Это было ужасно. Лучше бы она взяла кирпич и ударила по крыше и по капоту. Но она все вытирала, будто прощала.

Прием окончился. Иван сидел. Эля ждала.

Заглянула уборщица, спросила:

— Вы сами запрете или как?

Иван взял пальто и вышел на улицу.

— Как ты поживаешь? — спросил Иван, подходя.

— Ты же говорил, что сдохнешь без меня,— тихо бесцветно поинтересовалась Эля.

Иван сделал неопределенное движение лицом, как тогда, когда она сказала: вы гений.

— Ладно, уезжай,— отпустила она.

Иван стоял.

— Садись. Включи музыку, чтобы веселее было ехать.

Она издевалась. Он обиделся.

— А вот это уже не твое дело,— сказал он.— Как хочу, так и поеду.

Иван сел в машину. Повернул ключ. Машина тронулась.

Эля стояла и смотрела вслед. Она не верила, что он уедет. Ждала: он сейчас сделает круг и вернется. Куда он от нее денется? Это даже смешно. Он появится вон из-за того угла, из-за вывески «Ремонт часов». Она пойдет ему навстречу, обнимет машину. Пусть он не успеет затормозить и задавит ее немножко.

Эля стояла четыре часа. С двух до шести. Это было их время. Сухой снег запорошил брови и волосы. В отдалении возвышался бронзовый Гоголь, ему намело на голову целую шапку. Большая ворона села на Гоголя, утопив лапы в снегу. Эля подумала, что сейчас ворона перелетит на нее. Решит, что еще один памятник.

Длинная черная машина остановилась против Эли. Из нее высунулся «папашка» с наполовину лысой головой и спросил на почти русском языке:

— Подвезти? — видимо, это слово он выучил.

Эля не сразу поняла, что он хочет.

— Подвезти? — повторил Папашка.

Эля сняла с головы шапку, которую она сама себе

связала в прошлой жизни, резким движением стряхнула с нее снег. Сказала:

— Подвезти.

Папашка оказался представителем западной фирмы. Работал в Москве по контракту.

Папашка — бизнесмен. Но не такой, как Коля. У Коли все шатко-валко, как дом из соломы у поросенка Нуф-Нуфа. Папашкин дом — на крепком фундаменте.

Фирмач в Москве имеет жизненные преимущества: еда в продуктовых «Березках», одежда в долларовых магазинах, машина иностранной марки, Большой театр и красивые женщины.

Папашка — вдовец. Его жена Паола умерла десять лет назад. Эля как две капли воды оказалась похожа на Паолу, только моложе и красивее.

Папашкина квартира находилась на Кутузовском проспекте, занимала половину этажа. Стены белые, крытые водоэмульсионной краской, а на стенах картины — русский авангард тридцатых годов. Папашка понимал толк в живописи.

Эля провалилась из развитого социализма прямо в капитализм. Это произвело на нее большое впечатление. Единственное, все время мерзло правое колено с правой стороны. Им она прислонялась к колену Ивана. А теперь было пусто. Потому и холодно.

Уходя на работу, Папашка оставлял список продуктов и кошелек с твердой валютой. Эля отправлялась в продуктовую «Березку». В магазине — вся еда, какая бывает в мире. И не в праздничных заказах, а так. Бери не хочу. Эти магазины среди Москвы как острова капитализма. Поражали метровые осетры, каких она видела только в исторических фильмах на пирах Ивана Грозного. Банки с икрой лежали штабелями. Иностранцы не торопились их покупать. Поговаривали, что из-за экологии — в икре ртуть, а осетры болеют рыбьим СПИДом.

Папашка любил сам накрывать на стол. Тонко резал на доске сыры, потом украшал зеленью, вырезал из перца звездочку, из апельсина хризантему. Будучи голодным, он тратил на эти приготовления по полчаса, но иначе он не ел. И так же относился к любви: долго, подробно, обстоятельно.

Эля обнимала Папашку, но мысли ее были далеко. В долларовой «Березке».

Она искала себе плащ. И нашла. И он ударил ее в сердце. И она его купила. А когда принесла домой — выяснилось: не идет. Оливковый цвет убивает. Понесла и поменяла. На светлый и длинный. Вернулась домой и посмотрела внимательнее — оказалось, что слишком светлый и слишком длинный. Подкоротила. Испортила. Все. Плащ пропал. На другой денег не дадут.

Эля не спала две ночи, просыпалась в кошмаре. Пыталась себя утешить: ну что такое плащ? Мануфактура. Не более. Но тут же находила прямую аналогию между мануфактурой и жизнью: нашла Толика. Поменяла на Игоря. Хотела обменять на Ивана. Укоротила. Теперь сидит в квартире с белыми стенами, как в сумасшедшем доме.

Игорь отнесся к Элиному зигзагу неожиданно легко. Оказывается, у него в группе была любовница — художник по костюмам. Она его не била. Она его понимала.

Прошлый Мишаткин — нищий запьянцовец, почти бомж — не мог бы внушить хоть сколько-нибудь стоящего чувства. Эля его отмыла, выпрямила, поставила на стержень и дала ему новую любовь. И Ивана вернула в семью, хоть у нее и не было таких задач. Но об этом лучше не думать, особенно по ночам. Не думать. Забыть.

Эля подарила плащ маме Игоря.

— Деточка, а я не старая для такой вещи? — усомнилась мама.

— Старых женщин не бывает, — объяснила Эля. — Бывают продвинутые в возрасте.

— А куда я это надену?

— А куда вы ходите?

— В магазин.

— Ну, значит, в магазин.

Мама Игоря гладила плащ, будто он был живой.

— У меня никогда не было такой красивой вещи, — сознавалась она. — А как его зовут?

Последний вопрос относился к Папашке.

— Норберт, — вспоминала Эля.

— Какое замечательное имя. Вы его любите?

— Что значит «любите»,— притворно не понимала Эля.— Хочу любить и люблю.

Эля хотела полюбить Папашку, но мешала «персияна». Персияна — это манто из бежевато-розового каракуля, должно быть крашеного, ибо розовых овец не бывает даже в капитализме. Перламутровый туман мечты поднимался в Элиной душе: пройти бы в такой шубе мимо Ильи, мимо Верки-разводушки, мимо Ивана Алибекова...

Эля намекнула Папашке о персияне. Папашка тут же резонно заметил, что буржуазность не модна. Сейчас в моду вошли русские ватники, которые продаются в магазине «Рабочая одежда» и стоят одиннадцать рублей русскими деньгами. Они, правда, тяжеловаты, поскольку на вате, но без синтетики. Чистый хлопок.

Эля выслушала Папашку и сказала:

— Жмот.

Папашка согласился и объяснил причины своей жадности: он живет на проценты с капитала, а основной капитал не трогает.

Эля заметила, что для Папашки деньги — это занятие и хобби. Больше, чем деньги, он любил только свою дочь Карлу, двадцатилетнюю телку. И, как догадывалась Эля, именно для нее он и приберегал основной капитал.

Папашка был вдовец. Значит, Карла — сиротка. Эта сиротка, судя по фотографиям, была ростом под два метра, волосы коротко стрижены и зачесаны назад, как у Сталина. Занималась медитацией и умела летать — в смысле висеть над полом.

Жили, слава богу, врозь. Папашка в Москве. А Карла — на Западе, в загородной вилле вместе со своим любовником-наркоманом. И сама наркоманила за милую душу. Видимо, в эти моменты она и летала.

В день рождения Папашка купил Эле кофточку — черная ангора, шитая золотом. Катя Минаева замерла от шока. Но Эля знала: ей кофточку, а Карле — маленький «фольксваген» с автоматическим управлением. Русские мужья дарили ерунду: коробку мармелада, букет цветов — но дарили на последние деньги. А Папашка на проценты с капитала. У него даже пальцы жадные, и он все время их нюхает: во время работы, во время еды. Невроз навязчивой привычки.

В Эле копилась духота.

И однажды сверкнула молния и грянул гром.

Эля потребовала от Папашки путешествия по Союзу. Она нигде не была, кроме города своего детства Летичева и Москвы. А существует еще Азия с Хивой и Бухарой, Грузия с горой Мтацминда, где захоронен Грибоедов, Армения с Эчмиадзином, где лежит кусочек Ноева ковчега. Да мало ли чего существует...

Папашка легко согласился, видно, ему и самому хотелось попутешествовать. Но в сюжет неожиданно вмешался любовник Карлы.

Там, у себя на Западе, на своей улице он зашел в кафе, напился до чертей и метнул бутылкой в витрину бара, и теперь придется оплатить хозяину нанесенный ущерб.

Папашка горько посожалел о незапланированной трате. Он собирался вложить эти деньги в путешествие, а теперь все отменяется. Вот, оказывается, от чего зависит Эля: от того, как поведет себя в баре любовник Карлы, что взбредет в его наркоманскую голову. Эля затряслась и заорала на Папашку по-русски и даже по-татарски, поскольку утверждают, что русские нецензурные слова имеют татарское происхождение. Папашка ничего не понял, но это и не обязательно, ибо все было ясно из выражения Элиного лица. Такого лица никогда не было у его жены Паолы. Папашка вдруг понял, что прошлая жизнь, счастье ушли навсегда. Русская женщина с волосами светлыми, как Луна,— не стала ему близкой. А Паола умерла. И можно отдать не только проценты, но и основной капитал,— Паолу не вернуть. А он бы отдал. Босой и бездомный вышел бы на площадь, но с Паолой. Она не была так молода и так красива, как русская. Но она была ЕГО. А эта — чужая. Не считается ни с чем, что дорого: ни с его деньгами, ни с дочерью, ни с ее сложной жизнью. Не понимает и не хочет понять.

Папашка заплакал. Эля замолчала. Ее вдруг пронзила мысль, что он и она — люди на разных концах земли — потерпели кораблекрушение. И из двух обломков хотят составить один корабль, чтобы продержаться на волнах. А обломки не стыкуются. У них разные края. Они плачут.

Эля обняла Папашку и заплакала сама. И в этот момент в них обоих проснулось человеческое.

Эля вышла за него замуж.

Регистрировались в ЗАГСе специально для иностранцев — красивом старинном особняке. Это тоже входило в жизненные преимущества.

Тетка с широкой лентой вокруг обширного тела изображала из себя фею с хрустальной палочкой. Она держала в руках пластмассовую указку и говорила торжественное. Папашка неожиданно рассмеялся. Тетка сбилась и замолчала. Эля испугалась, что все расстроится. Но обошлось.

Всю субботу пекли пироги, а все воскресенье их ели. Пироги были с яблоками, с вишнями, и вот эти, с вишнями — были особенно вкусными.

Верка растолстела после двух родов, стала какая-то сырая, как непропеченный хлеб. Подарки приняла с благодарностью, но в глазах Эля уловила разочарование: «Миллионерка, могла бы и больше привезть».

В глазах Кислючихи Эля читала: «Вот ты не схотела, а Толик себе еще лучше нашел. Сиди теперь со своим барахлом, а мы будем с дитями».

Эля привезла Кислюкам прибор для измерения давления, поскольку оба были склонны к гипертонии. Прибор — вещь дорогая и незаменимая. Утром смеришь давление и знаешь, на каком ты свете — на этом или ближе к тому. Если что не так — принимаешь таблетку и живи дальше.

Кислюк обрадовался как ребенок, а Кислючиха вроде и не заметила.

Толику Эля привезла кожаную куртку, а Кирюшке по мелочи — доехать до нового дома. Однако Кирюшка сразу наотрез заявил, что никуда не поедет, потому что дружит с Гошей.

У Кислючихи настроение повысилось, а у Эли упало.

— Что же делать? — растерянно спросила она и посмотрела на Толика.

— Пусть вырастет, потом выберет, — сказал Толик.

— Нечего гонять по свету, как сухой лист, — строго осадил Кислюк. — Человек должен жить, где родился.

— Это почему? — спросил Толик.

— Потому что здесь дом. Земля.

— Научили вас... — заметил Толик.

— А вас чему научили? — встряла Кислючиха.



4-751

Эля поднялась. Вышла на крыльцо. В темноте лежала та же самая свинья, а может, другая. В небе — та же звезда.

Эля закурила.

Ночь тиха. Пустыня внемлет богу. Эля вспомнила Игоря, его зависимость. И что же? Игорь ждет ребенка. И Толик живет, не умер. А что бы она хотела? Чтобы они голову пеплом посыпали?

Где-то недавно читала, что военный летчик на большой высоте потерял сознание. Самолет летел без руля и без ветрил, как Летучий голландец. Мог врезаться в другой самолет, мог упасть на Землю. Но он блуждал, качаясь в воздушных потоках. Потом летчик пришел в себя и посадил машину на военный аэродром.

Так и ее жизнь, как неуправляемый самолет. Что-то с ней будет? Куда ее занесет?

Толик вышел. Остановился за спиной.

— Может, твоя мать права? — спросила Эля.— Надо было нарожать детей и поднимать их для жизни. Как Верка.

— Ты же не Верка,— ответил Толик.

Помолчали.

— Ты когда отваливаешь? — небрежно спросил Толик, скрывая за небрежностью большую печаль большой разлуки.

— Через месяц. У него кончается контракт.

— А ТАМ как, вообще? — поинтересовался Толик, имея в виду западную жизнь.

— Там работать надо,— ответила Эля.— И всем на всех плевать.

— Здесь тоже плевать,— грустно сказал Толик.

Вышла Верка, держа ребенка на выпученном животе.

— Засыпает,— сказала она и передала Толику сонную девочку.

Толик принял ребенка на грудь. Верка заботливо поправила ручки, ножки, как будто налаживала на Толике пуленепробиваемый жилет.

Улетали с «Шереметьево-два».

Аэропорт был похож на раскинувшийся цыганский табор. Раскладушки, чемоданы, узлы и ожидающие

сгорбленные спины, похожие на узлы. Не хватало только шатра и костра.

Эля заметила: в условиях вынужденного ожидания люди стараются жить, организовать свой досуг. Мужчина и мальчик играли в шахматы. Старуха в шерстяных носках лежала на раскладушке с покорным лицом. Казалось, ей безразлично — где ждать смерти: дома, в аэропорту или там, куда ее везут. А везут ее потому, что нельзя бросить и некуда деть.

Папашка привычно заполнял декларации. Эля озиралась по сторонам: все это напоминало массовый исход. Среди отъезжающих много прибалтов и армян. Она почему-то считала, что уезжают только евреи. В Израиль и в Америку. Израиль — историческая родина, а Америка — вселенское общежитие.

Эля не выдержала и спросила у блондинистого парня в летней кепке из нейлоновой соломки:

— Ребята, а вы чего едете?

Тот хмуро посмотрел глазами в воспаленных веках и не ответил.

Эля и Папашка прошли за стеклянную перегородку, которая отделяла провожающих.

Папашка сдал багаж.

Встали в недлинную, но медленную очередь.

Молодой парень в пограничной форме сидел в большой коробке за стеклом, как флакон в футляре. Строго изучал паспорта. Изучив, проверив визу, он дерзко взглядывал на обладателя паспорта, рассчитывая смутить человека в том случае, если у него нечиста совесть: если он провозит наркотики или оружие. Такой человек чувствует себя неуверенно и от взгляда начнет нервничать и выдаст себя с головой.

Люди бесстрашно встречали всевидящий взгляд, показывая, что им нечего бояться. И шли дальше, за дверцу, где уже начиналось другое бытие, которое определяло другое сознание.

Перед Элей стоял армянин. Чуть в стороне на узле сидела крошечная старушонка, похожая на черный ссохшийся корень. Она мелко тряслась — не то от холода, не то от ветхости — и могла только сидеть. Или лежать.

— Старуху покажите,— велел пограничник.

— А чего ее показывать? — удивился армянин.

— Мы должны видеть лицо.

Армянин шагнул к старухе. Приподнял ее под мышки, как ребенка.

Пограничник глянул в лицо — не лицо живого существа — и быстро опустил глаза.

— Идите,— разрешил пограничник.

— Ануш! — раздраженно позвал армянин.

Ануш — молодая женщина — стояла в стороне и смотрела, прищурившись, закинув голову. Там, куда она смотрела,— за стеклянной чертой стояла половина ее улицы — друзья и родственники. Они сбились в табунок, смотрели на Ануш молча и мрачно, как будто прощались с покойником. Только покойник был живой.

Ануш впечатывала их лица в свою память.

Армянская семья задерживала очередь. Но их никто не торопил. Очередь подавленно молчала. Ждала.

— Ануш! — снова позвал армянин, опустив старуху. Она тут же села на пол.

У Эли на глаза навернулись слезы.

«Илья»,— подумала она. Все плохое и несправедливое в жизни она связывала с Ильей. Хотя, видит бог, к карабахскому вопросу Илья никакого отношения не имел.

Папашка довез Элю от памятника Гоголю до маленького европейского городка.

Весь городок можно объехать за полчаса. В центре ратуша и публичный дом.

Три девушки, работающие в нем, висели в окнах, для удобства подложив под грудь подушки. Четвертая прогуливалась внизу и мерзла от худосочия.

Эля привыкла их часто встречать и здоровалась. Они отвечали. Девицы были не шикарные, как в кино, а весьма обычные деревенские девахи, похожие на Верку-разводушку в молодости.

Папашка много работал, уставал и мало разговаривал. А когда говорил — только о деньгах, а Эля о тряпках.

Раз в неделю заявлялась Карла, должно быть за деньгами. Она открывала холодильник и зло спрашивала:

— Ты что отца вчерашними яйцами травишь?

На яйцах было проставлено вчерашнее число.

Каждую субботу и воскресенье ездили на уикэнд

к родителям Папашки. Они жили в провинции, в собственном доме.

Старику было восемьдесят лет, а старухе восемьдесят два. Из ума не выжили, да это и не важно. Эля все равно плохо знала язык и не понимала, о чем они говорят.

Старуха к приезду сына и невестки шла в соседнюю кондитерскую и покупала готовые пирожные с живыми ягодами: ежевикой, малиной, клубникой. Внизу узкий слой слоеного теста, сверху взбитые пресные сливки в три пальца высотой, а на них живые ягоды. И все это в тончайшей пленке желе, чтобы не разъезжалось.

Эля не могла удержаться и съедала четыре куска. Живот растягивался, подпирал диафрагму, было трудно дышать.

Эля вылезала из-за стола, прямо из комнаты выходила в сад покурить.

Участок перед домом был крошечный, куриный, но со стриженой травкой. На травке полосатые шезлонги. Столик. На столике фарфоровая свинья в широкой юбке и шляпке.

Когда-то уже было все это: та же тяжесть в теле, та же тоска, та же свинья. Только та была настоящая, а эта глиняная. И Карла вместо Кирюшки.

Стоило ехать так долго и многоступенчато, чтобы прибыть в ту же самую точку.

Муж курил за спиной, держа сигарету у лица, и казалось, нюхал пальцы.

## СКАЗАТЬ — НЕ СКАЗАТЬ...

Артамонова поступила в училище легко, с первого раза. На вступительном экзамене играла Чайковского, Шопена и что-то для техники, сейчас уже забыла что. Кажется, прелюд Скрябина.

Киреев поступал вместе с ней, но провалился. Получил тройку по сочинению, недобрал один балл. У него случились две орфографических ошибки и пять лишних запятых. Киреев обладал абсолютным музыкальным слухом, но пять запятых оказались важнее.

В последний день вывесили списки принятых. Киреева не было в списке, значит — откинут, отбракован, как нестандартный помидор. Он стоял чуть в стороне и смотрел перед собой куда-то вдаль. Артамонова хотела подойти к нему и сказать, что он самый способный изо всех. Но постеснялась. Он мог принять сочувствие за унизительную жалость и обидеться.

Когда сдавали, приходили на экзамены — держались общим табунком, болели друг за друга. А сейчас разделились на две несмешивающиеся части: везунки и неудачники. Принятые смотрели на непринятых, как живые на покойников: немножко с ужасом, немножко с любопытством и с неосознанной радостью: вы ТАМ, а мы — ТУТ.

Пятнадцать везунков во главе с энергичной Лындиной отправились праздновать победу в близлежащее кафе. Артамонова пошла вместе со всеми, сдала свои пять рублей, но душой не присоединилась. Она чувствовала свою вину перед Киреевым, как будто заняла его место. Там же, в кафе, решила позвонить Кирееву, но всезнающая Лындина сказала, что у него нет телефона. Киреев жил на территории монастыря в бывшей

трапезной. Это двухэтажное строение считалось среднеисторической постройкой, находилось под охраной государства, поддерживалось в первозданном виде. Телефона туда не полагалось, поскольку среднеисторические монахи не перезванивались с внешним миром, на то они и монахи.

Просто взять и поехать в трапезную без предупреждения Артамонова не решилась, хоть и была слегка пьяна и благородные чувства стояли у горла.

Осенью группа собралась для начала занятий. Киреев оказался в группе. Было очевидно: сунули по блату. Кто-то расстарался, спустили еще одно место — специально для Киреева.

Артамонова обрадовалась, а группа ханжески нахохлилась. Музыка — БОГ. Училище — ХРАМ. И вдруг — блат. Какие контрасты. Кирееву в глаза ничего не говорили, но как-то брезгливо сторонились, будто он негр, вошедший в вагон для белых. Киреев делал вид, что не замечает. Но Артамонова видела: замечает. И страдает. И почему эта курица Лындина — крючкотворка и интеллектуалка, как все бездари,— учится по праву, а Киреев — не по праву? Или, скажем, Усманову прислала республика, она прошла вне конкурса. Республике нужен национальный кадр. А если Киреев не кадр — он что, хуже? Почему по блату республики можно, а по индивидуальному блату — нельзя?

Артамонова принципиально села рядом с Киреевым в аудитории. Занимала ему очередь в буфете. Брала сосиски и коржики. А когда начались зачеты — предоставила Кирееву свои конспекты. Киреев сказал, что не понимает ее почерка. Артамонова согласилась читать ему вслух.

Сидели у Артамоновой на кухне, грызли черные соленые сухарики. Мама Артамоновой пережила ребенком блокаду и никогда не выбрасывала хлеб. Резала его соломкой и сушила в духовке. Эти сухарики были неотвязными, как семечки.

В середине дня жарили картошку. Киреев сам вызвался чистить и делал это так, будто всю жизнь только этим и занимался. Ровный, равномерный серпантин кожуры не прерывался. Картошка из-под его рук выходила гладкой, как яйцо. Артамонова заподозрила: когда

человек одарен, он одарен во всем. Картошку жарили с луком, болгарским зеленым перцем и колбасой. Сверху заливали яйцом. Киреев называл это «крестьянский завтрак». Такое сочетание продуктов и слов казалось Артамоновой талантливым, почти гениальным.

На кухонной полке стоял керамический козел: туловище из глиняных бежевых витков, как бы шерсть, а рога — темно-коричневые, блестящие, будто облитые лаком.

Киреев ел крестьянский завтрак, глядя перед собой отсутствующим взором. Свет окна падал на его лицо. Артамонова вдруг с удивлением заметила, что его темно-коричневые глаза не вбирают в себя свет, а отсвечивают, как керамика.

— Ой! — сказала Артамонова.— У тебя глаза как у козла рога.

Киреев ничего не ответил. А что тут скажешь... Он даже не понял: хорошо это или плохо, когда глаза как у козла рога.

Потом Киреев курил и слушал конспекты научного коммунизма и не понимал, чем конкуренция отличается от соцсоревнования и почему конкуренция плохо, а соцсоревнование хорошо. Похоже, этого не понимал и автор научного коммунизма.

Однообразный голос Артамоновой убаюкивал, и, чтобы стряхнуть с себя сонную одурь, Киреев садился играть. Его любимые композиторы были: Шостакович, Прокофьев; Чайковский для Киреева был слишком наивен. Артамонова признавала именно Чайковского, а звучания Прокофьева для нее — как железом по стеклу. Но она стеснялась возражать, самоотверженно слушала.

У Киреева были сильные пальцы. Артамонова сидела, как под обстрелом. Под такую музыку хорошо сходить с ума. Но постепенно эта несообразность во что-то выстраивалась. Вырастала. Во что? Наверное, в двадцатый век.

От хорошей музыки в человеке поднимается человеческое. Жизнь задавливает человеческое, а музыка достает.

Артамонова могла так сидеть и слушать. И покрываться пылью времени. Но приходила из больницы мама. Она работала медсестрой в реанимации, каждый день вытаскивала кого-нибудь с того света. И очень

уставала, потому что тот свет засасывает, как вакуум. И надо очень напрягаться, чтобы не пустить.

Киреев собирался домой. Артамонова его провожала. Он застегивал пуговицы, но мысленно был уже где-то в другом месте. Он умел вот так, уходить — не уходя.

После его ухода Артамонова ставила пластинку под иглу, бросалась на кровать и смотрела в потолок. Наивная музыка ее обнимала, кружила, обещала. Она плыла, плыла... Улыбалась, не улыбалась,— летела куда-то лицом, худеньким телом, жидкими волосиками, собранными в пучок, как у балерины, большими глазами под большими очками.

Как хорош был Чайковский. Как хороши стены родного дома. Как хороша жизнь.

Артамонова влюбилась.

Сейчас уже трудно было определить точность момента, когда это произошло: когда не поступил и стоял в стороне, отбракованный. Или осенью, когда впервые появился в группе. Либо на кухне, когда увидела его мрачные глаза... А в общем, какое это имеет значение. Важно то, что пришла любовь.

Сначала шел инкубационный период, она не знала, что влюбилась, просто появилась потребность о нем думать и вслух проговаривать свои думы.

При этом Артамонова знала и все знали, что Киреев женат на какой-то Руфине. Он женился, когда ему было двадцать, а Руфине тридцать. Она была немыслимой красоты, Киреев сошел с ума и отбил ее у большого человека — генерала или министра. И Руфина ушла из пятикомнатной квартиры в трапезную. Ушла на чистую любовь. Первый год они не вылезали из постели и было все равно, где эта постель — в подвале или во дворце. Потом началась жизнь и Руфина увидела разницу: где стоит постель и обеденный стол и что на столе.

Киреев подрабатывал на танцплощадках и на свадьбах. Со свадеб приносил Руфине вкусненького, денежки в конверте и чувство вины, которое не проходило. Роли распределились четко: Руфина недовольна, Киреев — виноват. Может быть, именно в свою вину проваливался Киреев, когда стоял с отсутствующим лицом, глядя в никуда.

Артамонова все знала, но это знание не меняло де-

ла. Все равно: каждый вдох — Киреев, и каждый выдох — Киреев. И болит под ложечкой, потому что там, в этой точке — душа.

Артамонова не могла ни думать, ни говорить ни о чем другом и в конце концов стала неинтересным собеседником. Невозможно общаться с человеком одной темы. Это общение похоже на заевшую на пластинке иглу.

Усманова, ставшая близкой подругой,— угорала от Киреева, от того, как он молчит, как курит, как чистит картошку, какая неглаженая рубашка, из чего следует: какая Руфина шкура и какой Киреев несчастный.

Однажды подруги прошли пешком по бульварному кольцу до улицы Горького, остановились возле подземного перехода. Апрельское солнце пекло прямо в лицо. Но это не солнце — это Киреев.

Усманова добросовестно внимала подруге, потом заметила:

— Ты слишком много говоришь о себе. Чем меньше о тебе знают, тем лучше для тебя.

— Почему? — искренне удивилась Артамонова.

Есть понятие: поговорить по душам. Человек выворачивает душу, как карман, выкидывает что лишнее, наводит порядок. И можно жить дальше. У них в доме, в соседнем подъезде, проживал дипломат. Он всю жизнь был набит тайнами и секретами от макушки до белого воротничка. И под старость лет сошел с ума, заперся на даче, ни с кем не разговаривал. Боялся выболтать секрет.

Если не общаться — сойдешь с ума. Жизнь — это общение. А общение — это искренность.

Усманова, тайно верующая в Аллаха, считала иначе. Жизнь — это своего рода игра. Как в карты. Игрок держит свои карты у лица, чтобы не подглядывали. Иначе проиграешь. А Артамонова — весь свой расклад на стол.

— Видишь? — Усманова подняла со лба челку.

Артамонова ничего не увидела. Лоб Усмановой был девически чист, и вообще она походила на прехорошенькую японку с календарей.

— Ничего не вижу,— сказала Артамонова.

— Рога.

Артамонова пригляделась. Форма лба была выпуклой по бокам.

— Пока не скажу — не заметишь. А скажу — сразу видно.

Усманова сбросила челку на лоб. Артамонова внутренне согласилась. Усманова стояла прежней прехорошенькой японкой, трогательной, как сувенирная кукла. Но рога на лбу вошли в сознание. Кукла, но с рогами.

— Поняла? — уточнила Усманова.

— Про рога?

— Про Киреева. Если не можешь терпеть — скажи ему одному. И успокойся.

Сказать, не сказать... Артамонова размышляла весь апрель и май.

СКАЗАТЬ. А если ему это не понадобится? Он отшутится, типа: «Напрасны ваши совершенства: их вовсе недостоин я». И еще добавит: «Учитесь властвовать собою; не всякий вас, как я, поймет».

Артамонова боялась унижения. Когда-то в детстве у нее недолгое время был отчим. Он не бил ее, но замахивался. Она втягивала голову в плечи, мерцала ресницами, и вот этот ужас — ожидания удара — остался на всю жизнь. Боязнь унижения переросла в «комплекс гордости».

Любовь выше комплекса. А если все же сказать? Он ответит: «Я люблю другую женщину». После этого уже нельзя будет как раньше занимать очередь в буфете, вместе есть серые институтские сосиски и пить мутный бежевый кофе. Вместе идти до библиотеки Ленина и ехать на эскалаторе, глядя на него снизу вверх, вбирая его лицо все вместе и каждую черточку в отдельности и все линии и структуры, строящие его лицо.

НЕ НАДО ГОВОРИТЬ. Не надо раскрывать карты.

А может быть, все же СКАЗАТЬ... Он согласится частично. Она станет его любовницей, он будет поглядывать на часы. Мужчина, который спешит. Его чувство вины перед Руфиной станет еще глубже. Эта двойственность не прибавит ему счастья.

Все в конце концов в жизни Киреева происходило для Руфины. После училища он хотел поступить в Гнесинский институт, оттуда завоевать мир — непонятно как, но понятно, что для нее. И Артамонова с ее обожанием в конечном счете существовала для Руфины. Обо-

жание было заметно, это возвышало Киреева в собственных глазах, давало ему веру в себя. А уверенный в себе человек может добиться несравненно большего.

Когда совершалась первая в мире социалистическая революция, никто не знал наверняка — как ее делать и что будет потом. Вождь пролетариата сказал: «Надо ввязаться, а там посмотрим».

Может быть, так и в любви. Не просчитывать заранее. Ввязаться, а там будет видно.

А что будет видно? Либо единомоментное мощное унижение. Либо краденое счастье, что тоже унижение, протянутое во времени,— постепенно, по кусочкам.

Лучше НЕ ГОВОРИТЬ. Все оставить как есть. Точка.

Артамонова загнала любовь в сундук своей души, заперла на ключ. А ключ отдала подруге Усмановой. Усманова умела хранить чужие тайны. Так и стоял под ложечкой сундук, загромождая душу и тело, корябая тяжелыми углами. Больше ничего в Артамонову не вмещалось. Она ходила и качалась от тяжести.

— Ты чего смурная? — заметил Киреев.

— Ничего,— ответила Артамонова.— Коленки болят. Ревматизм.

Летом они с мамой уехали на дачу. Маму позвала к себе подруга, одинокая медсестра Люся. Люсиного сына забрали в армию. Люся тосковала, дача пустовала. Сдавать чужим людям она не хотела, сердце просило близких людей.

Дача оказалась деревянной развалюхой, но уютная внутри и соответствовала разваленному состоянию души. Артамонова чувствовала, что у стен дома и у стенок ее сердца — одно направление силовых линий, одинаковое биополе.

Рядом с развалюхой, через забор, стоял белокаменный дворец. Там жил генерал в отставке. Он разводил павлинов, зачем — непонятно. Павлины ведь не куры, варить их с лапшой вроде неудобно. Как-никак жар-птицы. Эти павлины жили в загончике и время от времени вскрикивали — с такой тоской, будто хотели донести до людей свою непереносимость. Крики взрезали воздух.

Артамонова страдала, и ей казалось: мир вокруг на-

полнен страданием. Простучит ли электричка — звук тревожен. Это дорога от счастья — в никуда. Засмеялась ли Люся... Это смех боли.

Однажды шла по лесу, ни о чем не думала. Просто дышала: вдох — Киреев, выдох — Киреев. Солнце пекло в голову, забыла панамку. И вдруг — что-то лопнуло в мозгу, излилась мелодия, похожая на крик павлинов,— одна музыкальная фраза в два такта.

Артамонова пошла домой. Но пока шла — забыла мелодию. Ночью она ей приснилась — четкая, законченная, как музыкальный вздох. Утром Артамонова записала ее в нотную тетрадь.

На даче была полка с книгами. Артамонова нашла сборник стихов, тоже развалюху — оторвана обложка, выпадали листы.

Артамоновой попались такие строчки: «Не добычею, не наградою, была находкой простою. Оттого никогда не радую, потому ничего не стою».

Вот Руфина — та была и добычею и наградою.

Неподалеку от дачи размещался профсоюзный санаторий. Артамонова ходила в санаторий и играла в актовом зале, когда там никого не было. Пианино было новое, клавиши безупречно-пластмассовые, как искусственные зубы. Звучание плоское. Но — не расстроено, и то хорошо. Артамонова тыркала в клавиши, соединяла музыку со стихом. Позже, когда «Павлиний крик» приняли на радио, а потом запели по стране, Артамонова догадалась: если бы Киреев ее любил, если бы была счастлива — не услышала бы павлинов. Ну, кричат и кричат. Может, от радости. И мозги не лопались бы в мелодию. От разделенной любви рождаются дети. От неразделенной — песни.

В актовый зал заглядывали отдыхающие. Садились, слушали. Артамонова играла Чайковского. Играла подолгу, и никто не уходил.

Артамонова знала: у Петра Ильича были какие-то сложности на ниве личной жизни. Только не знающий любви человек мог создавать такие великие мелодии. Мечта о любви выше самой любви. И страдания — более плодотворная нива. Ничего великого не создавалось сытым человеком.

Весь август шел дождь, сеяла мга, как сквозь сито. А сентябрь установился солнечный, ласковый. В саду поспели яблоки.

Люся уговорила остаться еще на месяц. От крыльца развалюхи до крыльца училища — час пятнадцать. Ничего особенного. Даже хорошо. В электричке хорошо сочиняется. Жизнь стала наполненной звуками. Любовь к Кирееву озвучила ее жизнь, а он и не знал. Явился в училище — такой же, как был, только еще красивее и еще недоступнее. Принц Гамлет. Летом ездил в Сочи. Играл в ресторанах. Зарабатывал деньги. Ну что ж, красивая женщина дорого стоит.

Артамонова хотела похвастаться про песню, но не смогла найти удобного момента в разговоре. А просто так, без момента, ни с того ни с сего... С ним было не просто, не запросто. Почему не могла сказать про песню? А ему неинтересно. Все, что происходит с Артамоновой,— ему не надо. А раз не надо — зачем совать в лицо? Комплекс гордости сжимал ее душу в комок, пальцы — в кулак, до того, что болели косточки.

Однажды утром шла через переезд. Прогромыхала электричка. С рельсов поднялась собака и завыла, как сирена. Вой всходил до неба. Артамонова остановилась. Что это? Если бы собака попала под поезд — погибла бы. Не выла. Значит, что? Поезд ее толкнул? Но поезд с его скоростью и массой и собака в двадцать килограммов... Сюда даже слово «толкнул» не подходит. Тогда что? Может быть, испугал? Контузил?

Артамонова приехала в училище и рассказала Кирееву про поезд и собаку. Киреев пристально посмотрел на Артамонову, подозревая ее в аллегориях: дескать, Артамонова — собака, а поезд — неразделенная любовь. Он насмешливо произнес: «О-о-о» — и покрутил рукой, будто ввинчивал лампу.

Артамонову ошпарила догадка: знает. Издевается. Она сделала непроницаемое лицо и замолчала на весь день. Мысленно отобрала у Усмановой ключ от сундука любви и бросила его в мусорное ведро. Хотела пересесть от Киреева, но это было бы нарочито. Артамонова решила: внешне все останется по-старому, а внутренние перемещения, как учила Усманова,— никого не касаются. Артамонова передвинула все козыри в одну сторону, бросовую карту — в другую. Бросовая карта — это Киреев. А козыри — музыка. Артамонова со злости написала песню. Песня получилась, как ни странно, жизнеутверждающая, типа: «Надоело говорить и спорить и любить усталые глаза...»

Наступила зима. Выпал снег. Стало теплее, не так ветрено. Снег как будто прижал ветер к земле.

Однажды вечером Артамонова сидела дома в одиночестве. Мама была на ночном дежурстве. Ее наняли за деньги к умирающей старушке. Артамонова листала сборник-развалюшку. Попались такие слова: «Не могу без тебя столько долгих дней...»

Стихи писала женщина. Талантливая. У нее были те же дела, что и у Артамоновой. Значит, живет на свете неразделенная любовь.

Артамонова вдруг пала духом: не могу без тебя столько долгих дней. Раздался звонок в дверь.

Артамонова открыла и увидела Киреева. Он стоял неестественно серьезный, даже торжественный. Молчал. Артамонова ждала.

— У тебя есть Фолкники?— наконец спросил Киреев.

— Нет,— удивилась Артамонова.— Откуда они у меня...

Фолкники соединили рок с фольклором. Артамонова была равнодушна к этому направлению.

— А «Детский альбом» у тебя есть?

— Есть, наверное. А зачем тебе?

— Я хочу разломать ритм. Сделать другую аранжировку. Современную.

— Зачем ломать ритм у Чайковского? Ломай у Прокофьева,— посоветовала Артамонова.

Киреев молчал, покачиваясь. Она вдруг увидела, что он пьяный.

— Так тебе дать альбом?— спросила Артамонова.

Киреев молчал неестественно долго, потом глубоко вздохнул, как бык в стойле.

— Сейчас?

Он кивнул, глубоко нырнув головой.

— Ну, проходи.

Киреев прошел, остановился посреди прихожей. Артамонова стала соображать, где может находиться «Детский альбом» Чайковского. Она играла его во втором классе музыкальной школы, стало быть, двенадцать лет назад. Выкинула? Не может быть. Ноты и книги не выкидывают. Значит, на антресолях.

Артамонова взяла табуретку и полезла на антресоли. Она барахтала поднятыми руками, пытаясь выгрести нужное из бумажных волн. Ее тело вытянуто, на-

пряжено. Колени находились на уровне глаз пьяного Киреева. Он вдруг молча обхватил колени, снял Артамонову со стула и понес в спальную комнату. Артамонова так растерялась, что у нее замкнуло речь. Не могла сказать ни слова. Он нес ее как ребенка. Артамонова плыла в его руках. В голове сшибалось противоречивое: Да? или Нет?

ДА. Ведь она любит его. Безумно. И давно. И вот случай...

Но он молчит. И вообще пьяный. Соображает ли, что делает? А она будет терять невинность — так неинтересно. НЕТ.

А с другой стороны, надо же когда-то расставаться с этой невинностью. Все подруги распрощались в школе. А она до сих пор... стыдно сказать...

Но почему он молчит...

Пока Артамонова металась мыслями, он положил ее на кровать, и дальше было то, что было. И совсем не так, как мечталось. Больше всего запомнилось два шуршащих звука от пластмассовой молнии на брюках: один раз сверху вниз, когда снимал. Другой раз — снизу вверх, когда застегивал. Разница между этими шорохами — минут десять, а может пять. Киреев поднялся. Одернул куртку — он не снял ее на вешалке — и ушел с тем же молчаливым достоинством, что и появился. А она провожала его с тем же недоумением, что и встретила.

На другой день Артамонова взяла ему, как прежде, сосиску и кофе. Киреев ел, глядя в пространство. Проваливался в свое, отсутствовал по привычке.

«Не помнит,— поняла Артамонова.— Может, спросить? А как спросить?»

«Ты помнишь?» Он скажет: «Что?» И тогда — как ему объяснить, что было между ними? Какие для этого бывают слова? Может быть, так:

«Ты помнишь, как ты меня любил?» Он скажет: «А я не любил».

Артамонова не стала ничего спрашивать.

Началась практика в музыкальной школе. Она вела музыкальную литературу. Играла детям «Детский альбом», благо ноты были найдены. Киреев их тогда забыл.

Иногда играла свои песни. Дети думали, что это тоже Чайковский.

Через две недели Артамонова заметила странное: не может чистить зубы. От зубной щетки начинает выворачивать и холодный обруч стягивает лоб.

Районный врач спросила, будет ли она рожать.

— Не знаю,— потерянно сказала Артамонова.

— Думайте, но не долго,— посоветовала врач.— Самое лучшее время для прерывания восемь-девять недель.

У Артамоновой было две недели на раздумье.

СКАЗАТЬ, НЕ СКАЗАТЬ...

Киреев может не вспомнить, ведь он был пьяный. И тогда он решит, что она врет, шантажирует или как там это называется...

Предположим, помнит. Поверит. Но что с того? Менять свою жизнь он не намерен, значит, ребенок ему не нужен. А она, если хочет, пусть родит себе сына, как дева Мария от непорочного зачатия. В конце концов — это ее дело. Ее живот. Но как будет расти этот бедный мальчик,— Артамонова почему-то была уверена: мальчик. Маленький Киреев. У всех есть папы. А у него нет. Только мама и бабушка. Бедная сорокадвухлетняя бабушка с нежным именем Оля. Муж бросил Олю беременную на пятом месяце. Не выдержал бытовых и материальных трудностей. Захотел удобств и красоты. Будущей дочке и жене он оставил только фамилию.

Артамонова родилась раньше времени, неполных семи месяцев. Еле выходили. Потом к ней стали липнуть все болезни. Еле отбили. Наконец выросла, поступила в училище, скоро начнет сама зарабатывать, помогать маме. Вот тут бы Оле расслабиться, отдохнуть от уколов и ночных дежурств, может даже выйти замуж, пожить для себя. Так нет — опять все сначала. Маленький Киреев не получит даже фамилии. Он будет Артамонов. Оля не откажется от внучка, да еще безотцовщина. Будет любить еще острее, и страдать за дочь, и стесняться перед соседями. Сейчас, конечно, другое время. Никто заборы дегтем не мажет, но... Что за семейная традиция: маму бросили в законном браке, дочку бросили, не успев приобресть... Зачем Оле такие разъедающие страдания? Она вообще ничего не должна знать.

Усманова выслушала новость, и ее узкие глаза стали круглыми.



5-751

— Ты что, с ума сошла? — серьезно поинтересовалась она. — Своему ребенку — ноги отрывать?

— Он еще не ребенок. Он эмбрион.

— Ты что, в бога не веришь?

— А что делать? — не понимала Артамонова.

— Поговори с ним. Ты же не за себя просишь. А хочешь, я поговорю?

— Ни в коем случае! Я сама...

Был день стипендии. Артамонова пришла в училище. Возле кассы она напоролась на Киреева. Именно напоролась, как ногой на гвоздь. Киреев стоял и считал деньги.

«Сейчас скажу... спрошу... скажу...» — решила Артамонова, и в ней даже хрустнуло что-то от решимости. Но Киреев раскладывал деньги по кучкам, и она промолчала. И опять что-то хрустнуло от сломанного желания.

Киреев окончил расфасовку своих денег. Часть положил в карман, другую часть в бумажник. Поднял голову. В лице Артамоновой его что-то поразило. Он спросил:

— Что?

— Ничего, — сказала она.

— Хочешь, в кафе сходим? Я угощаю.

При мысли о еде тут же подкатила к горлу тошнота.

— Не хочу, — сказала Артамонова. И добавила: — Спасибо...

Операционная располагалась в большом или, как говорили раньше, в большой зале. Там стояло два стола, работали два хирурга, мужчина и женщина.

Перед тем как войти, Артамонова обернулась на дверь, ведущую в отделение. Она ждала: вбежит Киреев в пальто и шапке, молча, без слов схватит ее за руку, скажет одно слово: «Успел». И выдернет ее отсюда, и она заскользит за ним в тапках по гладкому кафелю, как по катку.

Киреев не знал, что с ней и где она, и поэтому не мог здесь появиться. Но вдруг Усманова не послушалась и провела с ним беседу и назвала адрес больницы.

Из залы вывезли каталку с бескровным телом, мотающейся головой. Следующая очередь была ее. Она в последний раз оглянулась на дверь. Сейчас вбежит: запыхавшийся, испуганный, встревоженный. Скажет: «Ну разве можно так обращаться со своей жизнью?»

Артамонова вошла в операционную.

Левый крайний стол был ее. Хирург стоял, закатав рукава.

На нем был клеенчатый фартук, забрызганный кровью. На соседнем столе, как в гестапо, кричала женщина.

Артамонова подошла к хирургу. У него было доброе крестьянское лицо. Артамонова доверилась лицу и спросила:

— Может, не надо?

Он посмотрел на нее с удивлением и сказал:

— Но вы же сюда сами пришли. Вас же не привели.

«В самом деле,— подумала Артамонова.— Раз уж пришла».

Она взобралась на стол. Ей стали привязывать ноги. Тогда еще не было внутривенного наркоза, когда женщина отключается от действительности. Тогда все происходило при здравом уме и трезвой памяти.

Тонкая игла боли вошла в мозг. Потом стала нарастать, как шквал, по ногам потекла кровь и послышались звуки, похожие на клацанье ножниц. Артамонова поняла: из нее безвозвратно выстригают маленького Киреева — беспомощного и бесправного. Клацали ножницы, летели руки, ноги, голова... Артамонова закричала так страшно, что этот крик, казалось, сметет и столы и хирургов.

К вечеру за ней пришла Усманова. От мамы все держалось в тайне. Надо было вечером вернуться домой, как бы из консерватории. С концерта пианиста Малинина.

Они шли по вечерней улице. Был гололед. И казалось, что земной шар ненадежно прикреплен к земной оси.

Артамонова вошла в дом и сразу легла в кровать. Мама ни о чем не подозревала, готовила еду на завтрашний день. Мыла посуду и пела.

Артамонова лежала в постели, подложив под себя полотенце. Плакала. Из глаз текли слезы, а из тела кровь. Кровь и слезы были одной температуры: тридцать шесть и шесть. И ей казалось, что из глаз течет кровь, а оттуда слезы. И это в каком-то смысле была правда.

Две недели Артамонова не ходила в училище. Не хотела. И не отвечала на телефонные звонки. На душу спустилось то ли возмездие, то ли равнодушие. Казалось: объявят по радио атомную войну — не встанет с места.

Целыми днями сидела за роялем, тыркала в клавиши. Получилась детская песенка, как ни странно — оптимистическая. Артамонова выживала, поэтому музыка была жизнеутверждающая. Грустное пишут относительно счастливые люди. У них есть силы на грусть.

Первого апреля у Артамоновой — день рождения. Двадцать лет. Круглая дата. Пришел курс. И Киреев пришел и подарил глиняную статуэтку верблюда. Сказал, что искал козла, но не нашел.

Артамонова удивилась: помнит. Ей казалось: всего, что связано с ней, — не существует в его сознании.

Верблюд смешной, как будто сделанный ребенком. На его глиняном бежевом боку Киреев написал толстым фломастером: АРТАМОШКЕ. Надпись была сделана не сплошной линией, а точечной. Одна точка под другой. Артамонова поставила верблюда возле козла.

В тот день группа гуляла на всю катушку. Подвыпивший Гена Кокорев принялся ухаживать за мамой. Маме было смешно, но приятно: раз ухаживают дети, значит, есть перспектива на ровесников.

В тот день было много водки, много еды, много молодости и музыки. Киреев плясал вместе со всеми, топоча ногами. Артамоновой казалось: он что-то втаптывает в землю. Она смотрела на него пустым взором. После того как пропал ребенок — результат ее любви, — сама любовь как бы потеряла смысл.

Кончилось тем, что все пели на много голосов. Музыканты — люди меченые, не могут без музыки.

Они — как земноводные: могут и на суше. Но в воде лучше.

Разошлись за полночь. Смех, музыка, ощущение беспричинного счастья — повисли на стенах. Этим можно было дышать.

И остался глиняный верблюд рядом с козлом. Козел большой. Верблюд маленький. Они стояли рядом десять лет. До следующей круглой даты.

Следующая круглая дата — тридцать. Главные, определяющие события в жизни происходят именно в этом промежутке: от двадцати до тридцати. Потом начинаются повторения.

Артамонова кончила музыкальное училище. Поступила в институт имени Гнесиных на дирижерско-хоровое отделение. После института стала вести хор во дворце пионеров. В трудовой книжке значилось: хормейстер. Красивое слово. Дословно: мастер хора.

Артамонова любила детей плюс музыку и сумму этих слагаемых — поющих детей. Бежала на работу как на праздник. И дети обожали эту свою послешкольную жизнь. В хоре не было текучки.

Репертуар — классический и современный. И несколько песен — авторские. Главное — чистое звучание. Тренировала вторые голоса, так что терции резали воздух. В результате труда и терпения хор вышел на первое место в городе. Его записали на радио. Радио слушают все. Песню услышали. Ее включил в репертуар популярный певец, выдержанный внешне и внутренне в духе соцреализма. Артамонова называла его «поющая табуретка». От табуретки песня перешла к молодой ломаной певице. Она так надрывалась: «не добычею, не наградою» — будто песня была лично про нее.

Артамонова первый раз услышала «Павлиний крик» на пляже в Прибалтике. Рядом с ней сидел Люсин сын Сержик, который пришел к тому времени из армии. Сержик крутил транзисторный приемник, из него выплеснулся «Павлиний крик». Артамонова так поразилась и еще что-то так, что не выдержала, поднялась с песка и пошла по пляжу. Потом побежала. Если бы осталась сидеть возле Сержика — взорвалась бы до смерти от распирающего грудь счастья. Надо было растрясти это счастье, не оставлять в себе в таких жизнен-

но опасных количествах. Артамонова бежала, могла обежать все море, вплоть до Швеции, но все иссякает, и заряд счастья в том числе. Вечером ее бил озноб. Оказывается, счастье тоже выматывает. В эту ночь, перед тем как заснуть, подумала: «Спасибо, Киреев».

Кстати, о Кирееве. Он ушел с третьего курса института и где-то затерялся на жизненных дорогах. Говорили, что играет в ВИА, вокально-инструментальном ансамбле. Но ансамбль зажимали. Тогда всё зажимали. Руководящие товарищи воровали и зажимали, не допускали свободомыслия, чтобы удобнее было воровать. Хочешь свободы мысли — пожалуйста. Но это не оплачивается. Платили только за верную службу.

Артамонова не знала, но могла догадаться: Руфина тяготилась нищетой, а Киреев чувствовал себя виноватым.

В этот же период с двадцати до тридцати, ближе к тридцати, Артамонова вышла замуж за Сержика. Это случилось сразу после Прибалтики. Когда Сержик надел ей в ЗАГСе кольцо, Артамонова почему-то подумала: «Доигрался». Это относилось не к Сержику, а к Кирееву. И стало чего-то жаль.

Сержик был порядочный и нудный, как все порядочные люди. Зато можно быть уверенной за свой завтрашний день.

Такой любви, как к Кирееву, не было, но она и не хотела ТАКОЙ. От ТАКОЙ хорошо умирать, а жить надо в спокойных жизнеспособных температурах.

За прошедшие десять лет Сержик вернулся из армии, кончил институт иностранных языков, стал синхронным переводчиком. Артамонова была его второй женой. До нее он успел жениться и развестись. Его предыдущая жена, в отличие от Артамоновой, была хорошенькая, похожая на всех артисток сразу. Но нервная. Когда ей что-то не нравилось в Сержике, она снимала с его лица очки и грохала их о землю. Очки разбивались. Это было ужасно. Сержик тут же переставал хоть что-нибудь видеть. Но это не все. Главное то, что хорошие очки не достать, за границей они очень дороги, и Люся выворачивалась, как перчатка, чтобы ее мальчик носил фирменные очки. А она — оземь. Это уже хулиганство.

Сержик был милый, правда, много ел. У Артамоновой исчезла проблема: сказать, не сказать. Спросить, не

спросить... Она говорила и спрашивала, а чаще вообще не спрашивала, делала все по своему усмотрению. А Сержик только кивал и ел.

Артамонова догадалась. Любовь — власть. Всякая власть парализует. А отсутствие любви — свобода. Как хочешь, так и перемещаешься. Хорошо без любви.

Слуха у Сержика не было. Он синхронил на одной ноте, и это профессионально удобно, потому что переводчик — не артист. Он должен подкладывать текст, а не расцвечивать его интонациями.

Одно только мешало: Сержик в армии сломал передний зуб, а может, ему выбили, в армии и не такое бывает.

Зубы своего рода загородка, скрывающая от глаз то, что происходит на хоздворе. А здесь в загородке дырка, и видна работа языка. Человек ест, разговаривает, язык переворачивает пищу, произносит буквы, он беспрестанно занят — мелькает туда-сюда.

Артамонова каждый день говорила Сержику: «Вставь зуб». Он каждый день отвечал: «Ладно».

Через триста шестьдесят дней, после трехсотшестидесятого «ладно» Артамонова сняла с его лица очки и грохнула их оземь. Сержик с ужасом понял, что все женщины одинаковы.

Они разошлись. Как там, в стихах: «Была без радости любовь, разлука будет без печали».

Мама с Люсей тоже поругались. Вот это обидно, по-настоящему. Треснула и распалась большая дружба. В мире стало немножко меньше тепла. Так что и от Сержика произошел ущерб.

Песен при Сержике не писала. И вообще, как будто не жила. Когда пыталась вспомнить этот период — нечего было вспомнить.

В тот, Киреевский период — от восемнадцати до двадцати,— разговаривала, как помешанная. Плакала кровавыми слезами. Переживала сильные чувства. Тогда она жила. А потом была.

Артамонова подозревала, что ее проводка перегорела под высоким напряжением. Она выключена навсегда.

Много работала, уставала и счастья не хотела. Зачем хотеть то, чего нет. А есть покой и воля. Вот этого сколько угодно.

Сорок лет — бабий век.

Но Артамонова, как осеннее яблоко,— только поспела к сорока. В ту пору она оказалась красивее, чем в двадцать. Была тощая, стала тонкая. Была укомплексованная, пугливая, как собачонка на чужом дворе. Стала спокойная, уверенная в своем ДЕЛЕ, своей незаменимости. Появилось то, что называется: чувство собственного достоинства. Существенная деталь к внешнему облику. В чем-то глубинном она не переменилась, осталась прежней, молодой. Чего-то выжидала. Награды за одиночество. Может быть, она выжидала, что просверкнет Киреев. Но сама инициативы не проявляла. И когда встречала общих знакомых — не расспрашивала... Скажут — она услышит.

Ничего определенного, существенного не было известно. Для ВИА Киреев был уже старый, сорок три. Нелепо видеть седеющего дядьку, орущего под гитару. Время сменилось, и эстрадные певцы поменяли манеру. Раньше тряслись и блеяли, а теперь четко выкрикивают каждую букву, как глухонемые, научившиеся говорить. Крутят губами так, что того и гляди губы соскочат с лица.

Вчера блеяли, сегодня выговаривают, завтра еще что-нибудь придумают, в яростной попытке обратить на себя внимание, развернуть к себе людей. А «Аве Мария» была, есть и будет.

Но Киреев... Куда он понес свое бунтарство? Руфина двигалась к пенсионному возрасту. Не родила. Упустила время. Жили в той же двухэтажной среднеисторической постройке, которая охранялась государством, но не ремонтировалась. Второй этаж отдали в аренду кооператорам, надеялись, что предприимчивые парни отреставрируют дом и проведут телефон. Руфина надеялась на кооператоров. На Киреева она уже на надеялась. Такие вот дела.

Мама Оля ушла на пенсию. Всю жизнь неслась на предельной скорости и вдруг по тормозам. Движение кончилось, и сразу набежали вопросы: КУДА? ЗАЧЕМ? А известно куда. В старость. Зачем? А низачем. Жизнь пожевала, пожевала и выплюнула. Оля привыкла быть необходимой, в этом состояло ее тщеславие и самоутверждение медсестры и матери. Ей нужно было еще одно беззащитное существо.

Артамонова постоянно возвращалась мыслями в ту

роковую минуту, когда стояла перед хирургом и спрашивала: «Может, не надо?» Он сказал бы: «Конечно, не надо. Идите домой». И она бы ушла. И сейчас ее сыну было бы восемнадцать лет. Он, возможно, служил бы в армии, а она ездила на присягу, заискивала перед гарнизонным начальником и приглашала его на свой концерт.

Нерожденный сын присутствовал в ее жизни, как музыка через стену. Приглушенно, но слышно. И чем дальше продвигалась во времени, тем сильнее скучала. Пусто жить для себя одной. Хочется переливать в кого-то свои силы.

Артамонова пошла на Птичий рынок и купила попугая. Назвала его Пеструшка. Попугай — не человек. Птица. Но все же это лучше, чем ничего. Вернее, никого.

Во дворце пионеров подружилась с Вахтангом. Он вел драматический кружок два раза в неделю. Их дни совпадали.

Вахтанг — настоящий артист из настоящего театра, но ему не давали играть то, что он хотел. Например, Вершинина. Режиссер говорил: «Но ведь Вершинин не грузин и не красавец». Режиссер произносил это слово с ударением на «е». Как будто стыдно иметь красивую внешность. А Чехов, между прочим, утверждал: «В человеке все должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли». А в современной драматургии так: если лицо и одежда в порядке — значит, сомнительный тип. Фарцовщик или сынок. Иначе откуда одежда у советского человека. А уж если душа и мысли на высоте — значит, полуголодный обтрюханный неудачник. Странный человек, в нестираном свитере и в очочках.

Вахтанг своей невостребованностью мучился, не видел выхода. С любовью ему тоже не везло. Он был хоть и красавец, но без денег. Без жилья. Артамонова выслушивала его невзгоды, подкармливала бутербродами и в результате полюбила за муки. А он ее — за состраданье к ним. Все как у Шекспира.

Они поженились.

Вахтанг перебрался в их однокомнатную квартиру. Мама переместилась на кухню. Тесно, конечно. Но для того, чтобы сделать ребенка, много места не надо.

Ребенок тем не менее не получался. Артамонова пошла к врачу. Женщина-врач сказала:

«Ребенка не будет.— И спросила: — А в первый раз был аборт?»

Артамонова ответила: «Один».

Врач сказала: «Иногда хватает и одного».

Вот чем кончился для нее визит Киреева. Что он тогда хотел? Кажется, «Детский альбом» Чайковского.

Верблюд стоял на прежнем месте и ухмылялся отвислыми глиняными губами.

Вахтанг раз в месяц звонил своей маме в Кутаиси и, прикрывая рукой трубку, говорил: «Не получилось». Мама была недовольна женитьбой сына. У Артамоновой, с маминой точки зрения, было слишком много НЕ. Не красива, не молода, не девушка. Дети не получаются. Какой в ней смысл вообще?

Все эти НЕ были справедливы. Но Артамонова привыкла к другому восприятию себя. Ей не нравилась интерпретация ее образа, созданная свекровью. Хотелось бы от свекрови освободиться. Выключить ее из круга общения. Но свекровь шла в комплекте с Вахтангом. Либо обоих принимать, либо обоих выключать. А так, чтобы мамашку задвинуть, как пыльный тапок, а Вахтанга оставить — было нереально.

Оставаться без Вахтанга не хотелось. Он был такой красивый, такой накачанный мышцами, как Медный всадник. Так хорошо было засыпать и просыпаться под его тяжелой, как плита, рукой.

Ночи были талантливы и разнообразны. А дни — одинаковы и неинтересны. В театр пришел новый режиссер, ставили Астафьева. Режиссер сказал Вахтангу: «Ну какой из тебя русский мужик?» Вахтанг стал подумывать: не переехать ли в Кутаиси, играть грузинскую классику. Но там бы ему непременно сказали: «Вахтанг, какой из тебя грузин? Отец русский, жена русская, учился в Москве». Артамонова понимала: дело не в национальном коде. Дело в том, что Вахтанг — полуталантлив. Он не бездарен. Все понимает, но не может мощно выразить. Как собака, которая понимает человеческую речь, но сама не разговаривает. Вахтанг не осознавал своей недоталантливости. Очень редкий характер может сказать себе жесткую, жестокую правду, типа: я бездарен. Или: я — трус. Человеку свой-

ственно чувствовать себя правым. Ибо кто не прав, тот не живет. Вахтанг был набит комплексами, амбициями — всем тем, что заменяет человеку дело. И все свои неудачи перекладывал на людей, на обстоятельства, на всеобщую несправедливость. Артамонова понимала: ему надо менять профессию. Например, на Западе он мог бы быть платным любовником при дорогих отелях. Но разве такое скажешь мужчине?

Детей не получилось, но Вахтанг вполне заменял сына. Ему надо было варить, стирать, утешать, давать карманные деньги. Но все же он не был сыном. И ночь не заменяла день. День главнее.

У Артамоновой в грудной клетке зрел, взрастал знак вопроса, большое такое недоумение: ЗАЧЕМ?

Кончилось все в один прекрасный день и, как казалось Вахтангу, на пустом месте. Он в очередной раз закрыл рукой трубку и сказал: «Не получилось».

Артамонова забрала у него трубку и что-то такое в нее сказала. Кажется, она сообщила какой-то адрес или направление. Куда-то мама должна была пойти. Мама ничего не поняла, а Вахтанг понял. И поскольку они существовали в комплекте, то Вахтанг вынужден был отправиться вместе с мамой.

Личная жизнь не сложилась. Но зато хор процветал, набирал силы. Съездили в Болгарию, в Китай и в США.

В Софии стены домов были обклеены поминальными листками. На одном из них Артамонова прочитала: «Страшната тишина».

В Китае обилие велосипедистов. А в Америке — вообще все другое, поскольку оборотная сторона планеты. И воздух не тот, и хор иначе резонирует. Артамонова почти физически ощущала эту «иначесть».

Работали много, иногда по два концерта в день. В свободное время бродила по магазинам. Для нее Америка — одна большая комиссионка. Не больше. И не меньше.

Вечером вытягивала из хора все, что могла. Ее руки — как дистанционное управление — могли послать любой заряд и вытянуть из хора всю душу, все дыхание. Аплодировали стоя.

Пятьдесят лет — первый юбилей.

Страна дала орден за вклад в культуру и звание «заслуженный работник». Орден вручали в Кремле.

Перед Артамоновой шел получать награду коротенький старик. Его награждали за вклад в профсоюзное движение и в связи с каким-то летием. Скорее всего, это был четвертый юбилей. Старик нажал громкую педаль и закричал, забился, как в падучей, благодарил за самый счастливый миг в его жизни, обещал, что он и дальше, все оставшиеся силы... Лысина старика стала розовая, Артамонова заволновалась: профсоюзного деятеля может хватить удар.

Высокий чин, вручающий ордена, вежливо пережидал. Он, видимо, привык к таким припадкам. Его глаза были затянуты пленкой, как у спящей птицы. Этой пленкой высокий чин отгораживался от действительности. Невозможно же каждый раз сопереживать чужой радости. Никакого здоровья не хватит.

Старик откричал и без сил вернулся на место. Забросил в рот таблетку валидола.

Следующей была Артамонова.

Вручая орден в красной коробочке, высокий чин посоветовал продолжать в том же духе. И в этом году, как в прошлом. Может быть, он решил, что, получив орден, Артамонова потеряет интерес к делу. Орден — цель. А если цель достигнута — зачем уродоваться дальше.

Артамонова удивилась и переспросила: «Что?»

Высокий чин не понял, к чему относится «что», и они какое-то время смотрели друг на друга с нормальным человеческим выражением. Без пленки. Артамонова увидела, что он простой мужик с хохляцкой хитроваткой в глубине глаз, с розовым лицом хорошо питающегося человека. А он тоже что-то такое увидел и, когда сели фотографироваться, сказал:

— Нравишься ты мне, — и положил руку на ее колено.

Фотограф приготовился. Артамонова сняла руку, шепнула: «Компрометирующий документ». Он шепнул в ответ: «Сейчас перестройка. Все можно».

У нее мелькнула идея попросить жилье. Попросить, не попросить... Не решилась. Так и осталась в однокомнатной квартире.

Песни Артамоновой пели в ресторанах и с эстрады.

Сберегательная книжка стала походить на колодец в болотистой местности. Только вычерпаешь — опять подтекает. Хорошо. Деньги — это свобода. Свобода от нашей пищевой и легкой промышленности. Можно питаться с базара. Одеваться за границами. Передвигаться на машине. В один прекрасный день пришла к выводу: она находится в браке со своим ДЕЛОМ. И лучшего мужа ей не надо. Дело ее кормит, одевает, развлекает, возит в путешествия, дает друзей, положение в обществе. Какой современный мужчина способен дать столько?

Артамонова ездила по проезжей части, а по тротуарам колоннами и косяками шли двухсотрублевые мужчины, у которых сто рублей уходит на водку. Шли вялые, бесслухие Сержики, невостребованные Вахтанги, у которых и лицо, и одежда, и мысли — а никому не надо. А она — мимо. Мимо и НАД. Хорошо.

Приезжала Усманова. У нее болел сын, нужна была лучшая клиника. Правильнее сказать — не болел, а родился с дефектом: незаращение жаберных щелей. Мальчик был умный, нормальный, но немножко земноводный. За ушами — свищи. Надо было зашивать. Эти жабры застили Усмановой небо и землю и весь белый свет. У нее был затравленный маниакальный взгляд сумасшедшего человека.

В такие минуты Артамонова была рада, что у нее не ребенок, а птица.

Пеструшка рос веселым и смышленым. Он обожал Артамонову, и когда она приходила с работы домой, то пикировал на нее сверху, как камикадзе — японский летчик-смертник. Шел на таран и приземлялся в волосы или на плечо. Он умел говорить несколько бытовых фраз, типа: «Пеструшка хочет пить». Разговаривал утробным роботным голосом, как чревовещатель. Однажды Артамонова решила усложнить задачу: «Мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы». Фраза была длинной и сложной для птичьего ума. Пеструшка нервничал, злился и, сидя у Артамоновой на плече, рвал ей волосы. Мама возмущалась и кричала, что Пеструшка сломается, как ЭВМ при перегрузке, что Артамонова сорвет у него психику. Артамонова отступилась. Перестала настаивать на Пушкине. Но однажды вечером Пеструшка явственно произнес:

«Мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы».

Всего можно добиться, если захотеть. Артамонова постоянно чего-то добивалась, но не для себя. Для других. Она не умела сказать «нет» и постоянно была обвешана чужими поручениями. Считалось, что статус «заслуженного работника» дает ей дополнительные преимущества. Артамонова пробивала: то телефон, то кладбище, то песню на радио.

Добрые дела имеют особенность: можно десять раз сделать для человека. Один раз не сделаешь — и ты враг. Но у Артамоновой врагов не было. Ее любили. Было за что пожалеть (одинока). Было чем восхититься (добра, талантлива). Сострадание гасило зависть, и Артамонова получала от людей чистое, очищенное чувство, как водка после тройной перегонки. Множественная доброжелательность заменяла ей одну большую любовь. Этим дышала. Артамонова плохо чувствовала себя за границами, потому что в воздухе не было электричества ее друзей. А здесь, в однокомнатной квартире, было все: покой и воля, дела и деньги, друзья и мама. И Пеструшка, в конце концов.

Но однажды случилось несчастье. Во вторник. Она помнит, именно во вторник, вечером. Артамонова вышла из комнаты в кухню. Пеструшка, как камикадзе, устремился следом. Артамонова не видела и, выходя, закрыла за собой дверь. Пеструшка на полной скорости врезался в дверь маленькой головой.

Его хоронили во дворе поздно вечером, когда никто не мог их увидеть. Положили в коробку из-под туфель и закопали.

Вернулись домой. В квартире стояла «страшната тишина».

Артамонова заплакала по Пеструшке, которого убила. По сыну Киреева, по всей своей незадавшейся жизни. И ей казалось, что из глаз шла кровь.

А мама ходила рядом и говорила:

— Наверное, если бы я умерла, ты бы не так плакала.

Если верить теории относительности, то во второй половине жизни, так же как и во второй половине отпуска, — дни проходят скорее.

Раз в неделю Артамонова производила в доме влажную уборку. Каждая пылинка — это секунда,

выраженная в материи. Частичка праха. И когда стирала пыль, ей казалось — она стирает собственное время.

Говорят, что песок — развеянный камень. Каждая песчинка — время. Значит, пустыня — это тысячелетия. Чего только не придет в голову, когда голова свободна от нот.

В Москве гастролировал знаменитый органист. Артамоновой досталось место за колонной. Ничего не видно. Только слышно.

Она закрыла глаза. Слушала. Музыка гудела в ней, вытесняя земное. По сути, хор — тот же орган, только из живых голосов. Звуки восходят к куполу и выше, к богу. Еще немножко, и будет понятно: зачем плачем, стенаем, рождаем полурыб, убиваем детей и птиц. Зачем надеемся так жадно?

Артамонова возвращалась домой в метро. Шла по эскалатору вниз, задумавшись, и почти не удивилась, когда увидела перед собой Киреева. Лестница несла их вниз до тех пор, пока не выбросила на ровную твердь. Надо было о чем-то говорить.

— Ну-ка покажись! — бодрым голосом проговорила Артамонова.

Киреев испуганно поджал располневший живот. Хотел казаться более бравым.

Он был похож на себя прежнего, но другой. Как старший брат, приехавший из провинции. Родовые черты сохранились, но все же это другой человек, с иным образом жизни.

Артамонова знала: последний год Киреев играл в ресторане и, поговаривали,— ходил по столикам. Вот куда он положил свое бунтарство. На дно рюмки.

Они стояли и смотрели друг на друга.

— Как живешь? — спросила Артамонова.

— Нормально.

Кепка сидела на нем низко, не тормозилась волосами. Жалкая улыбка раздвинула губы, была видна бледная бескровная линия нижней десны.

«Господи,— ужаснулась Артамонова.— Неужели из-за этого огрызка испорчена жизнь?»

— Тебе куда? — спросил он.

— Направо,— сказала Артамонова.

— А мне налево.

Ну, это как обычно. Им всегда было не по дороге.

Артамоновой вдруг захотелось сказать: «А знаешь, у нас мог быть ребенок». Но промолчала. Какой смысл говорить о том, чего нельзя поправить.

Они постояли минуту. На их головы опустилось шестьдесят пылинок.

— Ну, пока,— попрощалась Артамонова. Чего стоять, пылиться.

— Пока,— согласился Киреев.

Подошел поезд. Артамонова заторопилась, как будто это был последний поезд в ее жизни.

Киреев остался на платформе. Его толкали, он не замечал. Стоял, провалившись в себя.

Артамонова видела его какое-то время, потом поезд вошел в тоннель. Вагон слегка качало, и в ней качалась пустота.

И вдруг, как озноб, продрала догадка: своими сказать — не сказать, спросить — не спросить она испортила ему жизнь. Родила бы не советуясь, сыну было бы под тридцать. Они вместе возвращались бы с концерта. Она сказала бы Кирееву: «Познакомься, это твой сын». И Киреев увидел бы себя молодого и нахального, с прямой спиной, с крепким рукопожатием. Как в зеркало, заглянул бы в керамические глаза, и его жизнь обрела бы смысл и надежду. А так что? Стоит на платформе, как отбракованный помидор. Как тридцать лет назад, когда его не приняли в музыкальное училище. Артамоновой стало горько за его пропавший талант. И так же, как тогда, захотелось поехать в трапезную, вызвать его и сказать: «Ты самый талантливый изо всех нас. И еще не все потеряно». Киреев стоял перед глазами в низкой кепочке. Жизнь повозила его, но это он. Те же глаза, как у козла рога, та же манера проваливаться, не пускать в себя. Люди стареют, но не меняются. И она — та же. И так же воет собака на рельсах. Между ними гора пыли и песка, а ничего не изменилось.

— Следующая станция «Белорусская»,— объявил хорошо поставленный женский голос.

Артамонова подняла голову, подумала: «Странно, я ведь села на «Белорусской». Значит, поезд сделал полный круг. Пришел в ту же точку».

Она двигалась по кольцу.

Киреев стоял на прежнем месте. Артамонова увидела его, когда дверцы вагона уже ехали навстречу друг другу. Артамонова не дала дверям себя защемить, выскочила в последнюю секунду. Спросила, подходя:

— Ты что здесь делаешь?

— Тебя жду,— просто сказал Киреев.

— Зачем?

— А я тебя всю жизнь жду.

Артамонова молчала.

— Ты похудела,— заметил он.

— А ты растолстел. Так что общий вес остался тот же самый.

Киреев улыбнулся, показав бледную десну.

## ВСЕ НОРМАЛЬНО, ВСЕ ХОРОШО

| | |
|---|---|
| Фамилия, имя, отчество | — Бочаров Алексей Ефимович |
| Год рождения | — 1948 |
| Место работы | — АПН |
| Цель приезда | — командировка |

Бочаров заполнил гостиничный листок. Подал его администратору. Администратор взяла листок и паспорт, стала сверять. Бочаров ждал. Вообще-то он был не Ефимович, а Юхимович. Простодушный папаша в свое время решил, что Юхим — слишком мужицкое, неинтеллигентное имя, и записал себя в паспорте Ефим, механически превратив сына в Ефимовича. Абрам, Ефим — имена православные, но бытуют за евреями. Страна, конечно, интернациональная, но зачем брать на себя чужое? Своего хватает. Хотя, если разобраться, все нормально, все хорошо.

ГОД РОЖДЕНИЯ: 1948. Тут ни убавить, ни прибавить. Война кончилась в сорок пятом. Юхим пришел контуженный, но целый. Думал, что страна поблагодарит. Но ему сказали: «Страна тебе ничего не должна. Ты ей должен всё». Юхим всю жизнь выполнял и перевыполнял план на производстве, а не заработал ни машины, ни дачи. Летом загорает на балкончике. Производство выбрало из него здоровье, годы, потом выплюнуло на нищенскую пенсию, не сказало «спасибо» и не сказало «извини». В выигрыше оказались «локтевики» — те, кто пробивался локтями. Они не ждали, что страна о них позаботится. Они сами заботились о себе.

И теперь у них все есть, и детям останется. А у Юхима нет ничего, кроме имени Ефим. Единственное, что он себе урвал и сыну оставил.

МЕСТО РАБОТЫ: АПН. Агентство печати «Новости». Журналист-международник, средство массовой информации. Бочаров работает «средством» пятнадцать лет. Из них семь с половиной просидел в далекой Индии, в городе Мадрасе. Когда спрашивали: «Ну, как там?», жена отвечала: «Хорошо топят»,— имея в виду пятьдесят градусов в тени.

В Мадрасе Бочаров был завбюро, здесь тоже зав. с зарплатой триста шестьдесят рублей в месяц, плюс пятьдесят за язык, плюс интервью, публикации — набиралось за пятьсот рублей. Кто еще у нас в стране получает такие деньги? Профессора? Замминистры?

Квартира — вся в японской технике и русском антиквариате. Красное дерево — глубокое, теплое, живое. От него веет временем. Оно как будто рассказывает о прежней жизни, прежних хозяевах — красивых праздных женщинах, благородных мужчинах. Не исключено, что на этом кресле сиживал Пушкин, писал хозяйке в альбом стихи. Когда живешь в окружении старины, то потом не можешь находиться в современных стенках из ДСП. Казалось бы, какая разница — что вокруг тебя? Главное — что в тебе? Но то, что вокруг, незаметно просачивается внутрь. И вдруг замечаешь, что твоя душа заставлена скучными ящиками из прессованных опилок.

ЦЕЛЬ ПРИЕЗДА: КОМАНДИРОВКА. Точнее сказать, он приехал в личных целях. Профессор университета Розалия Ефимовна Галесник позвонила ему в Москву и сказала, что хочет отдать свои папки. Боится умрет — и все пропадет. Назначат, конечно, комиссию по наследию, но тяжело думать, что в ее листках будут копаться чужие равнодушные руки. Алеша Бочаров — любимый ученик. Пусть возьмет ее наследие (часть наследия), разберет, напишет книгу или диссертацию. Самоусовершенствуется и подтянет человечество до своих знаний. Дарит клад любимому ученику. Как не взять? Просто неудобно отказаться.

Розалия Ефимовна, как и он, не была настоящей Ефимовной. Ее отца звали старинным библейским именем Сруль. Стало быть: Розалия Срулевна. Но преподавать с таким отчеством — нереально. Да и жить не-

удобно. Любой самый серьезный человек не мог сдержать летучей улыбки. А коллеги на кафедре просто стеснялись. Розалия пошла в милицию переписать паспорт, но начальник поспортного стола отказался от подделки документа. Тогда Розалия собственноручно переправила букву «С» на «Е». К букве «р» приделала колечко с другой стороны. От «у» бритвочкой стерла ногу. И так далее до конца. Получилось «Ефимовна». Так что Бочаров и профессор Галесник пришли к одному и тому же отчеству с разных концов. Он — от православного Юхима. Она — от иудея Сруля.

Однако главное в Розалии — не то, как звали ее папу, а маниакальная тяга к Индии. Она утверждала, что жила там при первом рождении и хочет после смерти снова там родиться. А кто знает, может, она действительно там жила.

Администратор положила перед Бочаровым тяжелый ключ. Сказала:

— Седьмой этаж.

Бочаров протянул руку. Рука была в коротких волосах. Волоски вытекали из-под манжета рубашки — на руку и даже на пальцы до сустава. Администратор домыслила себе остальное тело, поросшее волосами, как у первобытного человека. Она посмотрела ему в лицо. Наметанным глазом отметила белый крахмальный воротник, подпирающий холеные щеки. Подумала: беловоротничковый. Она без ошибки умела отличать хозяев жизни от жертв, наших от иностранцев. Все это отражается на лице, хоть и считается, что на лбу ничего не написано. Но на лбу, особенно в глазах, написано все. Наши люди, замученные социализмом, были видны прямо от дверей виноватым выражением лица.

Беловоротничковый взял ключ и отошел. Администратор проводила его глазами. Потом взяла следующий листок, протянутый следующей волосатой рукой.

«Фархад Бадалбейли Шамси-оглы»,— прочитала она. Подумала: «Не имя, а песня с припевом».

Бочаров повернул ключ, вошел в номер. Номер как номер. Временное жилище. Здесь жили до тебя, теперь ты. Завтра уедешь — придет горничная, поменяет постель, проветрит, чтобы духу твоего не было. Заселится следующий. И с ним так же. Все это напоминает о бренности существования. Пришли. Пожили. Потом время сдуло. Следующий...

Недавно Бочаров посмотрел по телевидению похороны Ленина. Многие мысли поднимались в нем и многие чувства. Но одно потрясло. Все это море людей больше не живет. Это поколение ушло. Они жили, любили, страдали и умерли; в основном страдали.

Бочаров подошел к окну. Отодвинул занавеску. Гостиница стояла на площади, как на полуострове. Носовая часть гостиницы вреза́лась глубоко в площадь, а конец уходил в город, к домам.

Дома в этом районе старые, антикварные. Петербург. Они вполне зашарпаны, но если отреставрировать — заговорят.

Бочаров любил Ленинград. Он здесь родился, учился в университете на факультете востоковедения. Потом женился на москвичке, эмигрировал в Москву. Ленинград постепенно из «колыбели революции» превращался в оплот реакции. Тогда многие сбегали в Москву, подальше от нового Романова. Тот — Николай Второй — был царь. А этот — царек. Слова похожи, однако разные. Бочаров уехал из Ленинграда, но скучал. Черемушки, с одинаковыми белыми геометрическими коробками, напоминали галлюцинации сумасшедшего. Одинаковость угнетала, обезличивала, лишала уникальности. Ты — как все. Инкубаторский. А он — не как все. Он — это он.

Бочаров подошел к телефону. Набрал номер Розалии Ефимовны. В трубке сказали:

— Сейчас...

«Чей это голос?» — не понял Бочаров. Должно быть, соседки. Соседи несколько раз менялись за те 89 лет, которые Розалия жила в этой квартире. Вот еще одна, из породы Юхима. Профессор с мировым именем, она знает об Индии больше, чем сами индийцы. Сделала советско-индийскую дружбу действительно дружбой, а не мероприятием. На Западе у нее была бы вилла с бассейном, свой самолет и яхта. Здесь — сидит в коммуналке, без лифта. Не может выйти на свежий воздух. Сидит — ровесница века, старая, как век.

Бочаров услышал ее голос — низкий, прокуренный. Старушка в свое время курила и даже, кажется, пила. Муж ушел от нее еще до войны. Не выдержал соперничества с Индией. Розалия говорила мужу: «Самое неинтересное в моей жизни — это ты».

Бочаров сказал, что приехал «стрелой» и через час будет у нее.

— Ты звони, голубчик, четыре звонка. И если долго никого нет, не уходи. Это значит, я иду.

— А соседи не могут открыть? — спросил Бочаров.

— Соседи в это время на работе,— объяснила Розалия Ефимовна.— Ну, а у тебя как?

— Все нормально, все хорошо,— сказал Бочаров.

— А мама как?

Бочаров замолчал, как провалился. Потом сказал:

— Мама умерла двадцать пять лет назад. Вы же были на похоронах.

— Да? — удивилась Розалия Ефимовна.— Да, да, помню...— подтвердила она.

«Плывет...» — подумал Бочаров.

— Ты приезжай, голубчик, непременно. Я приготовила тебе четыре папки по пятьсот страниц в каждой. Разберешь. Еще четыре папки я отдам своей дочке Рашмине.

«Какая дочка? — удивился Бочаров.— У нее нет детей». Потом вспомнил: она собирает вокруг себя индийских студентов, которые учатся в Ленинграде, и называет их детьми. Они ей помогают и возле нее греются. Индийцам в Ленинграде знобко и холодно после своих пятидесяти градусов в тени.

— А Попов в моей папке? — спросил Бочаров.

— В твоей, в твоей, папка номер два.

Какие-то вещи, для нее необязательные — например, жива или нет его мама,— Розалия Ефимовна путала, забывала. Но все, что касалось профессии,— помнила до мелочей.

— Не завтракайте,— предупредила Розалия Ефимовна.— Я вас накормлю.

Она любила своих студентов — прошлых и настоящих. Заряжалась от добра. Студенты отвечали ей тем же. Так отвечает земля на благодатный дождь. Ее польешь — она плодоносит.

Бочаров шел по городу. Синее небо. Яркий снег. Он любил свой Питер и под бархатным дождем, и в белые ночи. Любил, потому что привык. Это дано ему было возлюбить с детства.

Вот дом, где в молодые годы жила Крупская. К ней приходил Володя Ульянов, взбегал по ступенькам. Она ему открывала дверь. Как давно это было. А вообще,—

не так уж давно. Бочаров родился при жизни Сталина. 1948 год. Сталин — соратник Ленина. Ленин родился при жизни Достоевского. Достоевский застал Пушкина. Если взяться за руки, то можно дотянуться до Пушкина. Все рядом. А генерал Попов — совсем близко. История генерала Попова во второй папке у Розалии Ефимовны.

Хорошо было идти по Невскому проспекту и думать о Попове.

Сорокалетний, как и Бочаров,— помещик, красавец, вдовец или холостяк — это надо уточнить, а впрочем, какая разница,— нет, все-таки разница,— встречает в Петербурге благородную девицу, она только что окончила бестужевские курсы — красавица, умница, увлечена химией. Попов видит ее и с первого взгляда понимает, что его долгий поиск счастья блестяще завершен. Он женится и в качестве свадебного подарка дарит ей лабораторию. Юная жена с утра до вечера в лаборатории — опыты, эксперименты, чем там занимаются химики, что они льют в свои колбы, реторты, какие получают соединения. Кончилось все тем, что она погибла в своей лаборатории: не то взорвалась, не то сгорела, а может, то и другое. Вчера была — сегодня нет. Попов не мог смириться с этим фактом — вчера была, сегодня нет. Он слегка сошел с ума. Мозг отказывался принимать жестокую данность. Попов уехал к себе в имение — где-то в Черновцах — и на берегу реки построил мраморный корабль. Пока возводился мемориал — Попов этим жил: хлопотал, нанимал людей, сам трудился до изнеможения. Труд и идея отвлекали его от бессмысленности жизни. Корабль готов. Надо что-то делать дальше. Попов прорыл от своего дома до корабля подземный тоннель. Рыл один — с утра до вечера. По тоннелю приходил на корабль и тосковал. Пожалуй, он не сбрендил. Он любил, как сейчас говорят, по-настоящему. Многие считают: сегодня, в конце двадцатого века, нет ТАКОЙ любви. Бочаров думал иначе. Любовь во все времена одна. Люди — разные. Сейчас нет ТАКИХ людей. Итак, Попов потерял смысл жизни и мучительно искал этот смысл. Он узнал, что в Индии проживает некий мудрец то ли святой — Вивекананда — и поехал прямо к нему за тридевять земель. Другое было время: затосковал — строй корабль или поезжай на другой конец света. Ищи выход.

Вивекананда — выход. Его мировоззрение легло на душу Попова как озарение, как благодать. Примирило его с собой, с миром. Попов вдруг осознал, что мир — родной дом. Страны — комнаты, люди — родственники: сестры, братья, дети. Можно спокойно ходить по комнатам, видеть родные лица. Ты не одинок.

Попов вернулся в Петербург. Ему было мучительно жаль людей, которые не знают Вивекананды. Он стал переводить его на русский язык. Кое в чем Вивекананда пересекался с Толстым. Было много общего в мировоззрении этих двух великих старцев.

Революция Попова не тронула, он никому не мешал — седобородый кроткий старик, должно быть, казался тихо помешанным. Но он был нормальный человек. Просто очень много знал и как Бог смотрел сверху на человеческую мельтешню. Смотрел не равнодушно и не брезгливо, а с пристрастием. Хотел завещать, как детям, все, что знал и накопил. Его не слушали. Не до него.

Умер Попов своей смертью. Похоронили его возле корабля. Этот корабль и по сей день стоит на берегу маленькой речки. И могила там. Надо выяснить: где именно. Обязательно съездить.

Красивая история. Красивая жизнь. Бочарову стало чего-то жаль: может быть, юную жену Попова, погибшую в начале своего цветения, а может, себя. Мог бы он вот так, как Попов? Женился бы через год. А в Индию поехал бы заведующим пресс-центром на место Фролкина. И новую жену взял бы с собой. Она бы доллары копила. Доллар — твердая валюта. Хорошо было Попову выражать сильные чувства, когда у него имение, дворянство, наследство. На него работало не менее трех предыдущих поколений: прадед, дед, отец. А он, Бочаров,— сын Юхима. Что он мог унаследовать от отца? Страх. Перед войной Юхим боялся, что посадят. Во время войны — что убьют. После войны — опять посадят. Мало ли что придет в голову сумасшедшему вождю народов? Остался жить только потому, что был маленький незаметный человек. Обычная человеческая щепа. Но тогда и щепки летели во все стороны, поскольку — как всем известно — рубили лес для строительства коммунизма.

Бочаров в сравненье с генералом Поповым — нищ и наг. Но не в этом, не в этом дело...

Дверь открыли сразу. На пороге стояла молодая индианка в шерстяной советской кофте поверх сари. Сари и кофта сочетались странно. И именно по кофте было очевидно, как им тут неприкаянно и холодно. Она улыбнулась Бочарову застенчиво и открыто одновременно.

Розалия сидела за столом, как стог сена. Потянулась к Бочарову двумя руками, как маленькая. Старики зависимы, как дети.

Бочаров поцеловал ее в мягкую щеку. Сел к столу. Привыкал к Розалии. Она всегда казалась ему запредельно старой, и двадцать лет назад и теперь. Кожа на лице и на руках в мелкой ряби, как будто ветер прошел по воде. Но в чем-то оставалась неизменной. Это неизменное смотрело со дна веселых глаз. Розалия с юмором стала рассказывать о своих болезнях, о том, как каждый день, садясь за стол, она торгуется со своими почками. «Я съем кусочек селедочки, то, что я люблю. А потом то, что любите вы: творожок и кашку». Почки не соглашались, но Розалия делала по-своему. Она всегда жила, как хотела.

На столе стояла еда, помещенная в розетки для варенья. Порции — кукольные. Бочаров боялся есть. Он только посмотрел: в одной розетке лежало что-то малиновое: свекла. В другой — темно-зеленое: морская капуста. Свеклу Розалия поставила для почек. А капусту для себя. Вокруг по стенам — стеллажи с книгами и папками. Материалы об индийско-русских отношениях начиная с четырнадцатого века. Это бесценно, как, скажем, произведение искусства. Но Розалия раздает, пристраивает свои папки, как детей, чтобы не сдавать в детский дом. А в сущности, это и есть ее духовные дети, их надо пристроить, чтобы потом спокойно умереть. К фактору смерти Розалия относилась, как к пересадочной станции. Доехала. Пересела. И дальше. До следующей станции. Путь бесконечен.

Освободиться от страха смерти — все равно что сбросить мучительно тесную обувь. Как легко тогда идти.

— Кто это у тебя на галстуке, раки? — спросила Розалия.

— Кони, — ответил Бочаров.

На синем шелке галстука — красные полосочки в сантиметр. Вглядишься — это не полосочки, а бегущие кони. Как только Розалия заметила.

— Ты купил его в Дели,— опознала Розалия.— Я дружила в Дели с одним врачом. У него такой же галстук, только на нем маленькие рачки. На белом фоне черные рачки. Он его никогда не снимал.

— Почему? — удивилась Рашмина, и русское «почему» так же странно не совпадало с ее смуглым личиком и красным кружком на лбу.

— Он обнаружил у себя рак желудка и сам себе сделал операцию. Никому не доверял. Сам вырезал, ассистенты зашили. Он поехал домой.

— А это возможно? — не поверил Бочаров.

— В Бомбее изобрели обезболивающее средство, которое воздействует на болевой центр, а остальной мозг работает нормально. Не то что наш наркоз. Глушит наповал.

— А почему у нас его нет? — спросил Бочаров.

— У нас много чего нет.

— А как он теперь? — спросила Рашмина.

— Наркоз или врач? — уточнила Розалия.

— Врач.

— Здоров. Никаких рецидивов. Только вот галстук. Все-таки сбрендил слегка.

Бочаров всматривался в Розалию, сильно подозревал: она тоже сбрендила слегка. История с врачом была вроде реальна, такое могло произойти, но где-то размывалась грань реальности и все плыло, как мираж. Врач, сам взрезавший себя и копающийся в своих внутренностях... Молодая индианка в вигоневой кофте с чисто русским языком, полумистическая вечная Розалия. Еще немножко — и Бочаров перестанет понимать, где он: в Ленинграде, в Москве или в Индии. А может быть, он качается в «стреле» и ему снится сон.

Розалия переключилась на Попова, как будто была с ним знакома, а может и была. Рашмина принесла четыре папки, положенные в зеленый целлофановый пакет с надписью «Станкоимпорт».

Розалия говорила о том, что из этой истории можно сделать советско-индийское кино, поскольку индийцы обожают кино. Тогда жизнь Попова разольется широко, но мелко. Кинематограф действует вширь. Вглубь действует проза. Если копать глубже, то надо писать

документальную прозу. Для русских лучше проза. Для индийцев — кино, потому что они сентиментальны, предпочитают чистое чувство.

Бочаров слушал и осознавал: Розалия может говорить только об Индии и о том, что с ней связано. Человек одной идеи. Ровесница века. Родилась в 1900 году. При ее жизни случились события: Революция. Нэп. Тридцать седьмой год. Война. Победа. Застой и оттепель. Розалия все это знала, но события текли мимо нее, как пейзаж за окном поезда. Она была совершенно аполитична. И если бы однажды выглянула в окно и увидела, что за окном фашизм,— оказывается, мы проиграли войну с Гитлером,— то всплеснула руками и воскликнула бы: «Ах...» Не более того.

И вместе с тем Бочаров понимал: чтобы делать в жизни что-то по-настоящему, надо делать только одно. Рафаэль расписывал купола и по два года не сходил вниз. Жил на лесах. Ему туда приносили еду. Туда залезали женщины. Когда он спускался вниз, то разрезал сапоги, иначе было не снять. После этого остаются купола. После Розалии — папки. Даже если их раздать, они все равно есть. А что останется после него?

— А там еще стоят камни? — спросила Розалия.

— Где там?

— Под Мадрасом. На берегу.

— Стоят,— сказал Бочаров, хотя ничего не понял.

— А мама твоя как?

— Спасибо.

Было душно. Хотелось есть. Розалия оживлялась на глазах, а Бочаров опадал, как резиновая надувная игрушка. Ему казалось, что Розалия при большой массе имеет очень слабый заряд и как бы подпитывается Бочаровым. Она подсоединилась к нему и тихо качает энергию.

«Сейчас,— сказал он себе.— Договорит, и я уйду».

Розалия снова метнулась к Попову, к жанру документальной прозы, стала перечислять документы, имеющиеся в папке, фотографии, чертеж корабля, подлинник перевода Вивекананды.

«Сейчас...» — говорил себе Бочаров и оставался сидеть, как под гипнозом. Наконец он оторвал себя от стула. Почти выдавил себя из квартиры. Но и в последнюю секунду надо было что-то говорить и обещать.

Наконец он ушел, держа в руке пакет с папками. Остановился на берегу Фонтанки. Долго дышал. Силы медленно возвращались. Казалось, он приходил в себя после обморока.

Официантка взяла заказ.

Бочаров установил закономерность: молоденькие официантки высокомерны, словно за их молодость надо доплачивать. А возрастные официантки — душевны. Как бы извинялись за жизненный стаж. Бочарову попалась высокомерная. Записала заказ, будто сделала большое одолжение.

Бочаров вздохнул. В Мадрасе он был белый сахиб — белый господин. Короля играет окружение. Окружение Бочарова, а именно: шофер Атам, повар, нянька — постоянно напоминало, что он белый господин. Сначала Бочаров смущался, потом привык. К хорошему быстро привыкаешь. Он вдруг вспомнил про камни на берегу Индийского океана. Розалия не сбрендила. Камни действительно стояли. Под Мадрасом, где они купались, в океане было место с глубокой воронкой. Поговаривали, в ней жила акула. Против этого места поставили камни, чтобы люди не купались. Какая теплая, тугая вода в океане.

Хорошо было тогда в Мадрасе. Особенно если смотреть из сегодня. Бочаров был молод и жена молода. Они и сейчас в расцвете, но это уже вторая молодость. А тогда была первая. За сыном ходила тихая бенгалка. Она никогда не делала ребенку замечаний. Просто ходила и все. И сын вырос спокойный, не дерганый. Потому что его не дергали воспитанием, а просто любили. Бочаров был убежден: в начале жизни человек должен познать нерассуждающую всеобъемлющую любовь. И тогда он вырастет счастливым.

Бочаров вспомнил дом на земле — особняк, двор с постриженной травкой. Машина «вольво» с затемненными стеклами, шофер по имени Атам. Атам — шестипалый. От корня большого пальца отходил еще один маленький недоразвитый пальчик с ноготком. Атам им не пользовался, но избавляться не хотел. Бог дал — значит, так тому и быть. Бог же лучше знает, что он делает. Однако никто не помнил, какое у Атама лицо и голос. Все смотрели только на его руку, на шестой

палец. Люди по божьему замыслу тождественны, и всякий отход от нормы — уродство или талант — поражают.

Уродство заметно. Но как выразить талант, если он спрятан как Кощеева смерть.

После Индии Москва казалась холодной, пасмурной. Яблоки, купленные в овощных магазинах, даже отдаленно не пахли яблоками. Были безвкусны, с каким-то лекарственным привкусом, как пенициллин. Солнце ушло за серые тучи, а из серых туч сыпанул дождь со снегом. И отношения с женой испортились, стали как магазинные яблоки.

Красивая певица взяла микрофон и запела песню из репертуара Пугачевой. Она была гораздо красивее Пугачевой и пела ненамного хуже, а вот поди ж ты... Пугачева известна на всю страну, а девушка поет в ресторане. Наверняка Пугачева устала от славы, а эта девушка жаждет превыше всего. Бочаров подумал, что такая же расстановка сил у него и Фролкина. Фролкин — во главе фирмы. Ему давно все надоело. Он как старый перекормленный кот, который не ловит мышей. Лень двигаться. А Бочарову сорок пять — золотое сечение, когда форма и содержание на какое-то время встречаются. В молодости отстает содержание. В старости с содержанием все в порядке, но форма... А здесь одно и другое слиты воедино. Бочаров — как конь, в котором играет каждый мускул, а его держат в стойле. Стойло, правда, комфортное. Но в хлеву.

Официантка принесла салат оливье. Бочаров подозрительно посмотрел на горку, залитую майонезом. Не ясно — что ешь и чем это для тебя кончится. Он не доверял нашему общественному питанию. Плохое мясо долго вымачивают в уксусе. Жевать вроде не сложно, но на вкус напоминает прессованные опилки.

Бочаров вспомнил, как его повар готовил курицу. Белое мясо клал на кусок поджаренной корейки. Постное куриное мясо прослаивалось жирком и копченым духом. Бочаров ел одно, а вспоминал о другом. «Так гладят, глядя в потолок, чужих и нелюбимых».

Люди танцевали в центре зала. Веселились простодушно. Бочаров любил смотреть на чужое веселье. Ему становилось чего-то жаль. Может быть, их, которые в своей жизни слаще морковки ничего не ели. Может,

себя, оставшегося в четырнадцать лет сиротой. Может, их и себя — вместе, потому что чувствовал свою с ними неразрывную связь. Когда долго живешь за границей, да еще в другой культуре — чувствуешь эту самую неразрывную связь. И никакая курица на тундуре не заменит.

Выходит, человек — не птица. Где тепло, туда и летит. Человек — дерево. Где посадили, там ему и быть, там его корни и крона. А когда корни в одном месте, а крона в другом...

Певица окончила песню, переглянулась с пианистом. Тот закрыл крышку. Переглянуться — сколько это занимает времени: секунда, две? Но за эти две секунды Бочаров понял: любовь. Скрестились в пространстве два луча энергии. Пианист, конечно, пожиже, невзрачный мужичок, зато лидер. Не то что Бочаров — застоявшийся конь. Чему он завидовал в жизни по-настоящему — это красивой семье, где все в одном мешке: секс, дом, дело, дети, спорт, деньги, нежность, общая могила...

Певица темпераментно закричала новую песню. Пианист наотмашь лупил клавиатуру.

Они показались Бочарову навязчивы. Он расплатился, пошел из ресторана.

Женщина-администратор странно глянула на него из своего загончика. Бочаров замедлил шаг. Но генерал Попов незримо глянул на него, как бы наблюдая поведение своего биографа. Бочаров смутился и пошел пешком по лестнице. В сравненье с Поповым он нищ и наг, но не в этом, не в этом дело. Попов служил Богу, Царю и Отечеству. А кому служил Бочаров прошедшие двадцать лет? Брежневу и его тринадцати апостолам.

Бочаров дошел до своего номера. Настроение почему-то испортилось: то ли из-за несвежего майонеза, шибающего уксусом, то ли из-за певицы — черт его знает. Но Бочаров был не из тех, кто попадал под настроение. Он умел им управлять. Первым делом — душ. Вторым делом — сон. Бочаров влез в ванну. Потом переоделся в пижаму. Подошел к окну, задернул штору, чтобы солнце утром не расстреляло в упор его сон. И вдруг на подоконнике увидел божью коровку — настоящую, оранжевую с черными точечками. Как она

здесь оказалась? Видимо, упустила время зимней спячки и теперь у нее бессонница...

Бочаров посадил божью коровку на руку. Она стала пробираться по его волосатой руке и, вероятно, думала, что ползет среди травы. «Бедная...— испугался Бочаров.— Как же она проживет?»

Он снова оделся, вышел в коридор. За столиком против лифта сидела пожилая коридорная. Возле окна был расстелен диван, коридорная приготовилась ко сну, хотя спать им не положено.

Бочаров подошел, стараясь ступать неслышно, будто боялся спугнуть ее предстоящий нелегальный сон.

— Извините, пожалуйста, вы не знаете, чем питаются божьи коровки?— виновато спросил он. И добавил:— Такие жучки. В лесу живут.

— Это их птицы едят. А они... зелень, наверное. Траву. Что же еще?

— Спасибо,— поблагодарил Бочаров.

— Вы разгадываете кроссворд?— спросила коридорная.

— Да. Спасибо.

Бочаров увидел в конце коридора фикус, и у него созрел план.

Он вернулся в номер, достал из несессера маленькие ножницы. Пробрался к фикусу и настриг от его жесткого листа зеленую лапшу. Сжимая зелень в кулаке, а кулак пряча в кармане, он вернулся в номер. Божья коровка сидела на прежнем месте и доверчиво ждала.

— Сейчас,— сказал он коровке.— Сейчас, моя хорошая...

Бочаров достал спичечный коробок. Вытряхнул спички, выстелил дно зеленью и сверху посадил божью коровку. Задвинул крышкой. Потом продырявил в крышке три дырочки и положил коробок под зажженную настольную лампу. Теперь в ее домике был воздух и свет. Божья коровка могла вполне вообразить, что она в траве под солнышком.

Устроив божью коровку, Бочаров лег спать. Совесть его была спокойна, перспективы определены. Но сон не шел. Божья коровка пустила его мысли совершенно по другим виткам. И в обратном направлении. Неожиданно вспомнилась молодость, стажировка в Дели после университета. Обезьяны, живущие на воле у стен мертвого города. У русских «давно»— это во-

семнадцатый век. А у индийцев «давно» — это второй век. Да и то не очень давно: у них все связано: второй век, двадцатый, тридцатый. Как вчера, сегодня, завтра... Но не в этом дело. Однажды выстроили город, вырыли колодцы. И вдруг ушла вода. Видимо, подземная река изменила свое русло. Без воды нельзя жить. Люди бросили город и ушли. Жилища со временем разрушились, превратились в груды камней, потом и камни выветрились, остались квадраты фундаментов. Стена — как стояла, так и стоит.

Перед стеной пасутся мартышки с подвижными человечьими личиками, просят у людей еду. Одни просят, а другие требуют, хватают за одежду, агрессивно скалясь. Однажды Бочаров видел задумчивую мартышку. Она кого-то поджидала у самой дороги, вглядываясь напряженно, и при этом чистила банан. Ее узенькое, низколобое, ушастое и глазастое личико отражало проблему выбора: ждать или уходить. Бочаров не верил прежде в дарвинскую теорию о происхождении человека. Ему казалось, что обезьяны — это другая ветвь эволюции, не имеющая к человеку никакого отношения. А сейчас усомнился. Дарвин, пожалуй, прав. Но при чем тут Дарвин, мартышка, мертвый город?..

В городе исчезла вода, и люди ушли. Без воды нельзя жить. А еще нельзя жить без правды. Правда — это тоже вода. А в жизни Бочарова правды нет. Значит, он живет в мертвом городе.

В чем вранье? Прежде всего в профессии. Бочаров выпускает журнал, который пропагандирует советский образ жизни за рубежом.

...«Самый привилегированный класс в нашей стране — это дети». А по детской смертности, как выяснилось, мы занимаем первое место среди цивилизованных стран. Дальше идет какая-нибудь Уганда.

...«Молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почет»...

Старики получают нищенскую пенсию — шестьдесят рублей в месяц. Только бы не умереть с голоду. Не умереть, но и не жить.

Бочаров думает одно, пишет другое. Официально врет. И за это ему платят зарплату замминистра и дарят челночную жизнь, возможность пожить ТАМ, почувствовать себя белым господином.

За границей — тоже вранье. Копят, жмутся, жены

ругаются, сплетничают. Люди собраны на маленьком пространстве, как крокодилы в террариуме — горят низкие крокодильи страсти. Жена, человек искренний, не любила эту челночную жизнь, но горячо одобряла ее последствия. Она любила выжимать соки из соковыжималки «Мулине», перекручивать мясо на мясорубке «Мулине», складывать продукты в японский холодильник, жарить мясо на тифлоновой сковороде. Заказывать шубу по каталогу «Квели». Пить виски с черной этикеткой, хотя через какое-то время ей было все равно, чем напиваться. Жена любила последствия такой жизни, но уставала от самой жизни. Время от времени ей хотелось все разбить и разметать. Но разбивать нельзя, за этим ездили за границу. Поэтому раздраивала себя, заливала спиртом по горло, по самое темя, чтобы залить мозги, ничего не помнить. Время от времени жена впадала в запой. Приходилось ее прятать. Узнают — выселят в двадцать четыре часа. Бочарову все время казалось, что он носит шило в мешке и это шило может высунуться из мешка каждую секунду.

Однажды запой затянулся до недели, жена приняла снотворное, чтобы отключиться, заснуть. Спирт и транквилизатор не сочетаются. Ей стало плохо. Надо было вызвать врача. Врач придет, зафиксирует алкогольное опьянение — и конец всему.

Жена смотрела на Бочарова, как раненый зверь, а он стоял и плакал. Не то чтобы материальные блага были главнее, чем ее жизнь. Он плакал от своего бессилия, от невозможности ТАК жить и невозможности отменить эту жизнь. Ведь он для них старался — для жены и сына. Для них продавал душу.

Бочаров вспомнил, как обходились, выкручивались коллеги-международники. Шурик Цыганов — с легкостью. Он был жадный человек. За границей все жадные, но Шурик обладал какими-то особыми талантами по этой части. Однажды упал в голодный обморок, как первый нарком пищевой промышленности. Но тот — от честности, этот — от жадности. Он мог бы умереть за деньги. Деньги — его идея, как свобода для Спартака. Если бы ему сказали: «Шурик, нá миллион и выскочи с шестнадцатого этажа». Долго бы думал. Не сразу согласился. Все же думал. И выпрыгнул. Умирают же за идею.

Юра Крюкин — тихий человек в большом чине — не



7–751

любил политику, прятался от нее за хрупкую спину Марины Цветаевой. Каждый день ходил в библиотеку, заказывал нужные книги, собрал все иноязычное творчество Марины Цветаевой, включая ее переписку на немецком языке. Собрал, откомментировал — получилась большая рукопись.

Крюкин не может бросить работу, его некем заменить. Оказывается, есть незаменимые. Незаменимый Крюкин мечтает стряхнуть с себя Запад и Восток, вернуться в родную Москву, а вернее, под Москву, на дачу, к деревьям, птичкам, к письменному столу. Но это можно только по выходе на пенсию. Настоящая жизнь начнется с шестидесяти.

Бочарову вдруг мучительно захотелось другой участи. Все бросить, уйти на вольные хлеба. Зачем врать индийцам, когда можно говорить правду своим. А сможет? Не разучился за двадцать лет? Это у индийцев двадцать лет — миг. А у него — половина сознательной жизни. Лучшие годы — на что потратил? На соковыжималку «Мулине».

Бессонница набирала силу. Мысли рвались, жевались, как советская магнитофонная пленка. Ни с того ни с сего вспомнилось, как комитетчик Боря Мамин увез жену у всех на виду. Открыл дверцу машины, сказал:

— Нина, поехали.

И она села в его машину и укатила. А все стояли во дворе и смотрели — русские и индийцы, шофер Атам и нянька — старая бенгалка, и все его бюро в полном составе. Все видели, как один белый господин увез у другого жену.

Комитетчики — каста неприкасаемых. Но в ином смысле, чем у индийцев: неприкасаемые работают в туалетах, к ним нельзя прикоснуться — противно. А к Боре Мамину нельзя — потому что нельзя.

Жена вернулась довольно быстро, через час. Хотя за час — он это знал — можно успеть многое. Жена сказала, что посидели в кафе. Никто не видел, как она вернулась, к этому времени все разошлись. Но все видели, как она уезжала. Бочарову казалось, что на него стали поглядывать иначе, чем раньше. Не в глаза, а чуть выше, на темя, где у молодых бычков зачинаются рога.

Жена обиженно таращила на Бочарова голубые глазки. Они были некрупные, но поразительно ясного, чистого тона. Сама ясность и чистота.

Потом Боря Мамин стал к ним заходить. Они даже подружились, Боря даже пытался приторочить Бочарова к своим делам, но Бочаров не стал приторачиваться. Он — средство массовой информации, и с него хватит простого вранья. Боря не настаивал. Дружбе это не повредило. Но Бочаров знал цену такой дружбе: у них могли быть самые искренние отношения, но если НАДО для дела, Боря мог в одночасье зачеркнуть и Бочарова и его жену, и голубые глаза бы не спасли. НАДО — для таких, как Боря Мамин,— выше общепонимаемой человеческой морали. Если надо, он может мгновенно выключить прежние чувства и включить другие, как телевизионные программы. Раз! И уже другое изображение. Был концерт, стал футбол. Или ничего не стало. Какая-то неведомая Бочарову надчеловеческая или подчеловеческая мораль.

Но Мамин, в отличие от Бочарова, ни в чем не сомневался. Он верил в свое дело, а значит — в свою жизнь.

В спичечном коробке зашуршало. Бочаров поднял голову, прислушался. Может быть, от Бочарова шли волны бессонницы и это мешало заснуть божьей коровке. А может — коровка мешала Бочарову. Не спала, волновалась за детей и за родителей: не склевали ли их воробьи или вороны.

Бочаров посмотрел на часы. Четыре часа. Надо бы выключить лампу, но жалко коровку. Бочарову всегда кого-то жалко, только не себя. Это у него наследственное. От мамы. Бочаров положил на глаза рубашку и стал считать. На счете тридцать семь — точно знал. Его город — не мертв. В одном из колодцев есть хрустальная вода. Ее зовут Маша. О ней никто не знает, но она есть.

Маша — журналистка, молодая, коротенькая, как кочерыжка, с личиком ангела Возрождения. Умная, как мужик, и простодушная, как ребенок. Всему верит, будто вчера на свет родилась. Бочаров любит ей пожаловаться, это у них называется «булькать». Он булькает — она слушает, внемлет, сострадает до конца и душу свою подставляет, как таз. Хочешь — соверши омовение над сим сосудом. Хочешь — вытошни все, что

в тебе лишнее. Примет — и будет счастлива, что тебе легче. Будет заглядывать в глаза.

Приходится, правда, удирать с работы. Опять врать: дескать, пошел на интервью или в библиотеку. Удирал, как правило, после обеда. В два часа. А вернуться домой надо в семь. Жена ждет, смотрит на часы. Если опоздаешь — не разговаривает, и духота в доме, как перед грозой. Дышать нечем. Однажды заявила: если что — отравится. У нее уже все приготовлено и спрятано в заветном месте. Бочаров отмахнулся: не говори ерунды. Но испугался. Знал,— может. Войдет в запой и отравится. Назло ему, себе. Она такая. Максималистка. Ей все — или ничего. Войдет в черную спираль, откуда выход только один — в космос. И тогда — как жить? Как смотреть в глаза сыну? Поэтому лучше не опаздывать и возвращаться в семь. Чтобы попасть домой в семь, надо уйти от Маши в шесть. В пять Бочаров начинает поглядывать на часы, и настроение портится от скорой разлуки. Но с двух часов — когда едет к Маше — и до пяти, три часа — ПРАВДА. Он говорит, говорит... Булькает обо всем: о том, что поменяет работу, уйдет на вольные хлеба, станет настоящим журналистом. Он обязательно вырвется из мертвого города и побежит, побежит... И ветер в лицо. Маша слушала и дышала этим новым ветром. Он накалывал ее, как стрекозу на иглу. И она трепетала и погибала. И улетали оба в ПОКОЙ,— вся энергия уходит из человека, он умирает, душа высвобождается и летит. Этот полет и покой знают только что умершие люди: какое-то особое чувство освобождения, радостного растворения, слияния с космосом. Недаром индийцы обожествляют любовь.

Они лежали на самом дне Покоя. Потом она говорила: «Я люблю тебя». Он отвечал: «Я люблю тебя». Это был не диалог:

— Я люблю тебя.

— И я люблю тебя.

Это была перекличка. Позывные в космосе:

«Я люблю тебя...»

«Я люблю тебя...»

Правда. Бочаров чувствовал ее каждым своим человеческим слоем. Почему нельзя так жить всегда? Во всем. Почему он всегда чего-то боится? Врут, когда боятся. Чего? Что семья останется без средств, что друг

обидится, жена отравится. Он учитывал всех, кроме себя. С этим ничего не поделаешь. Такая же была мама — жена Юхима, девушка из белорусского села. Ей казалось — все умнее ее, все больше знают. Хуже нее только кошка. И та не хуже.

Бочаров вспомнил, как умерла его мама. Хотя что значит «вспомнил». Он не забывал об этом никогда. У мамы появилась изжога. Районный врач предложил сделать рентген желудка. Мама панически боялась кабинетов и процедур, но неудобно было возразить врачу. Он может воспринять это как недоверие. Мама пришла в назначенный день. Хамоватая медсестра протянула пол-литровую банку с барием. Мама не могла пить барий, ей казалось, что это разведенный зубной порошок. Она замешкалась. Медсестра открыла рот, но в этом случае правильнее сказать — разинула хавальник, как говорит его сын. Молодежный сленг. Хавать — значит жевать. Рот у таких людей только для пережевывания и хрюканья, как у свиней. Но свиньи — более человечны. Они не притворяются людьми.

Короче говоря, медсестра — разинула хавальник на тему: больных много, а она одна, и каждый будет кочевряжиться, а она должна выдерживать за копейки. При этом глаза ее были набиты злостью, как стеклами, и волны ненависти окатывали маму.

Мама смутилась, что позволяет себе такое антиобщественное поведение. Ей стало жалко медсестру, и, чтобы не загружать собой, она поднесла банку ко рту. Мама знала, что не сможет проглотить. На какую-то секунду маму охватил ужас, она сделала глоток. И у нее случился инсульт. Два года после этого она лежала парализованная, а потом умерла.

А ведь все могло быть по-другому. Когда медсестра начала хамить, надо было плеснуть ей в рожу барием. Повернуться и уйти. Сестра пошла бы в туалет, умылась, утерлась казенным вафельным полотенцем. И через час — забыла. И мама бы жила до сих пор. И все было бы нормально, все хорошо. Но мама не могла вот так — решительно. И Бочаров — не может. И не сможет. Он вдруг понял, что не сможет — и заплакал. Его никто не слышал, кроме божьей коровки. Бочаров плакал в подушку и звал: мама...

А потом заснул в слезах, как в детстве, и ему снился странный беспокойный сон, как будто он увидел на

лестнице жулье с крадеными чемоданами и впустил их в свою квартиру, чтобы скопом сдать в милицию. А жулье поселилось у него и осталось жить, и устроили на кухне пожар. А он ничего не может сделать.

Проснулся Бочаров, как всегда, в семь утра. Это было его время. Когда бы ни лег — просыпался в семь утра. Настольная лампа горела. Под ней лежал спичечный коробок.

Бочаров заглянул в коробок — он был пуст. Зеленая лапша на месте — а коровки нет. Бочаров оглядел пол, отодвинул кровать. Проверил подоконники. Заглянул в ванную.

«А была ли она?» — усомнился Бочаров. Потом подумал: «А бог с ней, была, не была — какая разница».

Он сделал жесткую гимнастику — приседал двадцать раз на подскоке. Выжимал свое тело, подскакивал и снова приседал до конца. Разрабатывал колени, накачивал ноги, давал нагрузку сердцу, возвращая телу силы и уверенность.

Нервный срыв остался в ушедших сутках. Начинался новый день, где все должно быть нормально, все хорошо.

А что плохого? Прочная семья, желанная возлюбленная, работа по специальности. О вольных хлебах — не может быть речи. В сорок лет он будет бегать по редакциям, как студент-стажер.

Бочаров встал под душ: горячий, холодный. Холод жег. Он выскочил, растерся полотенцем. Увидев себя голого, подумал вдруг, что неандертал с дубьем выглядел так же и человек мало изменился за двадцать веков.

Бочаров надел свежую белую рубашку, повязал галстук. И пока выстраивал узел — придумал: можно связаться с миллионером Хаммером, предложить ему совместный советско-американский журнал. А Бочаров — во главе журнала.

Можно стать пресс-мэном, крутиться колбасой с утра до ночи, ездить в Америку, как к себе на дачу. А можно все бросить, отправить жену на работу. А самому засесть, как Юра Крюкин, и написать книгу о Попове, донести до сегодняшнего человека Вивекананду.

В тихий кабинет, один на один с Поповым, Вивеканандой. Другая жизнь. Иная участь.

Можно крутиться, крутиться, крутиться,— взбить воздух до густоты — так что ходить по воздуху. А можно осесть и замереть, лечь на дно, как подводная лодка.

Бочаров оглядел себя в зеркале: не неандертал. Современный человек. В расцвете сил. Живет в определенную эпоху, в 90-х годах двадцатого века. Каждое время предлагало своих лишних людей. Сегодня от тебя самого зависит — стать лишним или не лишним.

Бочаров вышел в коридор. Запер дверь.

Коридорная сменилась. Сидела другая женщина, не потерявшая доверия к жизни... В знак доверия ее глаза были густо запорошены голубыми тенями.

Бочаров отдал ей ключ. В этот момент к коридорной подошел восточный человек в финском спортивном костюме. Дождавшись, когда Бочаров отошел к лифту, он тихо, озабоченно спросил:

— Девушка, вы случайно не знаете, чем питаются божьи коровки?

## ДОМ ГЕНЕРАЛА КУРОПАТКИНА

Когда садились за стол, прибежала кривая Дуся.

— Ну, я не могу! — Дуся всплеснула руками и остановилась на пороге в ожидании.

— Опять дерется? — буднично спросила мать. Она жила в деревне с весны и знала все проблемы своих соседей.

Своей семьи у Дуси не было, она воспитывала племянника Кольку. Колька превыше всего в жизни любил водку, и, когда Дуся отказывала ему в деньгах, он стучал по ней кулаками — не сильно, но настойчиво, выколачивая таким образом положенную сумму.

— Я его, поганца, семимесячного с самой Плоскоши пешком в тряпках несла! — вспомнила Дуся, и ей стало обидно за свою сегодняшнюю участь.— Катя, вы грамотная, может, он вас послушается...

Катя приехала в деревню неделю назад со своей десятилетней дочерью Никой. Ника была очень похожа на Катю, а Катя, в свою очередь, как две капли воды походила на свою мать. Так что за столом сидели три представителя одного рода и вида, отстоящих друг от друга во времени на двадцать лет.

— Поди сходи! — разрешила мать Кате.— Это же форменное безобразие.

Дуся ждала со страдальческим лицом. Один глаз у нее был вставной. Протез прислали из города, он оказался велик, и глаз был растаращенный, стеклянно-бессмысленный. На него налипли мелкие травинки. Эти травинки еще больше подчеркивали ненастоящесть гла́за.

Катя вышла из-за стола и пошла за Дусей по деревне.

Деревня Яновищи была маленькая, заброшенная, на десять дворов. Старики умирали. Молодые уходили в большие города. Здесь не было дорог, и значит, не было промышленной перспективы. Одна только красота. Но зато какая красота! Какой покой! Лес не вырубался и подвинулся к самым избам. Воздух был напоен смолами деревьев. Раскаленная земляника — прямо вдоль дороги. Дерево домов старое, серое, с каким-то благородным платиновым налетом. Когда Катя приехала сюда две недели назад и впервые увидела все это — захотелось просто поднять лицо к небу и застыть. И не двигаться.

Дусина изба была третьей от конца.

Колька — семнадцатилетний человек — сидел на диване, кинув руки между колен, разочарованный, как Лермонтов. Он был худ, нежен лицом, и, глядя на него, никогда в жизни нельзя было подумать, что он пьет или дерется.

— Коля, это правда? — нерешительно спросила Катя.

Колька промолчал.

— Дуся говорит, что ты ее обижаешь.— Катя как бы извинялась голосом за то, что вмешивается не в свои дела.— Так вот, я тебя очень прошу, чтобы это было в первый и в последний раз.

— Ня буду, тетя Катя! — вдруг громко выкрикнул Колька, как солдат на перекличке.

Кате не понравилось, что он сказал «тетя». Ей было 30 лет, но по сегодняшним временам запоздалого инфантилизма 30 — это самое начало жизни, как прежде — 18. Хотелось сказать: «Какая я тебе тетя? Дурак». Но она сказала:

— Смотри, Коля, если я еще раз услышу...

— Ня буду, тетя Катя,— снова вскрикнул Колька так, будто его кольнули острым предметом.

Катя заметила, что он уже успел где-то выпить с утра. Подумала: «Да ну его...» — и вышла во двор.

Дуся стояла возле крыльца, и даже в стеклянном глазу ее читалась надежда.

— Все, Дуся. Он больше не будет драться. Он обещал,— заверила Катя.

Дуся кивнула и пошла в избу, но почти тотчас выскочила обратно с проворством подростка.

— Ну вот...— она удивленно всплеснула руками.— Опять...

Кольке нужна была не справедливость, которую искала Дуся, а денег на водку. К тому же он разозлился на тетку, которая вынесла сор из избы и опозорила его, Кольку, в глазах городских, или, как их тут звали — дачников.

Дуся вспомнила те сорок километров, которые она несла в тряпках новорожденного Кольку, и лицо ее скрючилось в плаче.

Катя вздохнула и снова пошла в избу.

Колька сидел в прежней позе, с прежним выражением лица, и снова невозможно было представить, что он совершает антиморальные и антиобщественные поступки. Катя даже подумала: может, Дуся что-то путает? Но все же сказала:

— Коля, да что же это такое?

— Ня буду, тетя Катя,— вскрикнул он и тут же замолчал, как казалось, только для того, чтобы переждать немножко и снова заорать эти же слова.

Кате стало скучно. Она попрощалась с Дусей и ушла домой.

Мать и Ника сидели на кухне за столом и ели деревенский творог с земляничным вареньем.

Мать поглощала творог с хлебом, чтобы загрузить в себя побольше топлива и подольше не проголодаться.

Ника сидела над тарелкой, смотрела перед собой большими остановившимися глазами, как бы со страхом вглядываясь в свою предстоящую жизнь.

— Не замирай! — велела ей бабка.

Катя села к столу. Она стала есть творог, отгребая варенье в сторону, потому что избегала мучного и сладкого. Всеобщая повальная эпидемия похудания коснулась и ее.

— У тебя уже ноги стали как у паука,— заметила мать.— И цвет лица синий, как застиранная тряпка.

— Мама, мне тридцать лет. Дай мне жить, как я хочу,— попросила Катя.

— Вот уедешь к себе в Москву и живи там, как хочешь. Чтобы мои глаза не видели.

Мать специально купила в деревне дом, вложила десять своих пенсий, чтобы ее дочка и внучка могли пастись на свежем воздухе. А Катя, как назло, приезжала

и ничего не ела, и даже ложкой орудовала лениво и свысока. В такие минуты матери хотелось забрать у нее ложку и дать по лбу, и она еле сдерживалась, чтобы не сделать этого.

Катя жила отдельно от матери, в другом городе. В разлуке душа набиралась сиротства. Катя с трудом дожидалась отпуска, чтобы увидеть мать, положить голову ей на плечо. Но о каком плече шла речь... Мать сидела, как граната с выдернутым кольцом, каждую секунду мог грянуть взрыв.

— Я вчера видела Надьку Юшкову,— сказала Катя, чтобы предотвратить взрыв.— Она выше Ники на целую голову.

— Потому что у Надьки отец высокий,— объяснила мать.— Не такой замухрышка.

Определение «замухрышка» относилось к Никиному отцу, Катиному мужу.

Ника низко склонилась над тарелкой, будто что-то в ней высматривая, и в земляничное варенье упали две слезы.

— Ну зачем ты говоришь такие вещи при ребенке,— расстроилась Катя.— Ты же знаешь, как она любит отца.

Ника зарыдала во весь голос.

— А что я такого сказала?— смутилась мать.— Я только сказала, что Славик немножко ниже ростом, чем Надькин папа. И больше ничего.

Катя молчала, склонив голову. Мать посмотрела на ее макушку и сказала:

— Раз ребенок так любит отца, то нечего и разводиться.

— Но ты же знаешь, почему я развожусь.

— Знаю. Потому что ты непутевая.

Катя резко отодвинула табуретку и вышла из избы. Остановилась на крыльце. Ей захотелось забрать Нику и уехать сейчас же, сию секунду.

За забором росла высокая трава с радостно-желтыми лакированными цветочками куриной слепоты. И сразу начиналось озеро с камышовым островом посредине. По озеру на лодке, сделанной из двух выдолбленных стволов, скрепленных железной скобкой, плыл председатель колхоза с романтической фамилией Дубровский. Председатель был молодой, высокий, похожий на эстонца, в грубошерстном свитере и высоких

резиновых сапогах. Кате казалось, что он смотрит в сторону их дома, и она не видела, но представляла себе его обтянутые молодостью щеки и прямые голубые глаза.

Катя не хотела плакать, но уже плакала от жалости к себе. Подошла Ника и оплела ее руками.

— Давай уедем, мамочка...

Мать собирала на кухне посуду. Она не понимала, в чем ее вина. Она купила дом на краю света, приезжает сюда, едва сойдет снег, чтобы все побелить и посадить. Она вкладывает все свои деньги и все свое здоровье только для них, потому что ей самой ничего не надо. Она сама могла бы поехать на лето в Сочи и загорать там на морском берегу. Либо отправиться в санаторий и поправить свое здоровье, вместо того чтобы тратить последние силы.

— Вот умру,— пообещала мать,— будете знать!

— Ну и умирай,— сказала Ника.— Вечно всем настроение портишь!

То, что мать портит настроение, было частной правдой, но мать поняла заявление внучки как общую и единственную правду: она всем мешает жить, все только и ждут ее смерти. А раз так — не надо заставлять ждать. Она сегодня же, сию минуту уедет отсюда в Ленинград и будет жить у своей одинокой подруги Тоси, с которой они вместе справляли молодость в послевоенные годы. Молодость была жалкая, безмужняя, но сейчас, издалека, брезжила как счастливейшие времена.

Мать выскочила во двор и стала стаскивать с бельевой веревки свои штаны необъятных размеров с ослабшей резинкой, которые Ника называла «парашюты»... Мать стаскивала парашюты, чтобы сложить их вместе с халатом и тапками. Больше она отсюда ничего не возьмет.

В это время растворилась калитка и во двор вошел парень с каким-то плакатом под мышкой, свернутым в трубку. За калиткой на дороге остался стоять его мотоцикл.

— Здрасте! — громко и весело сказал парень.— Подпишите Стокгольмское воззвание!

Все прекратили свои предыдущие действа и переключили внимание на парня. Он был молод, лет двадцати шести, с хорошим лицом и замечательным выражением. Он глядел на человека и как бы говорил: «Пос-

мотрите, что есть хорошего во мне. А я посмотрю, что есть хорошего в вас. И сколько бы ни продолжалось это знакомство, нам будет очень хорошо вместе».

— А вы кто? — спросила мать.

— Я инструктор райкома комсомола Витя Павлов.— Он протянул свою крупную ладонь, и все с удовольствием ее пожали.

Витя развернул Стокгольмское воззвание и разложил его на столе, который стоял посреди двора. Под воззванием уже стояло несметное количество фамилий — не меньше пятисот.

— Это вы ездите по всем деревням? — спросила Катя.

— Ну да...

— А нельзя сесть и самому за всех подписать?

— Нельзя.

— Почему?

— Проверяют.

— А что это за воззвание? — спросила мать.

— За мир,— объяснил Витя.— Чтобы войны не было.— Он протянул матери шариковую ручку.

Мать подписалась, тесно ставя буквы, экономя место на бумаге. Она экономила всегда и во всем.

— А можно и я подпишу? — спросила Ника.

— Можно,— разрешил Витя.— Ты ведь тоже хочешь мира.

Ника, высунув язык, вывела свою фамилию.

— А где этот Стокгольм? — спросила мать.

— В Швейцарии... Или в Швеции,— ответил Витя.

— А это не одно и то же?

— По-моему, нет.

— Ну, подпишут, а потом куда?

— В ООН.

— Надо же...— поразилась мать.— С ума сойти... Где ООН, а где Яновищи...

Подписи были собраны. Витя Павлов сел на лавку возле стола и задумался. Он смотрел куда-то в землю, вернее, сквозь землю. Мысли его были далеко.

— Хотите чаю? — спросила Катя.

Мать поджала губы. Ей не жаль было угостить человека, но в деревне — все проблема: и вода, которую надо тащить из колодца, и сыр, за которым надо ходить в соседнюю деревню, и, в конце концов, керосинка, которая так долго и смрадно кипятит чай.

— Не хочу,— отказался Витя, не поднимая головы, продолжая глядеть в глубину своей души.

— У вас неприятности?—осторожно спросила Катя.

— Завтра тестя будут судить. Выездной суд,— поделился Витя.

— А что он сделал?

— Он соседку стукнул.

— И она пожаловалась?

— Да нет... Померла.

— А почему?—поразилась Катя.

— А потому, что у нее было сотрясение мозга. Ей нельзя было вставать с кровати. А она встала и пошла. Зачем пошла?—Витя поднял перед собой палец и обвел всех взглядом, как бы приглашая делить свою правоту и виноватость соседки.

— Это как же он ее стукнул...—покачала головой мать.—За что?

— А чтоб не колдовала,—с раздражением сказал Витя. Видимо, он был сильно раздосадован соседкой, которая взяла и померла и наделала столько неприятностей в его доме.—Мой тесть лесником был. В сторожке жил. Она пришла к нему в сторожку. Наколдовала, насыпала чего-то. Сторожка и сгорела. Ну, он ей на первый раз ничего не сказал. Построил дом в Шешурине. Хороший дом. А она пришла и опять наколдовала. Ну, он ей и дал...

— А дом сгорел?—спросила Катя.

— Не. Почему сгорел?—удивился Витя.

— Так как же он узнал, что она наколдовала?

— А как же...—оживился Витя.—Тесть на покос поехал. Потом вернулся домой. Входит, вот так, как у вас,—ворота. А она из его дома выходит. В дому у него была. А что там она делала, когда его не было? Что?—Витя обвел всех глазами, как бы спрашивая: что делала соседка в отсутствие тестя? Никто на этот вопрос ответить не мог.—Колдовала!—с удовлетворением заключил Витя. Помолчал. Добавил:—Теперь ему много дадут.

— А нельзя судье сунуть?—спросила мать.

— Нельзя...—Витя покачал головой.—Я уже к нему ездил. Они решили сделать показательный процесс. Чтобы другим урок.

Все замолчали, сочувствуя Вите. Понимали, что его

аргументы против соседки будут неубедительны для правосудия. Тесть получит на полную катушку, у Витиной жены будет глубокое горе, и это, конечно же, отразится и на самом Вите, который абсолютно ни в чем не виноват.

— Ну ладно! — Он встал и аккуратно свернул Стокгольмское воззвание.— У меня еще четыре деревни!

— А можно и я с вами? — вдруг спросила Катя.

— Зачем? — удивилась мать.

— А мне интересно.

Катя жила уже вторую неделю и устала от отсутствия впечатлений. Ей хотелось посмотреть окрестные деревни.

— А чего? Поехали! — оживился Витя.— Только сапоги резиновые надо надеть.

Катя юркнула в избу, быстро надела джинсы и резиновые сапоги. Джинсы она завернула по колено, по последней моде, которая называется «диверсантка». Джинсы были заграничные, перекупленные втридорога. Мать относилась к ним не объективно, как они того заслуживали, а по количеству затраченных рублей. И когда Катя появилась на крыльце, матери стало жаль, что она готова трепать такую дорогую вещь по захолустным дорогам, да еще с таким малоинтеллигентным Витей.

Она смерила Катю глазами, как бы говоря: «Ну вот, я же говорила, что ты непутевая...»

Витя Павлов осторожно перегнул воззвание и приспособил его перед собой на мотоцикле.

Катя села на второе сиденье и обхватила Витю поперек живота. Он выжал педаль. Мотоцикл взревел и сорвался с места.

Мать и Ника стояли с опущенными руками, смотрели вслед с таким сиротливым, растерянным видом, будто она бросает их, отрекшись от родства, и уезжает навсегда.

Кате на секунду стало жарко глазам от любви к ним и от чувства виноватости, дескать, вот она живет, а они — прозябают. Но она задавила в себе это чувство, потому что ветер бил в лицо, жизнь рвала вперед и надо было прятать лицо, чтобы по нему не хлестали ветки.

А вдоль дороги росла земляника — так, будто кто-то до Вити проехал здесь на мотоцикле, волоча за собой кисть, щедро обмазанную красной краской.

Деревня называлась Сережино. Мотоцикл подъехал и остановился возле фермы.

Катя никогда прежде не бывала на ферме и вошла в нее с некоторой оторопью, как в театр.

Здесь оказалось гораздо чище, чем она себе представляла. По сторонам в стойлах стояли коровы и жевали с сомкнутыми челюстями. Изо всего разнообразия флоры и фауны Катя больше всего на свете любила цветущие яблони и коров. Их доброта, покорность, большеглазость, полное отсутствие движения мысли — все это создавало ощущение покоя и надежности, которого так не хватало в людях.

Доярок было две — Лида и Фрося. Увидев, что Катя появилась в сопровождении инструктора райкома, они решили, что Катя — тоже районное начальство. Они бросили доить, подскочили к Кате и сразу закричали, громко и напористо. В их интонациях были перемешаны гнев, обида и жажда справедливости.

Причина гнева состояла в том, что вчера они надоили семьдесят ведер, а машина не пришла за молоком и все молоко прокисло. И с кого теперь будут вычитать эти деньги: с них, доярок, с шофера, который черт его знает где задержался, или с председателя колхоза, который, возможно, не дал машину шоферу.

— А у вас доильные аппараты есть? — спросила Катя.

— Есть, — ответила Фрося. — Но коровушки их не любят.

Она так и сказала: «коровушки». Катя оглянулась на коровушек. Не переставая жевать, они подняли на нее томный взор, как бы подтвердили: «нет, не любим», и медленно сморгнули прямыми ресницами.

Катя с сочувствием смотрела на женщин. Лиза была активная, краснолицая, хорошей комплекции, и чувствовалось, что семьдесят ведер если и не идут ей на пользу, то во всяком случае — не во вред. «Наверное, потому, что она пьет парное молоко», — подумала Катя. Тем не менее тот факт, что машина не пришла, было сущее безобразие.

Катя повернулась и строго посмотрела на Витю Павлова, будто и в самом деле была его начальством.

— Подпишите Стокгольмское воззвание! — бодро сказал Витя и развернул свой лист.

Доярки с удивлением посмотрели на нарядный лист. Лиза спросила:

— А что это такое?

— Чтобы войны не было,— объяснил Витя.

— А-а... Это давай!

Лиза вытерла руки марлечкой. Взяла у Вити шариковую ручку и, посерьезнев лицом, поставила свою подпись и, склонив голову, посмотрела, как она выглядит в общем ряду.

Фрося тоже подошла и расписалась — приобщилась к общему делу.

— А что, весь район подписывает? — догадалась Лиза, глядя на разнообразное обилие подписей.

— Вся планета,— сказал Витя.

— Надо же... А потом куда?

— В Белый дом.

После такого важного и торжественного акта уже не хотелось требовать что-то для себя, а хотелось отойти душой и делать добро.

— А хотите, мы вам быка покажем? — предложила Фрося.

Бык стоял в отдельном закутке, прикованный к стене толстой цепью. В его носу было продето кольцо.

Это был не зверь, а какой-то адов сгусток, с широкой головищей, от которой сразу без шеи мощно начиналось и дальше шло на конус его тело. Катя поразилась, насколько отличается бык от коровы.

Бык забеспокоился и покосился на Катю. В его громадном покрасневшем глазу черным пламенем полыхала ненависть.

— Он чужих не любит. Бубнит...— сказала Лиза.

— А вы его с цепи спускаете? — спросила Катя.

— Не. Он озорной. В прошлом месяце за Васькой-шофером погнался, в баню его загнал... А как кровь достал, так и вовсе...

— Кто кровь достал? — не поняла Катя.

— Бык.

— Откуда?

— А из Васьки...

Катя поторопилась выйти из коровника. Ненависть



8-751

быка распространялась на несколько метров вокруг, и было неприятно стоять в этом облаке ненависти.

Витя вышел следом.

— Вы меня тут подождите,— попросил он.— Я щас избы обойду и за вами приеду.

Катя отошла от коровника, села на свежесрезанные бревна и стала ждать.

Деревня Сережино чем-то была похожа на Яновищи и чем-то от нее отличалась. Как и люди. Один человек чем-то похож на другого: голова, руки, ноги, и вместе с тем это совершенно другой человек.

Здесь не было озера, но деревня стояла высоко, и было такое раздолье глазу, такое разнообразие зеленых красок, от нежно-салатного до темно-зеленого, почти черного, что хоть бери и рисуй.

Подошла Лиза, села возле Кати.

— Хотите парного молока?—предложила она.

— Я его не люблю,— отозвалась Катя. Она не переносила его нутряной тепловатости.

Помолчали. Но молчание у них было какое-то общее.

— Скажите...— Катя замолчала, обдумывая, как бы лучше оформить вопрос.— Вот у меня в городе есть подруга...

— Ну?

— Так вот, эта подруга разводится со своим мужем.

— Ну?..— Лиза ждала продолжения.

— Ну и у нее не будет мужа,— прямо сказала Катя, с надеждой глядя в Лизино лицо. Ей казалось, что эта крестьянка должна знать какую-то истинную истину, народную мудрость, которую не дано знать Кате.

— И все?—спросила Лиза.

— Вот как вы на это смотрите: женщина, еще молодая, и без мужа.

Лиза подумала и сказала:

— Так ведь в городе покоса нету.

Она считала, раз в городе не держат скот, значит, для него не надо заготовлять корма. Можно прекрасно обойтись и без мужа.

— А ребенок... без отца?—спросила Катя.

— А ребенок есть?

— Есть.

— Ну, а чего еще?

Никакой особой истины Лиза не явила, то есть ее истина Кате не подходила.

— А как вы думаете... Вот если муж к другой ходит?

— Ну и что с им случится?

— Ну как... Все-таки...

— Ровным счотом — ничего!

Букву «ч» она произнесла жестко. Дальше шло круглое, несмягченное «о». И от этого «ровным счотом» — выглядело убедительно и категорично.

«А действительно,— подумала Катя,— что с им случится...» Ей хотелось так думать. Было легче так думать, не так больно душе.

По деревне, громко ругаясь, прошли два мужика. Один кричал визгливо и часто, как женщина, другой — пореже и пониже тоном.

Катя прислушалась.

Начала ссоры она не застала, и причина ее оставалась неизвестной. Сейчас они углубились в прошлые обиды: один упрекал другого, что тот не ходил на войну. Визгливый кричал, что врачам и властям было лучше знать, воевать ему или нет. Мужики скрылись за фермой, и слов стало не разобрать. Только интонации.

— Это Федька,— сказала Лиза, и было непонятно: который Федька — тот, что обвинял, или тот, что оправдывался.

— А здесь стояли немцы? — спросила Катя.

— А как жа? У Фроси в сарае партизан прятался. Немцы его повесили и снимать не разрешили. Потому — показательный пост.

Термин «показательный пост», видимо, остался со времен оккупации.

Подъехал Витя.

— Чего так долго? — спросила Лиза.

— Да Логиновы уперлись. Не будем подписывать, пока им шифер на крышу не дадут. Как будто я депутат... Ну что, поехали?

В лесу стояли глубокие лужи. Витя их не объезжал, а вел мотоцикл прямо по лужам. Как вездеход.

— Нехорошо,— сказала Катя.— Две доярки на семьдесят коров. Другие на их месте взяли бы да и ушли.

— Ушли...— хмыкнул Витя.— Вот вы сколько получаете?

— При чем тут я?

— Ну все-таки,— настаивал Витя.

— Сто сорок рублей.

— Правильно. А они двести, на всем своем. Да еще двадцать рублей горловых.

— Каких горловых?

— Как кто приедет, они жаловаться бегут. На горло брать. Мы им за это двадцатку накидываем.

Катя растерянно смотрела на Витин затылок. Она никак не предполагала, что в своем истинном негодовании Лиза и Фрося зарабатывали горловые. Скорее всего, они были искренни в претензиях, просто за это им еще платили деньги.

Мотоцикл вдруг чихнул раз-другой и остановился.

— Вода набралась в выхлопную трубу,— предположил Витя.— Щас исправим.

Катя слезла с мотоцикла и, чтобы скоротать время, пошла вперед по узкой тропинке, темной от непроходимой зелени. Неожиданно лес прервался. Открылась поляна. На поляне стояло барское поместье, окруженное садом. Это было так невероятно, как будто сработала машина времени, откинув на сто лет назад, или какая-то киностудия выстроила декорацию на натуре.

Катя неуверенно приблизилась, вошла в сад, осторожно ступая. Было такое чувство, будто дом заговорен, и кто знает, что может случиться каждую секунду: то ли выползут под простынями тени забытых предков, то ли взорвется мина, подложенная немцами, то ли выйдет актер, играющий молодого барина.

Но было тихо в саду. Все, что там произрастало, переплелось стеблями и ветвями, большими и малыми. Зелень так и кипела вокруг. Стояли малиновые кусты с желтой малиной. Ягоды были крупные, величиной с черешню.

— Это дом генерала Куропаткина,— сказал Витя, подходя.

— А когда он его построил?

— В сентябре семнадцатого года.

— Не повезло генералу...

Поднялись на крыльцо. Вошли в дом.

В нижней зале стоял малахитовый камин музейной красоты. Он был весь оббит и поцарапан. Паркет из разных пород дерева загажен птицами и животными. Возможно, сюда заходили дикие звери. Большинство планок паркета — выбиты. На стенах было написано столько же примерно имен и фамилий, как на Стокгольмском воззвании.

— Здесь раньше школа была,— пояснил Витя.— Теперь ее в Шешурино перевели.

— Жалко дом,— сказала Катя.— Хоть бы из него музей сделали. Или продали кому-нибудь.

— Продавать частным лицам воспрещается.

По широкой лестнице поднялись на второй этаж. Здесь было несколько комнат. В одной из них, с видом на пруд, стояла железная печка и подобие дивана с вырвавшимися на волю пружинами. Наверное, здесь жил учитель. Это был его скарб, брошенный за ненадобностью.

Катя подошла к окну. Отсюда была видна еловая аллея. Она шла далеко, на полкилометра, перерезая сад, спускаясь к пруду. На берегу пруда виднелась купальня. Наверное, эта аллея, купальня и пруд выглядели так же, как и при генерале. Деревья стали выше, сильнее, а все вокруг осталось прежним: коричневые иголки на земле, овал пруда и небо над ним.

Катя почувствовала вдруг, что ей трудно дышать. Как будто воздух сделался плотнее. Природа, уставшая от духоты, готовила грозу: небо стало дымно-черным, вода в озере по цвету полностью совпадала с небом. Но дело было не только в предстоящей грозе.

Катя обернулась.

Витя Павлов стоял посреди комнаты и смотрел на нее пристальным мужским взглядом. У него были длинные ноги в высоких резиновых сапогах. Куртка на плечах висела изящно и вольно. Высокий столб молодой шеи. Голубые глаза, готовые взлететь с лица. Он был похож на племянника генерала Куропаткина, молодого поручика, вернувшегося с охоты.

Он широко шагнул и обнял Катю. Она почувствовала на своей спине его крупные горячие ладони и то, что спина узка для ладоней и он никак не может разместить их.

Он стал медленно внимательно целовать ее шею,

щеки, и было так, как будто они во сне танцуют вальс, не касаясь пола. Только во сне бывает такая возвышенная нежность.

Витя от щеки норовил приблизиться к губам, но Катя отклонялась, как бы притормаживая нежность, чтобы она не перешла в грубую страсть. У Вити тем не менее была своя программа, которую он намеревался провести в жизнь, и, следуя этой программе, он сделал несколько шагов в сторону дивана. Катя хотела остаться на прежнем месте, но Витя, не прерывая возвышенного поцелуя, переместил ее за собой на три шага. До дивана оставалось еще два.

В этот момент небо рассекла молния, похожая на букву «зет», знак Зорро. Грохнул такой гром, что хотелось присесть и зажать уши. Витя прижал ее к себе, как бы спасая от всего и вся, от людей и от неба. От него исходил запах скошенной травы. Была пора сенокоса.

Знак Зорро на небе и запах травы отвлекли Катю. Она ослабила бдительность и сделала еще два шага, отделявшие ее от дивана. Витя тем временем вступил в стихию страсти, и теперь уже не Витя, а стихия стала гнуть Катю к дивану. Она напрягла спину и тихо сказала:

— Не надо...

Витя сам был не волен распоряжаться собой, он тоже зависел от стихии, и продолжал клонить Катю. Его руки стали просто железные. «Спину сломает»,— подумала Катя и снова сказала:

— Не надо...

Витя зажал ей рот своими губами. Перехватило дух от счастья и оттого, что нечем стало дышать.

— Почему не надо?— прошептал Витя.

Катя подумала: а действительно, почему? Кому нужны ее чистота и верность? Если ее верность не нужна больше мужу, значит, она вообще не имеет цены. Как дом генерала Куропаткина, с его камином и паркетом.

Эта мысль прошла в ней не явственно, а — как тень от крыла, проплывавшего по земле. Катя подумала: «Будь что будет...»

В эту секунду хлынул ливень. Но какой... Как будто тучу выжали сильные руки и вся вода рухнула на землю.

Витя отодвинул лицо. Оно было бессмысленным от недавней страсти.

— Ой! Стокгольмское воззвание...

Он кинулся вниз по лестнице, сильно топоча ногами.

Катя поправила на себе кофточку, волосы. Пожала плечом, недоумевая. Потом подошла к окну и снова пожала плечом.

Дождь был такой сильный и страшный, что стало даже смешно. Озеро просто вскипело от воды, падающей с большой высоты. Деревья и кусты покорились и, похоже, недоумевали от такого безумства.

Катя открыла окно, прерывисто вздохнула.

... Когда один из двоих предает любовь, надо, чтобы другой продолжал хранить верность и веру. Несмотря ни на что. Если кто-то один ждет, то второму есть куда вернуться. А если и другой, из самолюбия, начинает жечь за собой мосты, то уже нет пути назад. Что такое самолюбие? Это значит: любить себя. А надо любить Его. Нику. Надо иметь души побольше. Быть великодушной.

Витя вернулся с потемневшими от воды волосами. Катя посмотрела на него прямо и спокойно-доброжелательно. Он подошел к ней поближе, но обнять не мог. Не получалось. Если бы Катя отталкивала его и говорила «не надо», то тогда было бы с чего начинать. На отталкивание ответить притягиванием, а на «не надо» — ответить «надо».

Но она была настолько нейтральна, что ничего другого не оставалось, как только вздохнуть и сесть одному на диван.

— Ну, как воззвание? — спросила Катя.— Промокло?

— Ничего, приду домой, утюгом разглажу.

Дождь прекратился так же внезапно, как и начался. Наверное, такие ливни не могут быть длительными. У природы просто нет таких запасов воды.

По крыше и стенам перестало тарахтеть. Солнце сияло как ни в чем не бывало. Как любимое лицо после ссоры.

— Ну что, поехали? — предложила Катя.

Они спустились вниз по лестнице, вышли на улицу.

О! Какое стояло сверкание и тишина. На много верст — ни одного живого человека.

Земля вздохнула после дождя. В ней что-то торопливо завязывалось, зарождалось и пробивалось на свет, чтобы взрасти. А то, что взросло, страстно тянулось к небу, как бы привстав на цыпочки.

Витя пошел к мотоциклу.

Катя представила себе, как он сейчас придет домой, разгладит утюгом Стокгольмское воззвание и, может быть, оно действительно придет в Стокгольм. Там добрый швед, похожий на старца Саваофа, с седыми кустиками вокруг лысины, прочитает размытые дождем разнообразные каракули и — как знать — вдруг возьмет да и отменит все войны.

## НА ЧЕРТА НАМ ЧУЖИЕ

У балерины Антиповой произошло в жизни два события: первое — ее отправили на пенсию, второе — от нее ушел муж.

В результате получилось: соломенная вдова на пенсии. Тридцать семь лет — пенсионный возраст балерины. Что такое тридцать семь в жизни современного человека? Ничего. Нулевой цикл. Как фундамент строящегося дома. Впереди первый этаж, и второй, и пятнадцатый. А оказывается — всё. Стройка закончена. Ты списана. И неизбежно в такие минуты набегает счет, сколько было отдано профессии: есть нельзя, постоянно недокормлена. Детей нежелательно — постоянная сирота. Ничего нельзя. Недокормленная сирота. Муж ушел к другой, которой все можно — и детей, и макароны перед сном.

Получив два своих события, Антипова стала размышлять о дальнейших перспективах.

Первое: повеситься, что самое легкое. Купить веревку и кусок простого мыла. И отомстить обществу за свою выбраковку. Крючок выдержит. Антипова легкая — пятьдесят килограмм при росте метр семьдесят.

Второе: поменять обстановку. Уехать к морю, например. Прибалтика — все равно что заграница. Невысокие дома. Вывески на чужом языке. Чистота, сдержанность. Можно считать, что Антипова поехала в Финляндию.

Летом в Прибалтике многолюдно, северное солнце считается полезнее, чем южное. Но в этом году пляжи пустынны, море закрыто. В нем плавает какой-то зловредный вирус, о чем сообщили в газетах. Антипова подозревала: этот вирус в этом море плавает лет семь-

десят. Просто раньше о нем помалкивали, а сейчас, в эпоху гласности, можно говорить. Вот и говорят.

Антипова каждое утро входила в море и плыла долго в сторону горизонта, а потом так же долго возвращалась и в конце концов выходила на берег и начинала растираться полотенцем. Полотенце она купила в городе Палермо в свои лучшие времена. В те времена, когда еще танцевала и гастролировала и была любима своим мужем, и не только им. Многие мужчины выделяли ее из кордебалета, не в силах оторвать глаз от ее движущейся в пространстве спины. Самым потрясающим участком на ее теле была спина. Муж говорил: такой спине лица не надо. Но у Антиповой было и лицо. И сердце. И наивная, доверчивая душа. И никому не пригодилось. Брошенка на пенсии. На сегодняшний день нет ни мужа, ни сцены, ни зала. Разве только одинокий композитор за спиной. Композитор и Антипова отдыхали в одном пансионате, но как-то не учитывали друг друга. Композитор ходил, конвоируемый толстой женой. А Антипова существовала втроем: она и два ее события. Но в этот утренний час, когда солнце еще не добралось до середины неба, когда море дышало неглубоко и зловредный вирус заигрывал с рыбами, забыв об основной работе,— в этот час на берег вышла фемина. Не женщина, а именно фемина, потому что у простых советских женщин не бывает такой спины. Композитор забеспокоился. Предмет беспокойства был ему поначалу неясен. Так нервничают собаки перед землетрясением.

Но внезапно он осознал причину беспокойства: красота. Спина — часть всеобщей мировой гармонии, как гениальная мелодия. А в мелодиях композитор понимал. Он был замечательный мелодист. Однако в последнее время что-то случилось. Он продолжал писать, и получалось, но его новые мелодии походили на прежние, как яблоко на муляж. То, да не то. Внешне похожи, а есть нельзя. Работал профессией, а не душой. Еще совсем недавно, казалось — позавчера, был худой, молодой, нищий, жизнь ложилась прямо на оголенные нервы, он от нее взвивался и писал те самые мелодии, которые пели и генералы и алкоголики, и народ и правящая верхушка. А сейчас — растолстел, заматерел, нервы как в изоляционной прокладке. И мелодии как муляжи.

Композитор не мог понять: это кризис или финал? Он ни с кем не говорил о своих сомнениях, но сам думал постоянно. И у него было состояние, какое бывает у людей, сидящих в очереди к онкологу. «Да» или «нет». «Жизнь» или «смерть». И сейчас, стоя на берегу, он думал о том же, пока не отвлекся на спину. Спина возникла на фоне моря как некий символ спасения. Ибо известно: красота и женщина спасут мир.

Антипова тем временем набросила махровый халат и пошла мимо него как ни в чем не бывало. Как будто не имела к своей спине никакого отношения.

— Доброе утро,— поздоровался композитор, зацепил словом, стараясь как-то задержать ее своим приветствием.— Как дела?

Можно искренне сознаться: «дела как сажа бела». Можно сказать: «плохо». Но что это изменит. Антипова ответила:

— Спасибо.— Поблагодарила за внимание.

— Вы в каких отношениях с Казанцевым?— неожиданно спросил композитор.

Казанцев был большим музыкантским генералом, руководил всей музыкой страны.

— Ни в каких,— удивилась Антипова. Она танцевала под музыку Чайковского, Бизе. Ими Казанцев не руководил.

— Значит, в хороших?

Композитор рассчитал: никакие отношения — это не плохие. А не плохие — значит хорошие.

— А в чем дело?— не поняла Антипова.

— Он сегодня к нам зайдет. С женой. В шесть часов. Приходите и вы.

— А зачем?— удивилась Антипова.

— Посидим. Выпьем коньячку.

От коньячка на другой день будет болеть голова. День вылетит. За два часа сомнительного удовольствия с двумя семейными парами придется выбросить день. Антипова установила закономерность: за все надо платить тою же ценой: за хмель — похмельем, за хорошую фигуру — бездетностью, за труд балерины — возрастной выбраковкой. И еще неизвестно, стоит ли цена того, за что заплачено. Не переплатила ли.

— Я за вами зайду,— пообещал композитор.— Какая у вас комната?

— Шестнадцатая,— ответила Антипова, припертая вопросом к стенке.

Ей не хотелось быть связанной словом, ожиданием. Душа жаждала свободы и покоя, как у Лермонтова. На тумбочке возле кровати лежал Николай Васильевич Гоголь, которого не перечитывала после школы. Хорошо бы перечитать всю классику. Когда же и читать, как не на пенсии.

Антипова постановила для себя не ходить в ненужные гости. Но в пять часов, когда остался час до события — вдруг передумала. Захотелось чего-то еще, кроме моря, книг и одиночества. Накраситься, одеться в смелое платье с голой спиной и бантом на талии. Прийти — неважно куда и сидеть — неважно с кем — пить и плыть и слушать пустые речи. Это ведь неважно: о чем говорят, кто говорит. Важно, что она не одна и жизнь продолжается. Это ведь лучше, чем висеть на крючке или в двухтысячный раз варить в себе обиды, напоминающие вкусом едкое мыло.

Антипова подошла к зеркалу. Морской ветер натянул ее лицо на скулы, позолотил загаром. Антипова выглядела на двадцать семь, и если не знать, что она брошенка на пенсии,— никому и в голову не придет. Главное — ничего не объяснять. Объясняются виноватые. А она — в чем виновата? Что ей тридцать семь? Но дальше будет еще хуже. Дальше будет пятьдесят. И шестьдесят, что тоже хорошо. Старость — это плата за жизнь.

Антипова смотрела на себя в зеркало и представляла, как внутренне ахнут мужья и внутренне крякнут жены. И в этот момент раздался стук в дверь.

Антипова распахнула дверь резко и настежь и предстала в такой грозной красе, что композитор отпрянул, будто его осветили фарами.

Потом проморгался и сказал:

— Знаете, ничего не получилось... Пришло так много народу...

— И что? — не поняла Антипова.

Композитор мученически молчал.

— Некуда сесть? — подсказала Антипова.

— Да, да, вот именно... Некуда сесть,— оживился композитор.

Значит, Антипову не пускают потому, что все посадочные места заняты, как в самолете. Но она понима-

ла: дело не в этом. Свободные места были. В крайнем случае можно сесть и на подоконник и на пол. В тесноте, да не в обиде. Дело в другом: пришел Казанцев с женой. Без оравы. Композитор радостно сообщил: «А я тут нашу соседку пригласил. Балерину. Очень милая женщина».

«Знаете что, давайте посидим без посторонних,— попросила жена Казанцева, дама второй степени ожирения.— Мы так устали от людей. На черта нам чужие?»

Казанцев молчал, и это молчание было как резолюция: отменить.

Композитор поплелся виноватым псом и сейчас стоял и врал. Вообще композитор был страшненький, но красивый. Энергия таланта шла от его лица, как тепловая энергия. Но сейчас, в данную минуту, от него исходила унизительная вибрация, как от виноватой собаки. И, как собаку, его хотелось отодвинуть ногой.

Антипова закрыла дверь, отсекая себя от вранья.

«Жлобы,— подумала она.— Буржуазия...»

Если бы она была при ДЕЛЕ или при МУЖЕ, с ней не посмели бы так обойтись. Она почувствовала себя ящиком, который выбросили на помойку, несмотря на яркие наклейки.

Антипова не понимала, что теперь делать со своим красивым платьем, нарядным лицом. Потом понесла все это в столовую. Близилось время ужина.

В столовой на нее устремились многие пары глаз, посылая в пространство разнообразно заряженные лучи. В воздухе, как пылинки, струились частички зависти, восхищения, желания, пустого любопытства и любопытства со знаком плюс и со знаком вопрос. Антипова чувствовала их на своей коже, как уколы циркулярного душа, который лечит и бодрит. Все же она была балерина, привыкла поражать.

Кормили как всегда. В гостях у композитора было бы вкуснее.

Антипова вышла из столовой и тут же увидела композитора. Похоже, он ее караулил. Может быть, достал в соседнем номере еще один стул и обеспечил для Антиповой посадочное место. И теперь зашел за ней и ждет. Но композитор просто стоял и смотрел с несчастным видом.

— Ну что, выпили коньячку? — беспечно спросила Антипова.

— А... рюмка в горло не идет,— сознался композитор.— Но кто ж знал, что они приведут с собой ораву...

Значит, он подошел во второй раз сказать, что ей нет места на празднике избранных.

— Да ладно врать,— спокойно сказала Антипова.— Не было никакой оравы.

Глаза композитора расширились в мистическом ужасе, как будто он увидел привидение.

— Хотите скажу, как было? — предложила Антипова.— Пришел Казанцев с женой. Вдвоем. И сказал: «Посидим без посторонних. На черта нам чужие».

— «На черта нам чужие» не было. Просто «посидим без посторонних».

Помолчали. Антипова в третий раз сглотнула унижение.

— А что я мог сделать? — спросил композитор.

— Не приглашать. Или настоять на приглашении, если вы мужчина, конечно.

Композитор понимал, что она права, но хотел сочувствия и прощения, как подросток. Вернее, переросток.

— Вы жестокая женщина,— кокетливо упрекнул он.

— А почему я должна вас жалеть? Вы нахамили и вас же жалеть?

Антипова обошла композитора, как предмет, и поднялась на свой этаж.

Возле лифта стояла жена композитора в нарядной белой кофте с большим круглым воротником. Шея у жены была короткая, практически отсутствовала, и голова лежала на воротнике, как арбуз на тарелке. Она метнулась к Антиповой, доверчиво глядя ей в глаза, буквально перетекая в Антипову через зрачки:

— Ой, какие ж милые эти Казанцевы. Какие простые. Такая семья... Это ж сейчас такая редкость. Все вокруг разводятся, бросают друг друга, ничего святого. Как перед концом света. А Казанцевы...

Жена композитора сморщилась, будто добродетели Казанцевых доставляли ей сладостное мучение.

— Им у нас так понравилось. Я, знаете, из дома всегда вазочки вожу, салфеточки. Расстелю, расставлю — и уже вид...

Антипова терпеливо слушала и понимала: дело не в вазочках и не в салфеточках. Дело в том, что в гости

пришла ВЛАСТЬ. Пришла и сказала: «Мы с вами. Вы с нами». Протянула руки, и они сплелись в дружном хороводе. А Антипова — вне хоровода. Она им чужая. Но зачем об этом надо все время напоминать.

— Спокойной ночи,— попрощалась Антипова и пошла в номер. Заперлась на ключ. Она опасалась, что сейчас явится подвыпивший Казанцев и скажет, что она им ни на черта не нужна. Одно только странно: почему они не сидят за столом плечом к плечу, пьют коньячок и поют ранние песни композитора? Почему вместо этого они бегают по коридорам и отлавливают Антипову во всех углах?

НЕ ПРИШЛИ...— осенило Антипову. Она поняла это интуицией, которая бывает глубже, чем знание. Не пришли. Власть нахамила. Власть сказала: обойдемся и без вас. На черта нам чужие. И теперь композитор и его жена боятся, что это просочится. Станет известно. Все узнают, что у композитора финал, а не кризис. Финал. Его больше нет. Был такой и нет. Может идти на пенсию. На заслуженный отдых.

Антипова вспомнила навязывающуюся искренность жены композитора. Какую же пропасть надо иметь под ногами, чтобы так суетиться перед незнакомой бывшей балериной. Их мучает страх: «А что теперь будет?» Антипова знает этот страх. От него мерзнет кожа на голове. Ей даже захотелось спуститься в бар, купить бутылку водки, прийти к композитору и сказать: «Давайте выпьем, ребята. Посидим без посторонних».

И в самом деле: что общего у художника с властью, даже если этот Казанцев глубоко порядочный семейный человек? Антипова вспомнила его лицо, намелькавшееся в телевизионном экране. У Казанцева второй подбородок, но не наполненный салом, а висящий пустым кожаным мешочком, как у индюка. И когда Казанцев темпераментно кричал свои речи, он тряс лицом, волосами и мешочек болтался во все стороны.

Людей объединяет успех, а не обиды. Обиды разъединяют. Казанцеву не до гостей. Власть качается под ним, как земля во время землетрясения. Не знаешь, откуда упадет и придавит. Человек не выбирает ВРЕМЯ. ВРЕМЯ выбирает человека. Чем он виноват, что жил в свое время и жил, как все ему подобные?

1989 год обидел Казанцева, Казанцев обидел ком-

позитора. Композитор — Антипову. Хорошо, что на ней эта цепочка и кончается. Ей некого обижать.

За окном дышало море. Антипова вообразила: море — это гигантская тарелка горя. И каждый стоит со своей ложкой, черпает и пьет. Никто не толкается. Всем хватит места, и горя всем хватит. Тарелка большая. Со стороны Швеции стоят шведы. Со стороны Финляндии — финны. А с нашей стороны — наши. И тут же Антипова и Казанцев. И никто никому не чужой.

Антипова взяла куртку и пошла на берег. В общем, ничего не случилось. Она ведь не хотела идти в гости. Вот и не пошла. А с чего все началось? Ее пригласил композитор. Почему пригласил? Увидел на пляже. СПИНА — вычислила Антипова. У нее красивая спина. И легкий шаг. Антипова подошла к воде и подняла ногу в сторону под прямым углом. Получилось замечательно. Она оттолкнулась ногой об воздух и медленно закружилась вокруг своей оси. Большая тяжелая чайка летела к берегу и с удивлением смотрела на Антипову.

Далеко в море, однако не очень далеко, в глубоких водах стоял корабль, и капитан корабля видел в подзорную трубу берег и беззвучно вращающуюся фигурку балерины.

Солнце садилось, прощалось с этой стороной земли, с морем и горем, птицами и людьми, с еще одним прожитым днем. Небо было расписано абстрактными всполохами — розовыми и малиновыми. Было так красиво, так наполненно, как всегда бывает перед разлукой.

## ЗДРАВСТВУЙТЕ

Я — красивая женщина. Почти красавица. Натали Гончарова. Как говорил мой бывший муж: таких сейчас не делают. Однако мои повышенные данные не помешали мужу отъехать в Израиль. Ему захотелось на историческую родину. А я осталась на своей исторической родине в Теплом Стане, в двухкомнатной квартире с дочкой на руках, с зарплатой 200 рублей в месяц. Вот тебе и Натали Гончарова. Никому не нужна вместе со своими покатыми плечами. Да и мне никто не нужен. Все силы ушли на выживание. Он звал с собой, это правда. Но я не могу думать и разговаривать на чужом языке. Не могу жить в затянувшихся гостях.

В Палестинах муж долго не задержался. Все же он родился и воспитывался в русской культуре и, оказавшись на земле обетованной, почувствовал себя русским интеллигентом и переехал в Америку. В свободную страну. Но и в Америке ему чего-то не хватало. Такой уж он был особенный человек, склонный к томлению.

Если бы можно было как в прошлом веке: свободно перемещаться по миру и жить где хочешь и сколько хочешь. Как Гоголь, например. Захотел поработать в Италии — поехал на восемь лет. Или Тургенев. Но это время в прошлом. И в будущем. А в семидесятых годах двадцатого века билет выдавали в одну сторону. Как на тот свет. И в результате я — одинокая женщина.

Одинокая женщина как бы выключена из розетки. Обесточена. От нее ни тепла, ни света. Общество зябнет. Но самый большой ущерб обществу — это мужчина-бездельник. Выгнать бездельника невозможно, поскольку общество гуманное, безработицы нет. Это тебе не Америка.

В редакции, где я работаю, как нарочно подобрались одинокие женщины и мужчины-бездельники. Они сидят в буфете, курят на лестничной площадке. Все надо перепроверять, напоминать, кричать, угрожать, льстить. Как будто эта работа нужна мне одной.

Я работаю на телевидении, занимаюсь учебной программой. Программа не популярна, но ее все равно надо делать и выпускать в срок.

Вчера приехали брать интервью у старенького академика. Академик ждал к десяти, приехали к часу. И когда поставили свет, выяснилось: что-то не в порядке со светом, надо бежать за электриком в ЖЭК, а электрик тоже бездельник, в ЖЭКе его нет и когда придет — никто не знает. Старик смотрит. Я моргаю. Готова сквозь землю провалиться. Но земля держит, и я стою. А старик смотрит. У него пропало утро, которым он так дорожит. У него все утра на счету. Все утра золотые. А оператор Володя стоит себе в своих двадцати пяти годах с синими глазами, со жвачкой во рту, с бестолковой камерой, с тяжелым ремнем на плоском животе. «Ото и тильки» — как говорила моя мама, в переводе на русский: «Только и всего». Синие глаза и широкий ремень. Только и всего. И полная безмятежная безответственность перед стариком, передо мной, перед жизнью вообще. Жует жвачку, как мул. Ну, я ему выдала... Он даже жевать перестал, и в глазах мысль появилась. И даже академик брови поднял: молодая женщина с гладкой головкой, как на старинных миниатюрах, с кроткими оленьими глазами — может так активно и современно выражать свои мысли, с употреблением какого-то непонятного фольклора с частыми ссылками на чью-то мать.

Какая красота в женщине, потерявшей лицо? Никакой. Поскольку лица нет. Вместо него что-то раскрасневшееся с вытаращенными глазами, готовыми выкатиться на кофту. Но именно в этот момент, в момент наивысшего отрицательного напряжения, в меня влюбился этот самый мул с широким ремнем на плоском животе. Он даже жвачку выплюнул и спрятал. И электричество наладил сам, без электрика. Нашел куда что воткнуть и снял академика за пятнадцать минут без единого дубля. Вот что значит личная заинтересованность. Всякая заинтересованность, личная или материальная,— великий стимул. А если, скажем, у электри-

ка ЖЭКа нет такой заинтересованности, то его и нет на работе.

Я уже говорила: в том месте, где раньше жила любовь, а потом боль — образовалась пустота. Но свято место пусто не бывает.

В мою душу стал настойчиво прорываться жующий Володя. Он прорывался неподвижно. Стоял и смотрел. Под проливным дождем. Я сказала ему: «Дождь...» Он ответил: «Камни будут с неба падать, я не уйду».

Женщина любит ушами. Я тут же представила камни, летящие с неба, пожалела его и полюбила. Мне тридцать пять. Ему — двадцать пять. Ну что это? Поддержка в жизни? Еще одно испытание. Продолжать роман — все равно что играть в заранее проигранную игру. Я пыталась выскочить из игры, но ничего не получалось. Противостоять было невозможно. Когда один человек в чем-то убежден, до упора, он заражает своей верой окружающих. И как знать: Анна Керн тоже была старше своего мужа лет на двадцать, а умерла позже, чем он. Она же его и хоронила. И что такое десять лет? Это абстрактные цифры. Их никак не чувствуешь. Чувствуешь человека — живого и теплого. Он обнимает — сердце останавливается. Он ласкает, говорит слова. Говорит: «моя маленькая», и тогда кажется: я маленькая, а он взрослый. И большой. И даже великий. И у него лицо как у господа, который сделан по образу и подобию человека. Это ночью. А утром: «Володя, сходи за колбасой». Не идет. Денег нет, вот и не идет. Да еще огрызается. Ну что тут скажешь? Как можно уважать мужчину, у которого нет рубля на колбасу. И опять получается: все на мне, на моих покатых плечах: и работа, и колбаса, и ребенок. Двое детей. Раньше была только дочь двенадцати лет, теперь дочь и сын двадцати пяти. Ну сколько можно на одного человека?

Я задала ему вопрос. Он обиделся и ушел. И сказал, что больше не придет. Я сказала: «Ты забыл свою жвачку». Пачка жвачки — это был единственный вклад, который он внес в наше благополучие. Он обиделся еще больше и сказал, что я могу оставить это себе, при этом вид у него был высокомерный, как будто он оставлял мне остров, как Анасис.

На том мы и расстались. Жвачку унаследовала моя

дочь. А я получила второе одиночество, которое бывает невыносимым на другой день.

В первый день упиваешься своей правотой, а на другой день разыгрывается нормальная тоска и начинает жечь внутри так, будто выпила соляной кислоты, которой чистят унитазы. Мир полон людьми, а пуст, когда нет одного человека.

Я шла по коридорам студии, как по пустыне, и тут увидела Кияшко. Кияшко — мой автор. Он пишет передачи о вреде табака, о пользе просвещения, о том, что такое хорошо и что такое плохо. Пишет он обстоятельно, как все малоталантливые люди, и приносит вовремя. Обязательный человек. Я заметила, что обязательны только иностранцы, видимо потому, что у них время — деньги.

Я сказала Кияшке: «Здравствуйте»,— при этом остановилась и проникла глазами в самые его зрачки. Я всегда так с ним здоровалась. Я обязательно останавливаюсь и надеваю особое выражение лица, какое было у Натали, когда она здоровалась с государем: нежная почтительность, тайное восхищение.

Несколько слов о Кияшке. Ему семьдесят лет. Он инвалид войны. В сорок третьем году был ранен. Я не знаю подробностей, но мне кажется, бомба попала в него прямым попаданием. В голове вмятина величиной с большой апельсин. Правая кисть оторвана. Из рукава виднеется культя, видимо когда-то обожженная, затянутая новой, розовой кожей. Кияшко не стеснялся своей неполной руки и всякий раз охотно протягивал ее для рукопожатия. Я всякий раз, преодолев краткое сопротивление, пожимала культю, и потом моя ладонь долго помнила шелковую, младенческую нежность кожи. Помимо руки и головы, у Кияшки покалечена нога. Он припадает на нее довольно основательно, и каждый шаг становится работой.

Говорили, что он женат. Жена тоже хромала, на ту же ногу. Они встретились во время войны в госпитале, вместе лечились и сошлись по принципу выбраковки. Надо же поддерживать друг друга в жизни, раз их не убило до конца.

Всякий раз, когда я встречала этого человека — хромого и старого, я отматывала время назад, как магнитофонную ленту, и видела его молодым, двадцатипятилетним, как мой оператор. Потом — чернота.

И первое пробуждение после наркоза и первое осознание себя половиной человека.

Я представляла себе его первый ужас, а потом долгий до сегодняшнего дня путь — преодоление. Каждый шаг — преодоление. Тут на двух ногах, с двумя руками и то тяжело.

Мое «здравствуйте» как бы давало понять, что его страдания и мужество не оставили равнодушным следующее поколение. Какие, казалось бы, затертые слова: «страдания, мужество», но именно страдания и мужество. Именно не оставили равнодушным. Поколение детей помнит. И мое «здравствуйте» — это маленькая компенсация за прошлое. Большего я не могу. Я могу только уважать и помнить.

Кияшко ни о какой компенсации знать не мог. Он просто шел по коридору своей походкой, ставшей за сорок пять лет привычной, просто встречал молодую редакторшу, похожую на жену Пушкина. Редакторша как-то странно на него смотрела, только что не подмигивала, и как-то особенно говорила «здравствуйте». Кияшко всякий раз внутренне удивлялся и не понимал, чего она хочет. От своей дочери и от ее подруги Кияшко слышал, что современные молодые мужчины никуда не годятся — слабаки, и пьяницы, и халявщики, не могут за себя платить. И ничего удивительного в том, что молодые одинокие женщины ищут поддержку и опору в зрелых и даже слегка перезрелых мужчинах.

Кияшко был занятым человеком. У него семья, творческие замыслы. Творчество он всегда ставил на первое место, впереди семьи, а тем более впереди внеплановых развлечений. Мужчина должен выразить свое «я». Оставить будущим поколениям свои жизненные установки. Например: о вреде табака. О пользе просвещения. Пусть это было известно и до него. Он напомнит еще раз. Курить вредно. Это сокращает жизнь. А жизнь дается человеку один раз. Пусть о нем думают, что он устарел, как сундук с нафталином. Сундук, между прочим, полезная вещь. А эти молодые, певцы помойки,— им бы только вымазать все черной краской. Зачернить прошлое. Тогда было не так. Сейчас — так. А между прочим, на СЕЙЧАС надо смотреть из ПОТОМ. Есть такая поговорка: поживем — увидим. Пусть поживут, а потом оглянутся и посмотрят.

Кияшко хмурился, когда думал об этих малярах гласности, замазывающих смолой все и вся и его, Кияшку, в том числе. А он — есть. Он идет. И молодая редакторша говорит ему «здравствуйте» и смотрит так, что глаза сейчас оторвутся и слетят с лица.

Кияшко заглянул в эти глубокие пространства и неожиданно предложил:

— Давайте встретимся...

— А зачем? — удивилась я. Рукопись он мне отдал, деньги я ему выписала, выплатной день он знает.

— Встретимся, — со значением повторил Кияшко и посмотрел на меня пристально. Не формально.

Я поняла: он тоже отмотал время, как пленку, но не назад, а вперед и увидел меня в своих объятиях. Я смешалась. В моих мозгах как будто помешали столовой ложкой, как в кастрюле. Смешанные мозги не могут нормально управлять поведением. Я пролепетала:

— Ну что вы, в такую жару... — и быстро пошла по коридору.

Занесла себя в первую попавшуюся комнату. Это оказался женский туалет. Я остановилась перед зеркалом и пожала плечами. Постояла несколько секунд и снова пожала плечами.

Я недоумевала всем своим существом, и графически это выражалось в том, что я пожимала плечами и бровями. Женщина рядом мыла руки и смотрела на меня. В туалет приходят не для того, чтобы пожимать плечами. Во мне присутствовала нелогичность. Я вышла в коридор. Кияшко удалялся, сильнее, чем обычно, припадая на ногу, и даже по его спине было заметно: он отказывается понимать что-либо в этих восьмидесятых годах двадцатого века. Какая жара, при чем тут жара... Мир сошел с ума, и непонятно, у кого вмятина в мозгу: у него или у этих, новых, вокруг него.

Я вздохнула и вошла в гримерную. Здесь работает моя подруга Катя. Катя не просто гримерша, а художник-гример. Может из Достоевского сделать Маяковского и наоборот. Катя — не бездельница. Трудится как пчелка. И не одинокая женщина. В сорок два года у нее есть муж, любовник и внук. И она всех любит — каждого по-своему. У любви, оказывается, много граней. Внука она любит материнской любовью, любовника — женской, а мужа — сестринской. Для каждого в ее сердце находится свой отсек. А еще она любит

свою работу, не может без нее жить. Есть же такие гармонически развитые личности. Когда Катя видит чье-то лицо, она моментально понимает: что в нем лишнее, чего не хватает — и начинает его гримировать в своем воображении. И где бы ни находилась: в гостях, в транспорте — сидит и мысленно гримирует. Одно только лицо ей нравится без поправок — это лицо ее внука: большие уши, большой рот, большие глаза. Это лицо совершенно.

В данную минуту в Катином кресле сидел заслуженный артист. Был он не первой молодости и, пожалуй, не второй, но одевался не по возрасту. На нем был джинсовый костюм из варенки. Если не знать, что это артист, можно подумать: фарцовщик на пенсии.

Я вошла и остановилась посреди гримерной. По моему лицу было заметно: мозги остановили свою работу. Выключились.

— Ты чего? — спросила Катя.

— Представляешь? — громко возмущалась я.— Старик. Без руки, без ноги, без головы. А туда же...

— Куда? — не поняла Катя.— Какой старик?

Я объяснила: какой старик, как я с ним здоровалась и как он это воспринял.

— Так ты сама виновата,— заключила Катя.— Что ты к нему лезла?

— Я не лезла. Я сочувствовала.

— Это одно и то же.

Кто-то умный заметил: время портится в конце столетия. Весь мир как громадная кастрюля. Все перемешано ложкой в этой кастрюле — со дна наверх, сверху на дно. «Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята».

— Так что же, теперь и посочувствовать нельзя? Нельзя быть нормально понятой? — удивилась я.

— Мужиков сейчас больше. Статистически. Вот они и обнаглели,— заключила Катя.

— Не в этом дело,— вмешался Артист.— Просто вы с разных концов смотрите на жизнь. Он от крестика, а вы от звездочки.

Артист повернул голову и посмотрел на меня, чтобы я лучше поняла. Но я не поняла.

Артист взял со стола карандаш, поднял его в горизонтальном положении. Я обратила внимание: карандаш хорошо заточен. На конце резиночка, чтобы стирать написанное. Грифилем записал, резиночкой стер.

— Вот жизнь,— сообщил Артист.— Это начало. Это конец.— Он показал сначала на острие, потом на резинку.— Тут звездочка. Тут крестик.

— Какая звездочка? — не поняла я.— Пятиконечная или шестиконечная?

— Та, что на небе. Ваша звезда. «Звезда любви приветная...»

— Понятно,— сказала Катя.

— Так вот, этот ваш старик был под крестом, одной ногой в могиле,— Артист постучал пальцем по резинке.— Еще сорок пять лет назад. Но он вытащил ногу из могилы и отодвинулся от края. Теперь он тут.— Артист отступил пальцем от резинки на один сантиметр.— Он жив. Он мужчина. Он назначает свидания. А главное — он жив. Понимаете?

— Понимаем,— сказала Катя за меня и за себя.

— Вы смо́трите на него с этой стороны,— Артист показал на грифель,— смотрите и думаете: как он далек от звезды, бедняга, без руки, без ноги, калека, старик. А он смотрит на себя с другого конца и думает: я жив, я есть. Хоть хромаю, а иду. А пока человек жив, он молод. Он не понимает вашего сочувствия.

Я смотрела на карандаш — график жизни. На свою точку в середине карандаша и на воображаемую точку Кияшки в основании резинки. Мои мозги крутились с таким напряжением, что я даже слышала их скрип.

Катя макнула губку в тон и стала мелкими движениями покрывать лицо Артиста.

— Румянец будем класть? — спросила Катя.

— Не надо,— отказался Артист.— Оставим благородную бледность. Стареть надо достойно.

Вечером я возвращалась домой. Обычно я сажусь в троллейбус, как говорит моя дочь — «машина на бретельках». Сажусь в машину на бретельках и еду до метро. Потом в метро, с одной пересадкой. Так всегда. Так и сегодня. Я села возле окошка и стала смотреть на мир вокруг себя. В шесть часов смеркается, уходят яркие краски, как будто день устает и стареет. Вообще я заметила: день тянется долго, а проходит быстро. Так, наверно, и жизнь. И в каком-то смысле жизнь не длиннее карандаша. И я тоже когда-нибудь послезавтра стану старухой и окажусь в той же точке, на санти-

метр от конца, и тоже буду радоваться жизни и считать себя «очень ничего». Уставшие лица похожи на исплаканные. Исплаканная Натали Гончарова. Таких сейчас не делают.

Я смотрела в окно и вдруг увидела Кияшку. Рядом с ним пожилая женщина, хромала на ту же ногу. Они шли одинаково. Он что-то горячо говорил ей. А она горячо слушала. Им было интересно: ему рассказывать, а ей слушать.

Пара Кияшек посуществовала в окошке, потом уплыла назад. Начался парк. По аллее бегали собаки. Потом уплыли деревья и собаки. Люди с озабоченными лицами отъезжали назад, но у новых было такое же выражение лица, и казалось, что люди одни и те же.

Но вот остановка. Метро. Сейчас надо оставить небо, дома, деревья, собак, спуститься под землю и приобщиться к большой толпе, стать ее маленькой частью.

Так же люди проходят от звездочки до крестика, потом вниз (а может, вверх), приобщаются к большинству, становятся частью. А ТАМ? Встречу ли я своего мужа? Там всеобщая историческая родина. Там все голые и все равны. Там нет войн и нет антисемитов.

Вечером я поглядывала на телефон, но Володя не звонил. Обиделся. Я уже жалела, что обидела человека из-за рубля. Если бы он позвонил сейчас, я сказала бы, что уважаю его бедность. Но он не звонил... Еще полчаса не позвонит — я сама поеду к нему домой и скажу про камни с неба. Самолюбие держало меня на месте, а страсть тащила из дому за руку. И мне казалось в этот вечер, что крестика не будет никогда. Всю жизнь продлится это ожидание счастья и его невозможность, раздирающие человека пополам.

Я могла бы позвонить сама. Но почему опять я? И ругаться — я. И мириться — я. Ну сколько можно на одного человека.

## ЕХАЛ ГРЕКА

Ночью мне приснился мой умерший отец. Он сказал странную фразу: «Отдай ботинки Петру».

Я, наверное, спросил бы у него: «Почему?» Поинтересовался бы, с какой стати я должен отдать Петру свои новые английские ботинки, но в этот момент в мою дверь постучали. Негромкий настойчивый стук будто выманил меня из сна.

Я открыл глаза, не соображая, утро сейчас, или вечер, или глубокая ночь.

— Вас к телефону,— объявила соседка Шурочка.

Шурочка подходила к каждому телефонному звонку в надежде, что звонят ей, но ей никто не звонил. И каждый раз в ее «Вас к телефону» я различал еще один грамм подтаявшей надежды.

— От меня ушла жена,— сказал в трубку Вячик.

— А который час?—спросил я.

— Восемь.

— А когда она ушла?

— Не знаю. Я проснулся, ее нет. Позвони ей, пожалуйста, и скажи: «Галя, ты сломала Вячику крылья. Он сдался. Делай с ним что хочешь, он на все согласен. Только вернись». Запомнил?

— Запомнил,— сказал я.

— Повтори,— не поверил Вячик.

— «Галя, ты сломала Вячику крылья. Он на все согласен. Только вернись».

— Ты пропустил: «Он сдался, делай с ним что хочешь».

— Это лишнее,— сказал я.

— Почему?

— «Делай с ним что хочешь» и «Он на все согласен»—одно и то же.

— Да? Ну ладно,— сказал Вячик.— Ты позвони ей, потом сразу мне.

Вячик — руководитель нашего ансамбля. Он композитор. Творец. Первоисточник.

Талантливые люди бывают двух видов:

1. С чувством выхода — это творцы. Это Вячик.

2. Без чувства выхода. Это я.

Я слышу музыку, понимаю, но не могу выразить, и все остается в моей душе. Поэтому в моей душе бывает тесно и мутно.

Я положил трубку и пошел на кухню.

Шурочка стояла над кастрюлей с супом и выжидала, когда на его поверхность всплывет серая пена, чтобы тут же ее выловить и выбросить.

У Шурочки был тот тип внешности, которому идет возраст. Сейчас она была молода, а потому незначительна.

У Шурочки был муж-аспирант и сын — младший школьник.

Все они жили в одной шестнадцатиметровой комнате и существовали посменно: когда отец писал диссертацию, мальчик носился по коридору, как дикий зверь в прериях. А когда он делал уроки, отец, в свою очередь, выходил в коридор, садился на сундуке возле телефона и просматривал периодику.

Я поздоровался с Шурочкой и рассказал ей свой сон.

— А отец тебя обнимал? — спросила она.

— Не помню. А какое это имеет значение?

Шурочка попробовала свой суп и некоторое время бессмысленно глядела в стену, определяя, чего в нем не хватает.

Зазвонил телефон.

— Ну? — спросил Вячик.

— Что «ну»?

— Звонил?

— Нет.

— Понятно,— догадался Вячик.

Я деликатно промолчал.

— Она еще хуже, чем ты о ней думаешь,— сказал Вячик.— Ты даже представить себе не можешь, что это за человек. Она успокоится только тогда, когда втопчет меня в землю... Ну ладно. Извини. Я сам позвоню.

— И ты не звони,— попросил я.

— Почему?

— Ты себе цены не знаешь. Ты делаешь счастливее все человечество.

— Да,— согласился Вячик.— Но меня может сделать счастливым только она одна.

— Ну ладно,— сказал я после молчания.— Как там про крылья?

— «Ты сломала Вячику крылья. Он сдался. Делай с ним что хочешь. Он на все согласен. Только вернись»,— проговорил Вячик несокращенный вариант.

Я положил трубку и набрал номер Гали.

Там долго не снимали. Наверное, Галя стояла подбоченясь над трезвонящим телефоном и хихикала. Потом сняла трубку и произнесла с иностранным акцентом:

— Хелло-у,— и при этом, должно быть, высокомерно посмотрела на себя в зеркало.

— Вот бросит он тебя, куда денешься?— спросил я.

— А кто это?— без иностранного акцента спросила Галя.

— Спрашиваю я. Куда ты денешься, если Вячик действительно тебя бросит?

Галя оробела. Наверное, ей показалось, что звонит кто-то важный из канцелярии Высшей Справедливости.

— Куда все, туда и я,— ответила Галя.

— Все работают. А ты работать не любишь.

— Я буду петь.

— Петь ты не умеешь.

Гале действительно все равно, что петь и как петь: сидя, лежа или стоя на руках вниз головой.

Галя молчала — должно быть, раздумывала.

— Но я больше не могу,— сказала она упавшим голосом.

— Можешь.

Я положил трубку и пошел досматривать свой сон.

За Галю и Вячика я был спокоен: сейчас они помирятся, потом опять поссорятся.

Я лег и закрыл глаза. Вернее, я лежал с открытыми глазами под опущенными веками.

Сейчас начало десятого. Мика сидит у себя в лаборатории, смотрит, прищурившись, в микроскоп и жалеет себя.

Я позвоню ей, она снимет трубку и отзовется слабым, будто исплаканным голосом.

— Ты чего? — спрошу я.

— Я не спала, — скажет Мика и замолчит молчанием, исполненным достоинства.

— И напрасно, — скажу я. — Ночью надо спать.

Мы ходим вокруг да около, чтобы не говорить о главном. А главное в том, что мы не женимся.

А не женимся мы потому, что я не могу никому принадлежать дольше чем полтора часа в сутки. Когда истекают эти полтора часа, во мне развивается что-то вроде мании нетерпения. Мне хочется вскочить и бежать, как в атаку.

Мика — единственный человек, который меня не утомляет, потому что в ней идеально выдержаны пропорции ума и глупости. Я могу быть с ней три и даже четыре часа. Но ей нужны двадцать четыре часа и ни секунды меньше. Она постоянно поругивает Вячика и как бы оттягивает меня от него, поскольку Вячик — мой друг. Она хочет, чтобы я принадлежал ей весь. И сейчас, сидя у себя в лаборатории, она бы разглядывала в микроскоп мой волос — каков он на срез: круглый или продолговатый...

— Вас к телефону, — позвала Шурочка.

Я знал, что это Мика. Когда я о ней думал, она это слышала, поскольку мысль материальна.

— Ты билет взял? — спросила Мика.

Она имела в виду билет на самолет. Самолет должен был переместить мое тело из Москвы на юг. Из весны в лето.

— Взял, — сказал я.

Мика молчала.

С одной стороны, она беспокоилась о моем здоровье и хотела, чтобы я отдохнул, чтобы дольше был живым и дольше любил ее. С другой стороны, я уезжал и оставлял ее без себя на двадцать четыре дня, и целых двадцать четыре дня ее жизнь не имела никакого смысла и была ей в тягость.

Когда я уезжал на гастроли или в отпуск, Мика погружалась в стоячую глубину времени и существовала, как утопленница. Даже хуже, потому что утопленники ничего не чувствуют, а она страдала.

Мика любила меня из года в год, изо дня в день с неослабевающей силой, будто внутри у нее был мотор,

вечный двигатель, перпетуум-мобиле, и с ним ничего не происходило.

Сколько раз я ронял этот мотор, бил его, терял, но он не ржавел, не снашивался и не разбивался. Это было какое-то самозаряжающееся устройство.

— Жаль, что ты не можешь взять отпуск,— сказал я.

Мика не ответила. Жаль мне или нет — это не меняло дела. Я все равно уеду, а она все равно останется.

— Мне грустно,— сказала Мика.

— Нет,— ответил я.— Ты счастлива. Ты не понимаешь этого.

Страдание — оборотная сторона любви и, значит, тоже входит в комплекс «счастье».

Мика тянет ко мне руки, а ее руки входят в пустоту. Она зажимает меня в кулак, а я, как песок, просачиваюсь сквозь пальцы. И есть я, и нет меня.

Я слышу сумятицу, которая происходит в ней, и мне хочется положить трубку.

— Ну, пока! — говорю я.

— Подожди! — вскрикивает Мика.

Я почти чувствую, как она хватает меня за рукав. Но когда меня хватают, мне хочется вырваться и убежать.

Я стою и изныаю от нетерпения.

— Ну пока,— вдруг соглашается Мика.— Счастливого отдыха.

Она не жалуется мне на меня, а отпускает и даже желает счастливого отдыха. Почему?

Мне хочется тут же позвонить к ней в лабораторию и выяснить: все ли в порядке с вечным двигателем, не проржавел ли он от моего эгоизма?

Я смотрю на телефон. И Мика тоже, должно быть, смотрит на телефон.

Мы стоим с ней по разные концы города, как два барана на мостике горбатом, каждый со своей правдой.

О, могущество мужчины, не идущего в руки!

Телефон зазвонил.

— Скажи мне что-нибудь человеческое,— попросила Мика.

Я мгновенно успокоился. Так ведет себя человек, проверяющий в кармане документы и деньги. Документы на месте, и он моментально о них забывает.

— Я люблю тебя,— говорю я Мике, забывая о ней.

Мика неестественно притихла.

— Ты где? — спросил я.

— Тут.

— А почему ты молчишь?

— Плачу.

Может быть, ее вечный двигатель заряжается слезами...

В коридоре появился Шурочкин сын Пашка Самодеркин — человек семи лет.

— Что такое грека? — спросил Пашка.

— Какая грека? — не понял я.

— Ехал грека через реку, — объяснил Пашка.

— Это грек.

— Тогда почему не «ехал грек через реку»?

— Нескладно, — сказал я. — Тогда получится «ехал грек через рек».

Пашка подумал, потом сказал:

— Грека — это его жена. Он грек, а она грека.

— Тогда было бы «ехала грека через реку».

— А может, они наших падежей не знают. Это же греки.

Я задумался: что возразить Пашке? Пашка тоже задумался, глядя куда-то в пространство.

— Я должен равняться на Федора Федоровича Озмителя, — неожиданно, без всякого перехода сообщил он.

— А кто это?

— Герой-пограничник. Нас водили в Музей пограничных войск.

— А как ты собираешься равняться? — поинтересовался я.

Пашка посмотрел на меня. Потом скосил глаза в стену. Соображал.

— Не знаю, — сказал он. — Нам еще не объяснили...

...До отправления самолета оставалось сорок минут. Я стал в очередь и зарегистрировался.

Мой багаж состоял из одного маленького чемодана на молнии. Сдавать его я не стал, чтобы потом не ждать получения.

Когда я чего-то жду, я не могу при этом ни думать, ни читать. Я только жду, и ничего больше. Во мне накапливается кинетическая и потенциальная энергия, и мне хочется что-то свершить. Но свершить нечего. Я вынужден стоять со смирением воспитанного человека и при

этом чувствовать себя как нераскрытая консервная банка, которую поставили на медленный огонь.

Я зарегистрировался и отошел вместе с чемоданом.

От аэропорта до Адлера — два часа самолетом. А до моего дома — два часа на общественном транспорте. Так что я могу считать себя на середине пути, но я ощущаю себя гораздо дальше, чем на середине.

Я полностью отторгнут от своей комнаты в Петроверигском переулке, от инструментального ансамбля, от Микиной любви. Я свободен и ощущаю свою свободу непривычно, как человек, вышедший из тюремных ворот пять минут назад.

Я поднимаюсь по лестнице на второй этаж.

Вот дверь с табличкой «Начальник аэропорта». За дверью, должно быть, сидит сорокалетний седеющий человек и думает: «Я выбился в начальники. Ну и что?»

Вот и парикмахерская. Женский зал.

А вот и парикмахерша, вернее, маникюрша. Она сидит особняком за маленьким столиком и смотрит в окно, как я во время репетиции. То ли скучает в ожидании клиента, а может, продумывает свое место в сфере обслуживания.

Маникюрша похожа на царевну-лягушку в тот момент, когда она из лягушки уже превратилась в царевну. Очевидно, что она красавица царевна, но и заметно, что недавно была лягушкой. У нее чуть удлиненный рот и чуть выпученные глаза.

Глаза у нее как озера, в которых отражаются белые облака. Они очень светлые, просторные. Выражение лица такое, будто ей рассказали что-то интересное и просили больше никому не передавать.

Царевна-лягушка посидела, потом поднялась и пошла куда-то в недра парикмахерской.

Линия шеи и плеча у нее совершенная. Если бы она сутулилась, то линия была бы нарушена. Поэтому она ступала прямо и не просто шла, а несла свои линии и веселую тайну своего лица.

Царевна-лягушка вернулась с кувшином горячей воды и несколько раз посмотрела в мою сторону.

— Что вы хотите? — спросила она.

— Маникюр.

— Садитесь, — пригласила она, не удивившись.

Может быть, невозмутимость — это ее юмор. А мо-

жет быть, все знакомятся с ней подобным образом: не я один такой умный.

Я вошел и сел напротив.

Она протянула мне раскрытую ладонь, и я вложил туда свою руку. Я дал ей лапу, как собака, и так же посмотрел в глаза. Она не приняла мой взгляд. Не взяла меня в собаки и не пошла в хозяйки. Холодно спросила:

— Лаком будете покрывать?

— Конечно.

— Бесцветный?

— А какой модно?

— Красный. Как при нэпе.

— Значит, красный.

Я думал, она спросит: «Зачем вам крашеные ногти?» С этого вопроса началась бы наша беседа. Она началась бы сегодня, а окончилась лет через пятьдесят. Но царевна-лягушка ни о чем меня не спрашивала. Молча плеснула воду из кувшина в пластмассовую чашечку. Насыпала туда порошок, взбила пену. Потом с деловым видом сунула мою руку в горячую воду. Достала мизинец и стала состригать то, что казалось ей лишним.

Мика сильна своей зависимостью от моей жизни. А эта сильна своей независимостью. Через десять минут поднимет на меня небесные глаза и скажет: «Вы свободны». И хоть ты тут умри.

Из репродуктора доносилась песня про Стеньку Разина, как он плыл из-за острова на стрежень. Голос у певца был могучий, супермужской — должно быть, певец ассоциировал себя с самим Степаном Разиным.

Царевна-лягушка перебирала в руках мои пальцы, склонив голову. Волосы у нее не темные и не светлые — серенькие, как перья у жаворонка. Кстати, я никогда не держал в руках жаворонка и не видел, какие у него перья.

— Некрасиво персиянку топить,— сказал я.

Царевна-лягушка отвлеклась от моего указательного пальца и подняла свои глаза под высокими бровями.

— Почему некрасиво?

— Ну, представьте себе: у нее папа — перс, князь. Она у него единственная дочка. Пришел посторонний человек, увел из родительского дома, посадил в лодку, набитую невоспитанными разбойниками. И вместо то-



10–751

го чтобы защитить, взял и выкинул за борт. В набежавшую волну.

— Глупости,— сказала царевна-лягушка.— Здесь дело не в персиянке, а в народно-освободительном движении. Общее дело должно быть выше личных интересов.

— И вам ее не жалко?

— Так вообще вопрос не стоит.

Она отвинтила крышку от темной бутылочки и макнула туда кисточку.

Я ждал, что будет дальше.

Царевна-лягушка виртуозно провела кисточкой по всем десяти моим пальцам. Ногти получились яркие, блестящие, как леденцы.

Я сидел, протянув к ней руки с растопыренными пальцами, и в этот момент между нами проскочила искра — та самая, которая проскакивает между двумя грозовыми тучами, когда они близко подходят друг к другу. Та самая, от которой сверкает молния, гремит гром, на землю проливается дождь и из земли выбивается тонкий зеленый росток.

— А зачем вам крашеные ногти? — дрогнувшим голосом спросила царевна-лягушка.

Мне захотелось протянуть руки еще на десять сантиметров и положить их на совершенные линии шеи и плеча.

— Ведь на Западе делают маникюр,— ответил я тоже дрогнувшим голосом.

— На Западе и губы красят. Мы же с вами не на Западе.

Я сглотнул, чтобы проглотить волнение. Отвел глаза с ее лица на свои повисшие в пространстве руки. Соскользнул глазами от ногтей к запястью. Застрял взглядом на часах.

Если аэропорт работает по расписанию, то мой самолет ушел три минуты назад. А если здесь опаздывают так же, как и везде, если вдруг решили перед отлетом покрепче привернуть нужную гайку, то я успею.

Я мгновенно запер в себе все чувства, будто повернул ключ на два оборота. Оставил только собранность и ощущение цели.

В течение трех секунд я расплатился с царевной-лягушкой, при этом у меня смазался неподсохший лак.

На исходе семьдесят пятой секунды я уже бежал по

летному полю, а за мной гнались и меня ловили двое людей в служебных фуражках. Я вырывался и пытался объясниться, но не словами, а жестами. Они меня урезонивали — не жестами, а словами.

Кончилось все это тем, что трап отошел и мой самолет поехал на взлетную полосу. Я мог бы догнать его и, ухватившись за хвост, долететь до Адлера по открытому воздуху. Встречный ветер обдувал бы мои ноги и оттягивал волосы со лба. Я еще мог бы догнать, но меня не пускали эти двое дисциплинированных товарищей.

Когда я вижу свой улетающий самолет или уходящего от меня человека — кажется, что это последний самолет и последний человек в моей жизни.

Так было и сейчас. Я сел на свой чемодан прямо посреди поля и уронил голову на руки.

Один из служителей порядка посмотрел на мои ногти и сказал:

— Подите к начальнику аэропорта, вам обменяют билет.

— Через двадцать минут пойдет дополнительный рейс на Адлер,— сказал другой.— Пока он будет бегать, опять опоздает.

Альтруизм — это разновидность эгоизма. Делая добро ближнему, человек упивается своим благородством. Если и не упивается, то, во всяком случае, доволен.

— Пойдемте с нами,— позвал тот, что был постарше.— Мы вас посадим...

Мои новые знакомцы были из породы эгоистов-альтруистов. А скорее всего, они чередовали в себе черствость с благородством, принципиальность с беспринципностью. Я редко встречал только хамов или только благородных. Человек, как правило, чередует в себе состояния. Для общего психологического баланса.

— А зачем вы ногти красите? — спросил тот, что помоложе.

Я вспомнил про маникюр, а заодно и про маникюршу. За эти несколько минут я успел ее забыть. Самолеты — ушедший и предстоящий — полностью вытеснили из меня хрупкое чувство.

Влюбленности похожи на сорванные цветы и на падающие звезды. Они так же украшают жизнь и так же быстро гибнут.

Каждый смертен, но человечество бессмертно. Это бессмертие обеспечивает любовь.

Я забыл царевну-лягушку, но оттого, что я был влюблен, я как бы прикоснулся к бессмертию и стал немножечко моложе.

Самолет взвыл, потом стал набирать отчаяние внутри себя. Это отчаяние погнало самолет по взлетной полосе. Он все сильнее мчался и все сильнее неистовствовал, доводя звук до какого-то невероятного бесовского напряжения. И когда уже невозможно было вынести, самолет вдруг оторвался от земли и успокоился. Повис в воздухе.

Люди удрученно молчали. Они были заключены в капсулу самолета, от них ничего не зависело, и они ни в чем не были уверены.

Я заметил, что в поезде на отправление не обращают внимания и сразу же после отхода начинают есть крутые яйца и копченую колбасу. В самолете совсем по-другому. Человеку не свойственно отрываться от земли, он чувствует неестественность своего положения и недоверие к самолету.

Против меня сидел мальчик лет шестнадцати. Он был красивый и серьезный, и хотелось говорить ему «вы». Рядом — его папа. Мы с ним примерно ровесники, но выглядим по-разному: папа выглядит респектабельно, соответственно своему возрасту и общественному положению. Он соответствует, а я нет. Я уставший, без мальчишеской романтики и без взрослых обязательств.

Папа подвинул свое плечо к плечу сына, а мальчик чуть заметно вжал свое плечо в отцовское, как бы заряжаясь его любовью и защитой.

Самолет набрал высоту. На крыльях появились крупные капли.

Я смотрел вниз на облака и думал: «Если я выпаду, то облака спружинят и задержат мои семьдесят шесть килограммов».

Мне вдруг превыше всего захотелось коснуться правым плечом своего отца, а левым — своего сына: справа — прошлое, слева — будущее, а я на живом стыке двух времен. У меня есть корни и есть ростки. Значит, я есмь.

Я откинулся в кресле, прикрыл глаза.

Самолет мерно гудел и, казалось, не двигался, а просто висел с включенным мотором.

...Крыло начало медленно отваливаться. Оно повисло, как перебитое, потом отделилось от самолета и осталось где-то позади. А на том месте, где оно было, обозначилась дыра.

Люди закричали. Крик все нарастал и уже перестал быть похожим на человеческий крик. Я почувствовал, как меня тянет, всасывает в эту дыру. Я расставил руки и ноги, как краб, чтобы уцепиться, задержаться. Но меня туго и окончательно выбило из самолета. Я захлебнулся леденящим холодом и полетел. Мимо меня, как падающая звезда, пролетел горящий мальчик. И я заплакал. Я летел и подробно плакал по себе. Облако меня обмануло. Оно не спружинило, а пропустило меня, и я увидел землю, тяжело летящую мне навстречу.

...Я проснулся от толчка.

Самолет шел по бетонной дорожке. Стюардесса стояла в конце салона и желала чего-то хорошего.

Шел восьмой день отдыха.

Ко мне заглянул архитектор и спросил, не хочу ли я совершить восхождение на Кикимору. Я не знал, хочу или нет, но сказал, что очень хочу.

Я снимал комнатку неподалеку от моря, у подножия горы Кикиморы. Вместе со мной в доме жили архитектор из Львова с женой и сыном жены.

Архитектор был рыжий и улыбчивый, как клоун. На вопрос: «Как жизнь?» — он отвечал: «Замечательно» — с такой убежденностью, что тут же хотелось поверить и порадоваться вместе с ним.

Архитектор терпеть не мог юг и говорил, что человек, рожденный в средней полосе, должен жить в средней полосе, в левитановском пейзаже. На юг он поехал лечиться от предынфарктного состояния.

Врачи предложили архитектору лечь в больницу, но он решил: если лечь в больницу, смотреть в потолок и слушать свое сердце — надвинутся тревожные отрицательные эмоции и сердце обязательно разорвется. Надо ехать на юг, плавать в море и бегать по горам.

Надо принципиально не замечать своего сердца, и тогда оно подчинится. Как женщина.

Жена архитектора, как я ее понял,— современная хищница, но не в вульгарном понимании: поймать, сожрать. Орудие захвата у современных хищниц: нежность, преданность — подлинные чувства, которым нет цены. Но если жертва не поддается, если они видят, что совершили неудачный рывок в будущее, они полностью изымают свой вклад и помещают его в другого человека. И опять нежность, и опять верность, и не в чем упрекнуть.

У таких женщин, как правило, по одному ребенку, по нескольку браков и неврастения от желания объять необъятное. Они помногу говорят и уходят в слова, как алкоголик в водку. Они могут разговаривать по телефону по десять часов в день. Если бы словесную энергию можно было использовать в мирных целях, отпала бы надобность в электростанциях, работающих на каменном угле.

Жена архитектора любила проговаривать со мной свою жизнь и свои сомнения. Общаться с ней было очень удобно. Она совершенно не интересовалась собеседником и говорила только о себе, поэтому беседа шла в форме монолога. Я в это время думал о себе — тоже в форме монолога. И если бы наши голоса — ее звучащий, а мой внутренний — наложить один на другой, то получился бы оперный дуэт, когда певцы стоят в разных углах сцены и, глядя в зал, каждый поет про свое.

Сын жены архитектора Вадик — это особая статья. Ему семь лет. Он постоянно рисовал в альбоме, не рисовал даже, а набрасывал. Из-под его карандаша возникали островерхие средневековые замки, рыцари в тяжелых доспехах с паучьими ножками. У каждого рыцаря свой характер. Иногда Вадик зарисовывал свои сны, похожие на ужасы из фильмов Хичкока.

Я звал Вадика «чревовещатель», потому что разговаривал он не разжимая губ. Чревовещал, как правило, два слова: «Не хочу». Что бы ему ни предлагали: ягоды, фрукты, море, послеобеденный сон,— он ничего не хотел и был углублен в какую-то недетскую, немальчишескую жизнь. Это был сложившийся творческий человек с тяжелым, отвратительным характером. И только

когда он пугался или плакал, было видно, что все-таки ребенок.

Я быстро снарядился и вышел на веранду. Вся команда, включая мальчика, стояла во дворе.

Я примкнул к группе. Архитектор тут же двинулся с места в карьер, как конь, которого крепко хлестнули.

Была середина дня. Солнце упирало свои лучи в самую макушку, и через две минуты я понял, что устал. Больше всего мне хотелось сейчас лечь на диван и раскрыть «Иностранную литературу» на прерванной странице. Это было желание, продиктованное чувством, но умом я понимал, что лежать с журналом на диване я могу всю зиму, весну и осень, а попасть на Кикимору — только во время отпуска и только в том случае, если кто-то позовет меня с собой.

Через несколько минут мы подошли к подножию горы и начали восхождение. Вдоль тропинки росла зеленая трава с сухими цветочками, сухой кустарник. Камни и камешки имели какой-то бытовой вид. Казалось, они не скатились с гор, а возникли здесь сами по себе.

Архитектор шел впереди всех — поднимался ровно и мощно, как лифт. Вадик тащился, упрямо глядя себе под ноги, и я ждал, когда он чего-нибудь захочет — именно того, что ему не смогут предложить: ягоды, фрукты, море, послеобеденный сон. Жена архитектора шла, как истая горянка. Горянки привыкли к горным перевалам и даже вяжут по дороге.

Я остановился, снял рубашку и понес ее в руке. Рубашка ничего не весила, но я воспринимал ее как тяжесть. Я устал, я чувствовал, что дышу по привычке жить. Вдыхаю и выдыхаю, но воздух не утомляет меня...

...Где-то в Старопанском переулке живет мой сын Антон Климов. С его мамой мы разошлись десять лет назад. Мне понятно, почему мы разошлись, но мне до сих пор непонятно, почему мы поженились. Наверное, приняли за любовь томление молодых тел. Мы приняли одно за другое. Совершили ошибку. Антон — результат ошибки, но тем не менее он живет себе и здравствует, и мы с ним два без вины виноватых мужика — большой и маленький.

Он без отца. Я без сына. Мы поровну платим судьбе.

Но если я женюсь в другой раз да еще заведу другого ребенка, то я как бы оставляю Антона на обочине своей жизни, а сам еду дальше. Я-то могу поехать, но с каким лицом, если за моей спиной стоит и смотрит мне вслед светловолосый мальчик, подвижный как ртуть, говорящий хрипатым басом.

...Я плелся бездыханный по склону Кикиморы и совершенно о ней не думал. Я не умею путешествовать. Я тащу за собой в гору рюкзак своей прошлой жизни. Мне надо либо забыть рюкзак, либо не путешествовать.

Люди переплывают океан на плоту из любопытства к человеческим возможностям. Я совершенно нелюбопытен к своим возможностям. Я не признаю ложных целей и искусственных трудностей. Я не умею преодолевать себя. Я, например, не люблю вареный лук и никогда его не ем. Я никогда не делаю того, что мне не хочется.

— Хге-гей...—Это мои спутники.

Они сильно вырвались вперед, и им неудобно было друг перед другом позабыть меня в горах. Мало ли что может случиться? Говорят, в горах водятся медведи...

Эластичные плавки не пропускали воздух, и я шел, будто в компрессе. Я огляделся по сторонам. Вокруг было пусто, как в первый день творения. Я снял шорты, плавки и пошел голым. Ветер обвевал меня. Идти стало легче, но раздражала перспектива быть встреченным и опознанным. Я остановился и оделся. И снова пошел. Солнце двигалось вместе со мной и, словно пальцем, надавливало лучом в мое темя.

Тропинка вилась среди кустарника, и я вился вместе с ней, как баран, отбившийся от стада.

И вдруг увидел своих. Я так удивился и обрадовался, будто встретил их за границей, где-нибудь в Аргентине или в Перу.

Неподалеку проходила водопроводная труба. Кто-то эту трубу здесь проложил. Из нее лилась сверкающая вода. Вадик пил, подставив под струю ладошку горсточкой. Я думаю, он пил потому, что ему запрещали.

Вдоль по трубе, тесно прижавшись друг к другу, сидели маленькие птички, похожие на ласточек. А может, и ласточки. Их было штук пятьдесят или семьдесят, и они совершенно не стеснялись присутствия людей.

Именно так я представляю себе рай: тишина, низкие деревца, сверкающая вода, доброжелательные птицы. Когда я приблизился к трубе, они торопливо защебетали — поделились впечатлениями. Наверное, сказали: «А вот еще один» или «Какой симпатичный»... А может, они видели меня без плавок и говорили об этом. Потом вдруг взлетели, сбились в тучку и снова сели, но не так плотно, а кто куда: на трубу, на траву, на деревца.

Вода была холодная и не имела никакого вкуса. Мне казалось, что я пью жидкий воздух. Наверное, натуральная вода не имеет ни запаха, ни вкуса. Просто раньше я никогда не пил натуральную воду.

Я рассчитывал прилечь на травку и насладиться райской обстановкой. Но архитектор скомандовал:

— Пошли!

И все с удовольствием поднялись с земли. Видно, они довольно долго меня ждали, успели как следует отдохнуть и даже пресытиться неподвижностью.

Я покорно пристроился в цепочке последним — за женой архитектора. Время от времени она оборачивалась и говорила мне:

— Посмотрите, какая красота!

В какую-то минуту я понял: сейчас могут произойти два события. Либо у меня откуда-то из дальних резервов организма откроется второе дыхание, либо я сейчас лягу и погибну во цвете лет, оставив Мику без любви, ансамбль без трубы, мать без сына, а сына без отца.

Моя цель — вершина. Но стоит ли она таких затрат? Как говорят экономисты: рентабельна ли моя вершина?

Жена архитектора подала мне руку. Она тоже устала. У нее упали плечи и мускулы лица.

Она перестала быть интеллектуальной хищницей, а стала только тем, что она есть: уставшей женщиной в середине жизни.

Все кончается когда-нибудь. И наше восхождение закончилось. Мы ступили на вершину.

Я стоял на самой середине между небом и землей. Отсюда было видно, что земля имеет форму шара.

Море было полосатое: полоса изумрудно-зеленая, полоса черно-синяя, полоса коричневая...

Подо мной и позади меня — горы.

Заходящее солнце освещало вершины, и они горели, а подножия были тусклые. Далекие вершины — острые, а те, что поближе,— покатые, как гигантские валуны, и по ним можно бегать. Покатые горы выглядели добрыми. К ним подходило слово «Лапландия».

...Я...

В горах совсем другое восприятие своего «я».

Я человек. Часть природы. Часть всей этой красоты. Ее совершенное выражение. И если Я имею ко всему Этому прямое отношение, значит, мне не в чем сомневаться.

Я преодолел себя, чтобы поднять свое тело высоко над землей. Я поднял себя для того, чтобы лучше увидеть вокруг и в себе.

Во мне сорок восемь правд. Правда утра и вечера. Правда трезвости и похмелья и так далее. Но сейчас все эти частные правды полиняли. Мне казалось, я коснулся Истины, хотя и не понимал, в чем она.

Моя душа наполнилась торжественностью, и слезы заволновались во мне. Похожее состояние я испытываю, когда слышу детский хор. Я люблю детские голоса, и мне при этом бывает невыразимо жаль своей уходящей жизни. Эти неодинаковые чувства — любовь и тоска — высекают из меня слезы.

Сейчас я стоял и внутренне плакал, охваченный противоположными чувствами, которые я раньше в себе не соединял.

Значит, я шел в гору так долго и так трудно ради этой минуты. И нет такой платы, которая была бы для нее высока. Единственное, если бы я сорвался и сломал себе шею.

Мои альпинисты стояли возле меня, смотрели каждый по-своему и видели каждый свое.

Архитектор был на Кикиморе уже десять раз и в десятый раз видел всю эту красоту и торжественность. Он к ним привык. Он был счастлив нашим счастьем. Тем, что он нас сюда привел.

Жена архитектора стояла помолодевшая, как девушка. Даже не девушка, а подросток, в предчувствии первой и единственной любви, которой предназначались вся нежность и вся отпущенная преданность.

Вадик стоял с настороженным видом. Он еще не научился ценить красоту и не знал, что это редкость.

Ему было не трудно подняться и не торжественно стоять.

А может быть, я ошибался. Может быть, высота, камни, сбежавшиеся в громадные складки, собственная малость и затерянность повергали его в ужас. И все его хрупкое существо кричало: «Не хочу!»

— На ужин опоздаем! — напомнил архитектор.

Он как бы отвечал за всех и умел думать не только о настоящем моменте, но и о том, что будет после.

Я никогда не думаю о последствиях, и это всегда мне мстит.

Спускались мы легко. Вприпрыжку. Но я даже вприпрыжку ухитрился отстать.

Мы сбежали на набережную и пошли вдоль моря. На лавочках, разложив свои формы, сидели отдыхающие. Мы шли мимо них пружинистым шагом, заряженные душевной и мышечной бодростью, и думали: «Эх вы, индюки...»

Мы зашли в ресторан, и нам подали целый кувшин желтого молодого вина, похожего на забродивший виноградный сок.

Очень может статься, что жизнь задумана как дорога к вершине... Дойду ли я до своей вершины или устану и вернусь, чтобы лечь на диван? А может быть, я слишком медленно плетусь и помру где-то на полпути...

А вдруг моя вершина уже была? А я не заметил и теперь иду без цели?

...Автомат на почте работал круглосуточно.

Я набрал нужный код. Потом нужный номер.

Никто не подошел. Значит, Мика уехала в командировку.

«Нечестно», — подумал я. И это было действительно нечестно по отношению к сегодняшнему дню.

Мамы тоже не оказалось дома. Возможно, Елена родила, и мама уехала знакомиться с внуком или внучкой. Елене звонить было некуда: они с мужем жили за городом без телефона и прочих удобств.

Свои координаты я никогда не оставляю, иначе буду вынужден все время ждать — ждать, что меня вызовут с работы, что приедет Мика и заявит: «Я соскучилась». Ждать писем, которых не будет. Вернее, придут две открытки за месяц, а я буду каждый день заглядывать в почтовый ящик или в глаза квартирной хозяйке.

И весь мой отдых превратится в одно сплошное ожидание. А когда я жду, я уже больше ничего не могу делать.

Я нашел на столе испорченную почтовую открытку, на которой было написано «Харьков». Я зачеркнул «Харьков», сверху написал адрес Елены. Потом перевернул открытку и начал: «Здравствуйте, дорогие! Как вы живете? Я живу хорошо». Так я всегда начинаю свои письма домой. И это все, что я могу сказать. Я напряг чело и написал о том, что долетел благополучно, хоть и опоздал на свой рейс. О ценах на фрукты и на жилье, о температуре воды и температуре воздуха. И о том, что я по ним скучаю, и это было некоторым преувеличением.

Мне необходимо знать о своих близких, что они есть и с ними все в порядке. Но когда я знаю, что с ними все в порядке, я могу не видеться по пять и по семь лет — срок, за который страна выполняет грандиозные планы. Я бросил открытку в почтовый ящик и пошел к морю.

Лунная дорожка дробилась на воде. Море дышало, как огромный организм. Тянулось к моим босым ногам.

Я вошел в воду и поплыл по лунной дорожке. Когда я вскидывал руку над водой, мне казалось, рука должна быть золотая. Но она была темная.

Буй был чуть накренен и качался в черноте моря, как земной шар в галактике. Я лег на земной шар лицом к горизонту и тоже стал качаться — один в галактике.

Мика!

Мне надоело.

Это случилось на двенадцатый день отдыха в десять часов утра. Я стоял на базаре и покупал черешню — светлую и крупную, как дикие яблочки. Купил три килограмма и ссыпал их в целлофановый мешок. На обратной дороге мне попалась дворничиха со шлангом. Из шланга била вода. Я подставил под струю свой мешок, и он тут же раздулся от воды. Мешок оказался не целым, из дна и с боков оттопырились тугие узкие струйки.

Я шел по пляжу, ел безвкусную черешню. Тугие струйки толкали меня в ногу. У меня возникло чувство какой-то разъедающей неудовлетворенности. Я слушал в себе это чувство и сплевывал косточки в кулак.

Загорелые тела, пестрые купальники, синьковое небо, наглое солнце, море, бурое у берега, пальмы с шерстяными стволами и жестяными листьями — все это лезло в глаза, в нос, в уши, как синкопированная музыка, пущенная на полную мощность. Я шел по пляжу, перешагивая через тела и обходя их. Люди играли в карты. Хохотали. Я не верил, что им азартно играть и весело смеяться. Мне казалось, они притворяются.

Наконец я пробрался к нашим и угостил их черешней. Вадик метнул на меня взгляд мизантропа и отвернулся. «Сейчас скажет: «Не хочу»,— подумал я. Жена архитектора зачерпнула горсть красивых ягод и протянула сыну.

— Не хочу,— обрадованно прочревовещал Вадик.

— А почему ты не хочешь? — спросил архитектор.

— Не хочет, и все,— заступилась жена архитектора.— Поди окунись!

— Не хочу!

— Ну хоть один разочек!

— Отстань от него,— предложил архитектор.— Не хочет — не надо.

— А зачем я его сюда привезла?

— Зачем заставлять человека делать то, чего он не хочет? А если бы тебя заставляли делать то, что ты не хочешь?

— Ты так говоришь, потому что это не твой сын.

— Ты слишком много с него спрашиваешь,— сказал архитектор.

Его точка зрения полностью совпадала с моей. Но я промолчал. Я сидел на корточках и ел черешню. Потом встал и пошел.

Мои друзья решили, что мне надоело существовать на корточках и я пошел взять один лежак. Сейчас возьму и вернусь. Но я поднялся и пошел потому, что во мне что-то кончилось. Как бензин в мотоцикле.

Я могу понять заключенного, который убегает из тюрьмы за полтора месяца до окончания срока. Кончается запас терпения, и человек уже не принадлежит здравому смыслу.

В десять часов я стоял на базаре.

В пятнадцать часов я входил в помещение аэропорта.

В восемнадцать часов я летел над средней полосой

России. Над левитановскими пейзажами, о которых так скучал архитектор.

В двадцать часов по московскому времени я стоял перед Микиной дверью и нажимал на звонок.

У Мики домашние туфли на деревянной подошве и без пятки. Она клацает ими, как японка.

Сейчас застучат деревянные торопливые шаги. Дверь распахнется, я широко шагну, она сомкнет руки на моей шее, и воздух загорится вокруг нас.

...Послышались бесшумные босые шаги.

Зашуршал замок.

Дверь распахнулась.

Мика...

Я не сделал шаг вперед. Я остался на месте. Меня что-то не пускало.

Ее глаза. Они, казалось, выключили свое обычное выражение. Глаза у нее были строгие, как у учительницы, которая выслушивает лодыря и пытается определить, где он врет.

— Я так и знала,— сказала Мика.

— Ты знала, что я приеду?

Мне стало обидно за себя, за то, что я, как дурак, летел через всю страну к этим глазам, к этой фразе.

— Проходи,— сказала Мика.— Только не топай.

Я шагнул через порог. Она осторожно прикрыла за мной дверь. Я стоял в прихожей, испытывая какое-то общее недоумение.

— Чего ты стоишь? Раздевайся.

Я снял плащ, повесил на вешалку. Поставил чемодан. Мика ждала, сопровождая глазами каждый мой жест. Было похоже, будто я монтер, пришел чинить проводку.

Мика на цыпочках пошла на кухню. Я двинулся следом. Тоже на цыпочках.

— Есть хочешь?— шепотом спросила она.

— А почему мы шепчемся?

— Спят,— неопределенно ответила она.

— Кто?

— Муж.

— Чей?

— Мой.

Когда петуху отрубают голову, он еще некоторое время бегает по двору и, наверное, думает о себе, что он в прекрасной форме.

Я сел на кухонную табуретку.

— А где ты его взяла? — спросил я.

— В метро познакомились.

— Когда?

— Неделю назад. Он вошел на «Краснопресненской», сел против меня и смотрит. Смотрел, смотрел, потом сел рядом. Потом я вышла и он вышел.

— И все?

— Все. А вчера подали документы.

— Но ты же его совсем не знаешь.

— Я его чувствую. Хорошие люди всегда видны.

— Ты сошла с ума. Зачем ты портишь свою жизнь?

— Хуже, чем было, не будет. Тебя кормить?

— А мужу останется?

— Всем хватит.

Она всегда любила меня кормить и любила смотреть, как я ем. И сейчас она легко задвигалась, собирая на стол тарелки и тарелочки.

— Знаешь, когда ты разбился, я села на пол и думаю: как же я теперь буду жить? А потом вдруг среди ночи проснулась и поняла: я жила ужасно...

— Что значит разбился?

— Разбился на самолете. Мне твоя соседка позвонила. Плакала, говорила, что ты предчувствовал.

— На каком самолете?

— Рейс 349. Москва — Адлер.

— У него отвалилось крыло... — Я смотрел сквозь Мику в тот далекий сон.

— Это я не знаю. Это тебе лучше знать.

Я все понял и поверил. Самолет, на который я опоздал, разбился, и поскольку я был зарегистрирован...

Я понял и поверил, но это не произвело на меня сейчас никакого впечатления. Замужество Мики заслонило мою собственную смерть.

— Я разбился, и ты тут же вышла замуж?

— Я вышла замуж вовсе не потому, что ты разбился.

— А почему?

— Я влюбилась.

— И ты не заплакала по мне?

— Я не поверила. Я знала, что с тобой все в порядке.

— Откуда ты могла знать?

— Чувствовала. Знаешь, я недавно смотрела теле-

визионный фильм. Там приходит чукча к милиционеру и говорит: «В тайге прячется человек». Милиционер спрашивает: «А ты откуда знаешь?» А чукча отвечает: «Я сюствую». Так и я. Сюствую.

На Мике была незнакомая мне длинная юбка, и вся Мика была другая, чужая, не моя. И я уже не верил, что когда-то обнимал ее и был любим ею.

— Я не верю,— сказал я.

— Привыкнешь.

— Привыкну,— пообещал я.— Я тебя забуду.

— Ты слишком знаешь меня, чтобы забыть.

— Я отомщу.

— Как?— Она перестала резать сыр и заинтересованно смотрела в мое лицо.

— Я женюсь и буду счастлив.

— Не будешь.

— Откуда ты знаешь?

— Сюствую.

Мика взяла губку и протерла клеенку на столе. На ней были изображены черешни — абсолютно такие, какие я покупал утром на базаре.

— Почему ты ничего не ешь?

— Не глотается.— Я взял ее за руку.— У тебя с ним так же, как со мной?

Мы смотрели друг на друга, глаза в глаза.

— По-другому. Нет гремучего прицела воспоминаний... Четыре года...— Мика замолчала, будто листая в памяти год за годом.— По времени это столько же, сколько шла война. А где мои завоевания? Где мои награды?

— Какие могут быть награды у любви? Чувство само по себе — это и завоевание и награда.

— Ты дал мне самый грустный опыт, который может дать мужчина женщине. Опыт унижения... Ты приходил и уходил и всякий раз боялся, что будет слишком долгое прощание. Мне казалось, что помимо любви ко мне у тебя должно быть чувство долга, но ты считал, что ничего не должен, тогда и я тебе ничего не должна.

— Какой бы я ни был, но второго такого ты не найдешь.

Я хотел, чтобы она испугалась и усомнилась.

— А я и не хочу такого второго. Я так много страдала с тобой, что у меня даже образовался условный рефлекс. Вот я вижу тебя, и мне хочется плакать.— Ее

глаза заволокло слезами.— Знаешь, бывают сломанные замки, в которых проворачивается ключ. Ты стоишь и думаешь: вот сейчас отопрешь, сейчас... А ключ все проворачивается, и ты стоишь на улице и не можешь попасть в дом. Это с ума можно сойти.

Мы замолчали.

На улице звякнул велосипед. Мика вздрогнула.

— Мне все время кажется: телефон...— Она виновато улыбнулась сквозь слезы.— Я четыре года каждый день ждала твоего звонка и даже боялась пустить воду в ванной. Боялась, что не услышу.

— А почему он спит?— спросил я.

— Кто?

— Твой муж.

— Устал.

— А чем он занимался?

— Он археолог, недавно вернулся из Якутии. Нашел позвонок мамонта в районе вечной мерзлоты.

— А зачем он ему?

— Позвонок?

— Ну да...

— Чтобы представить себе весь позвоночник.

— А зачем представлять себе весь позвоночник?

— Чтобы воспроизвести мамонта целиком.

— А зачем воспроизводить мамонта, который давно сдох?

— Для истории... Когда через тысячу лет найдут твой позвоночник, им никто не заинтересуется.

— Почему же? Я вполне типичный представитель своего времени — честный, неустроенный, инфантильный...

— Честный вор,— подсказала Мика.

— Ну знаешь... Все мы что-то воруем и что-то безвозмездно отдаем.

— Ты ничего не отдаешь. Ты чемпион эгоизма, и в этом твоя творческая индивидуальность. Ты предпочитаешь жить удобно.

— Что значит: удобно?

— Удобная работа: и занят и свободен. Удобный сын: и есть он, и нет его. Удобная женщина: можно прийти, можно уйти...

Я смотрел на Мику. Я никогда не предполагал, что в ней зрели эти мысли.

— Ты ненавидишь меня...



11-751

— Незавершенная любовь переходит в ненависть. Это нормально.

— И ты меня ненавидишь?

— Ненависть — это очень сильное чувство. Такое же, как любовь, только со знаком минус. Я тебя не ненавижу. Я от тебя свободна. Не судьба, да и все.

— Почему не судьба?

— Я любила тебя сильнее, чем это нравится судьбе. И потом, я не вовремя явилась в твоей жизни. Надо было на десять лет раньше или на десять лет позже. Я пришла в твои тридцать семь, а надо было в двадцать семь, когда ты был свободен. Или в сорок семь, когда устанешь терять...

— Судьба — не судьба... Просто я разбился, и ты бросила меня в ту же секунду.

— Ты был уверен, что я пойду за тобой в мир иной?

— Да,— сказал я серьезно.— Я был уверен.

— Дело не в том, разбился ты или нет, просто я износила наши отношения. Как туфли. Подошва отлетела.

— Почему?

— Люди любят друг друга, чтобы зачать ребенка и взрастить его для дальнейшей жизни. Есть время цветения — весна, а есть время урожая — осень. Невозможно же цвести и весну, и лето, и осень, и зиму. Мои цветы облетели. А ребенка ты не хотел.

— Ты могла меня не слушать.

— Как я могла не слушать, когда ты был для меня священное существо.

— Но ведь все можно поправить.

— Только актеры могут играть один спектакль по десять раз. А мы не актеры, а люди. И не играем, а живем.

Из комнаты раздался мужской голос:

— Элла!

— Кто это — Элла?

— Я! — сказала Мика.

Я вспомнил, что полное ее имя — Микаэлла. Сейчас у нее все было другое: имя, одежда, глаза.

— Я тебе верил,— сказал я.

— А я тебе.

Я встал и пошел.

Я вышел сначала в прихожую, потом на лестницу. Когда я оказался на лестнице, я понял, что не могу ид-

ти. Мне захотелось сесть тут же, на ступеньку, но ее археолог с позвонком мог выйти и увидеть меня под дверью, как собаку. Это было бы слишком щедрым свадебным подарком.

Я пошел вверх, держась за перила, и добрался до последнего этажа. Дальше был чердак.

Я сел на самую верхнюю ступеньку и застыл. Все ощущения были выключены во мне. Видимо, сработали защитные силы организма, и он самоотключился, чтобы я ничего не чувствовал.

Я не помню, сколько прошло времени, когда я услышал клацающие деревянные шаги. Мика поднималась по лестнице. Она чуть придерживала у колен свою длинную юбку, чтобы не мести ею ступеньки, и походила на представительницу девятнадцатого века, идущую на бал в Дворянском собрании.

— Не сиди на камне. Встань.

Я встал.

Она взяла меня за руку и подвела к лифту.

— Нажми кнопку.

Я нажал большую круглую кнопку лифта. Она стала святящейся и красной. Сквозь решетку двери было видно, как задвигались колесики и поползли тросы.

— Как ты узнала, что я здесь? — спросил я.— Чувствуешь?

— Нет. Просто я стала смотреть в окно, ждала, когда ты выйдешь. Тебя не было. Тогда я спустилась вниз. Тебя нет. Значит, ты наверху. Методом исключения.

Лифт подошел и остановился.

— Открывай дверь.

Я повернул холодную ручку и открыл решетчатую дверь.

— Теперь иди.

— Можно я еще посижу?

— Нет,— запретила Мика.— Иди.

— Что я теперь буду делать?

— Жить,— ответила Мика.— Подумай, ведь ты действительно мог разбиться.

Внизу кто-то постучал ногой, требуя лифт.

— Самое главное — быть живым,— сказала Мика.— Это необходимое условие. А все остальное можно варьировать.

Я вошел в лифт. Она захлопнула дверь. Стояла,

ждала, когда я уеду. Все это было так беспощадно и нелепо, как будто моя голова стояла отдельно от меня и смотрела, как я уезжаю.

Наверное, когда петуху отрубают голову, то его глаза какое-то время видят, как бегает его туловище.

— Прости меня,— сказал я Мике.

— Нет. Не прощу.

Снизу опять загромыхали.

Я сомкнул внутренние дверцы и нажал кнопку. Передо мной поплыли большие белые цифры, обозначающие этажи: 5... 4... 3... 2... 1...

...На дверях ресторана висела табличка: «Свободных мест нет». Желающие вкусить от сладкой жизни жались озябшей стайкой и, как зайцы, засматривали через стеклянную дверь.

Ресторан считался современным и модным. Наш инструментальный ансамбль — тоже современный и модный. И то, что мы здесь работали по вечерам, составляло честь и нам и ресторану.

Я уверенно подошел и постучал в дверь костяшками пальцев. Ожидающие посмотрели на меня с робостью и надеждой: они решили — я пришел с тем, чтобы восстановить справедливость.

Гардеробщик дядя Леша приблизился к двери — высокомерный и значительный, как сенатор. Он смотрел безо всякого интереса, как кастрированный перекормленный кот. И вдруг в его глазах зажглось внимание. Он придвинул лицо к самому стеклу, всматривался в меня, как шпион в сообщника в ожидании пароля. Потом оглянулся по сторонам, живо отодвинул задвижку, и я просочился в вестибюль.

— Это ты, что ль? — проверил себя дядя Леша.

— Я, я,— подтвердил я.

— А сказали, что ты разбился в самолете.

— Интриги,— пояснил я.

Дядя Леша быстро-быстро закивал головой. Потом подержал голову в неподвижности и качнул ею слева направо, как бы в осуждение интриг. В стекло снова постучали костяшками пальцев. Дядя Леша надел на лицо прежнее выражение сенатора и удалился.

Я поставил чемодан за барьер, положил сверху плащ и вошел в зал.

Свободных мест действительно не было. Площадка для музыкантов пуста. Значит, наши на перерыве.

Ко мне разбежался официант Адик, красиво держа поднос у плеча. Адик остановился передо мной и стал меня рассматривать, давая мне возможность рассмотреть себя. Насмотревшись на его траченное жизнью лицо, я сказал:

— Посади меня куда-нибудь.

— К иностранцам,— определил Адик, хоть это было против правил.

Он повел меня через зал.

— А мне сказали, ты из самолета выпал.

— Я вместе с креслом выпал,— сказал я.

— И чего?— Адик остановился.

— Как видишь...

— Надо же... А я подумал: ты мне десять рублей должен. Попели мои денежки. Хотел к твоей мамаше пойти, а потом думаю: у человека такое горе, а я со своими вонючими деньгами. Хочешь часы? Швейцарские, с хрустальным стеклом?

Адик поставил поднос на служебный столик, отогнул рукав. На его запястье хрусталем и никелем мерцали часы. Я таких никогда не видел и даже не представлял, что такие могут быть.

— Триста рэ,— назначил Адик. Подумал и сбавил:— Ну, двести...

Я ждал, когда он скажет: «Ну, сто». А потом: «Ну, рубль».

— А, черт с ними,— сказал Адик.— Бери так, дарю.

Он снял часы и положил их в мой карман.

— Да ты что?— растерялся я.

— Это мура. Штамповка...

Адик отвел меня на место, а сам заскользил в глубь зала, как конькобежец в одиночном катании. Он наградил меня часами за то, что я выпал с креслом и остался жив. В том, что я остался, было для Адика проявление высшей справедливости, и он радовался за меня и за себя, так как эта высшая справедливость правила и судьбой его, Адика. В середине зала он обернулся и посмотрел на меня из-за подноса.

За моим столиком сидели два иностранца. Вернее, я за их столиком. Один был старый. Он, по-моему, впал в детство и походил на плешивого младенца. Глаза его были голубые и бессмысленные. Второй лет сорока, с лицом, которое может встретиться в любой прослойке и в любой национальности. На своего соседа

он не был похож, из чего я сделал вывод, что это не сын и не внук, а, скорее всего, секретарь.

Я кивнул вместо приветствия. Секретарь деликатно улыбнулся одними зубами.

— Туристы? — спросил я.

Секретарь понял, закивал головой.

— Ве-сна.

— Что?

— Еуроп... ве-сна. Америк... ве-сна...

Подошел Адик, поставил передо мной водку и рыбное ассорти.

— Что он говорит? — спросил я у Адика.

Секретарь что-то залопотал. Адик залопотал в ответ. Он окончил Иняз, знал три или четыре языка.

— Весна, — перевел мне Адик.

— А что это?

— Время года, господи... Они ездят по всему земному шару за весной. Где весна — туда они и перебираются.

— А зачем? — удивился я.

— Старику нагадали, что он осенью помрет. Теперь он бегает от осени по всему земному шару.

— Хорошо, деньги есть, можно бегать от собственной смерти.

— Что деньги? Молодость за деньги не купишь.

— Но уж если быть стариком, то лучше богатым стариком.

Адик отошел к другому столику. Как говорят официанты — на другую позицию. Я налил рюмку водки и опрокинул в пустоту, которая гудела во мне.

На эстраду один за другим поднялись музыканты. Я сидел за колонной, они не могли меня видеть. Но я их видел очень хорошо.

Вячик предупредил всех глазами и сильно чиркнул по струнам гитары. Жираф отсчитал четыре четверти после Вячика и обрушил на барабан свои палочки. Галя вышла к микрофону и запела — низковато и никак. Но весь зал тем не менее обрадовался ее появлению и слушал с видимым удовольствием.

Когда человек выпивает, у него несколько сдвигается восприятие, и Галя пела с точным расчетом на это сдвинутое восприятие. Ребята работали красиво, уверенно и, казалось, не зависели от зала.

На моем месте на эстраде сидел парнишка без признаков пола.

Если бы его одеть в женское платье, получилась бы барышня северного типа, средних возможностей.

Его лицо было каким-то неокончательным: болванка для лица. На его нос хорошо бы надеть нормальный нос. Вообще хорошо было бы надеть на его лицо выражение и облик.

Он мне не нравился. И не нравилось то, как быстро заполнил Вячик освободившееся место.

Я выпил еще одну рюмку и слушал, как меня затягивает в воронку пустоты. К моей пустоте примешивалась обида, и это было лучше, чем одна пустота.

Галя запела предпоследнюю песню Вячика. Ее платье искрилось, а украшения горели, как настоящие бриллианты. Она дошептала куплет и отошла в сторону.

В этом месте была моя очередь. Я обычно перехватывал Галин последний звук и как бы продолжал голос. Я импровизировал шестнадцать тактов, а потом заканчивал вверх по трезвучию.

Я должен играть и не слышать себя. Я должен только чувствовать. Но я, как правило, играю и слышу. Слышу и оцениваю. Выверяю гармонию алгеброй, как Сальери. Я долго тяну последнюю ноту. Потом опускаю трубу и сажусь.

Сегодня на мое место встал новенький, вскинул трубу к губам и пошел в импровизацию.

Его труба была умнее его, и умнее меня, и всех, кто здесь сидел. Она знала что-то такое, чего не знает никто. Все перестали жевать и насторожились.

Мое восприятие существовало вокруг меня, как туман, а я сидел как бы в центре собственного восприятия. Мне было жаль своей жизни, своей любви, мне было так же, как в самолетном сне, когда я летел, прорезая облака.

Я профессионал. Я все понимаю в музыке, но я не понимаю, как он это делал.

Я внимательно смотрел на него. Он стоял маленький и щуплый, будто школьник-отличник на олимпиаде. Опустил трубу. Но никому в голову не пришло, что это конец. И никто не заподозрил, что трубач забыл или споткнулся. Он думал. И это тоже была музыка.

Потом он поднес трубу к губам. Вздохнул. Снова помолчал. Послушал себя. И когда не стало сил молчать, когда все напряглось внутри, он пошел широко и мощно вверх по трезвучию. Его подхватил инструментальный ансамбль. И это уже не музыка была, а нежность, всепоглощающая нежность, смешанная с восторгом и благодарностью. Как после любви.

Галя снова подошла к микрофону, запела второй куплет. После импровизации все зазвучало по-другому, с иным смыслом. Все было вроде то же, но на следующем витке.

А трубач уже сидел, как бы непричастный, на моем месте, поставив трубу на колено, приподняв брови на лбу. Ребята играли с бесстрастными лицами, как ни в чем не бывало. Люди быстро привыкают к хорошему.

Как удачно вышло, что я разбился. Удачно для мальчика, для ансамбля, для всех, кто здесь сидит и кто сюда придет в другие дни.

Я встал и пошел из зала. Шел и боялся, что наши меня заметят. В дверях я обернулся. Никто не обратил внимания. Мало ли кто входит и выходит...

Мои иностранцы смотрели мне вслед. Я помахал им рукой. Они обрадовались и замахали мне в ответ. Мы успели привыкнуть друг к другу.

Я пошел в автомат и набрал номер. Я звонил Антону, а трубку почему-то сняла Мика. Я молчал. Но она узнала.

— Ну, как ты?—заботливо спросила Мика.

— И все-таки мне грустно,—сказал я.

— Нет. Ты счастлив. Ты просто этого не понимаешь...

Я положил трубку. Мое сердце подошло к горлу, так бывает, когда попадаешь в воздушную яму. Я сосредоточился и стал цеплять пальцем диск.

— Алло!—радостно прокричал Антон.

Дети живут настоящим. У них нет прошлого, оно их не тянет, поэтому они могут летать.

— Антон,—позвал я.

— Кто это?

— Это твой папа.

— Какой папа?

— А у тебя их много?

— У меня их два.

Я опустил руку. В трубке какое-то время толкались голоса. Потом гудки.

Я разжал пальцы. Трубка продолжала висеть и раскачиваться, а вместе с ней раскачивались гудки.

Когда я вернулся домой, было темно и тихо. Мои соседи спали. Я определил глазами свою дверь и решительно двинулся к ней, стараясь, чтобы меня не заносило в сторону и не било об стены. Следующая задача состояла в том, чтобы достать ключ, вставить его в замок и открыть дверь.

Я достал ключ, вставил его в замок, но ключ не поворачивался. Я стоял и обижался, напряженно глядя на дверь. И вдруг увидел печать, а на печати пломбу, как на ценной бандероли. Я потянул за пломбу, чтобы ее сорвать, но вместе с пломбой подалась и дверь.

Комната была моя. Занавески мои. Диван мой. Но одеяло чужое. Под одеялом спал Пашка Самодеркин.

Что бы это значило? Скорее всего, Шурочка подала в ЖЭК на расширение, и ей сказали: «Подумаем». А пока они думали, Шурочка въехала явочным порядком.

Других спальных мест в комнате не было. Значит, надо было освободить старое или соорудить новое. Будить Пашку мне было жалко. Я решил переночевать на шкурах, как дикарь, разложив их на полу.

В прошлом году в деревне, где-то в самой середине страны, я купил у старика крестьянина шесть дубленых шкур по пять рублей за каждую. Я хотел пошить себе модный дубленый тулуп. Но шкуры эти нигде не принимали. Они были выделаны не фабрично, а кустарным способом. От них воняло козлом и хлевом в такой концентрации, что если пробыть в этом тулупе день, то к концу дня можно угореть и потерять сознание.

Носить эти шкуры нельзя. А переспать на них ночь можно, потому что они теплые и мягкие: две шкуры вниз, две шкуры сверху, одну под голову, и еще одна — лишняя. А утром уже можно будет представиться своим соседям — к их радости и огорчению одновременно.

Шурочка посмотрит на меня и скажет: «Нахал».— «Но почему? — спрошу я, оправдываясь.— Я же не виноват, что так случилось».— «Так могло случиться только с тобой, и больше ни с кем».

Мои шкуры лежали в чемодане. Чемодан — на шка-

фу. Я поднял руки и потянул на себя чемодан. Сверху лежали ракетки для бадминтона. Они поехали и упали на пол.

Пашка Самодеркин торопливо сел. На фоне окна определялись его голова и оттопыренные уши. Я инстинктивно присел на корточки и подогнул голову к коленям.

— Мама! — громко сказал Пашка.

Он скинул ноги с дивана и побежал из комнаты. Следом за ним вился его страх. Я заразился Пашкиным страхом, распластался на полу и влез под диван.

Диван был низкий. Под ним могла уместиться только собака, и то не крупная, типа спаниеля. Тем не менее я втиснулся между полом и днищем дивана. Лежал, свернув голову в сторону, чтобы удобнее было дышать. Фасовым положением плеч и профильным головы я напоминал себе фараона или рядового древнего грека, каким его рисуют на фресках.

Я мог бы, в конце концов, стать за шкаф или за портьеру, чтобы не испытывать таких явных неудобств. Я мог бы не прятаться вообще. Но я представил себе, как сейчас, держась за руки, явятся Пашка и Шурочка и увидят среди ночи представителя того света. Прежде чем понять, они испугаются и заорут дуэтом, и я окажусь автором испуга и слез.

Раздалось мягкое шуршание шагов.

— Да нет тут никого,— сказала Шурочка и зажгла свет.

Ракетки от бадминтона валялись на полу.

— Ну что ты испугался, дурачок...

Шурочка и Пашка сели на диван, и я увидел перед собой четыре пятки. У Пашки пятки были узенькие, нежно-желтые, над щиколотками поднималась пижама. Шурочкины пятки были скрыты шерстяными носками. В ней помещалась какая-то простуда, и она все время ходила в шерстяных носках.

— Тебе приснилось,— сказала Шурочка.

— Нет. Я видел. Вот правда. Пролетела какая-то птица... У меня даже ветер над лицом...

Пяточки взметнулись и пропали. Носки тоже исчезли. Значит, Шурочка уложила Пашку и легла с ним рядом.

— Ты не уйдешь? — спросил Пашка.

— Не уйду.

— Только не выключай свет. Ладно?

— Ладно.

— И сама не уходи.

— И сама не уйду. А у тебя волосы пахнут знаешь чем?

— Чем?

— Они у тебя пахнут нагретыми перышками. А сам ты пахнешь ландышем.

— А я стишок сочинил,— сказал Пашка.— «Грека сунул руку в реку, ну а раку хоть бы хны. Грека прыгнул прямо в реку, рака цапнул за штаны».

— Кто кого цапнул? — не поняла Шурочка.

— Рак грека,— объяснил Пашка.— Неужели не понятно?

Они ворковали, журчали, проговаривали какую-то муру, которая обоим казалась значительной. Комната плавала и парила в нежности. Эта нежность давила мне на грудь. Я почувствовал себя сиротливо, захотелось к моей маме.

Когда, будучи взрослым, я иногда жил с ней под одной крышей, когда она перебиралась ко мне со своим внутренним миром, у меня было такое ощущение, что в моей комнате — лошадь с телегой, груженной дровами. Она занимает всю площадь, и, чтобы как-то передвигаться, ее надо обходить. Это неловко, а главное — непонятно зачем.

Сейчас мне захотелось сию же секунду вылезти из-под пыльного дивана, выйти из дома. Доехать до Савеловского вокзала, сесть на электричку и сойти на нужной станции. Постучать в знакомую дверь и уткнуться в родное тепло. Мама нальет мне в тарелку горячий фасолевый суп, сядет напротив и начнет изводить меня: и не тот я, и не там, и не с теми... Но что бы она ни говорила, звук ее голоса будет обозначать только одно: меня любят...

Стало тихо. Пашка засыпал, умиротворенный. Я тоже закрыл глаза, и меня будто за волосы потащило в сон. Шурочка встала. Я испугался, что сейчас она увидит два башмака, надетых на чьи-то ноги. Но Шурочка ничего не заметила. Выключила свет и тихо ушла.

Я полежал еще минут десять, преодолевая сон. Потом стал двигаться по пять-шесть сантиметров за одно движение. Я осторожно вытеснил себя из-под дивана. Потом осторожно поднял себя на ноги. Постоял и по-

шел к двери. До двери было шесть шагов. Я сделал их за восемнадцать минут, по три минуты на шаг. Я шел, как по минному полю, осторожно выверяя, куда поставить ногу, и распределяя тяжесть так, чтобы не скрипел пол. Когда я вышел на лестничную клетку, я почувствовал такое же облегчение, какое, наверное, испытывает космонавт, когда после перегрузок попадает в состояние невесомости.

— Ты чего приехал? — спросила мама.

Она стояла в платье, сшитом из легкого узбекского шелка, хотя к узбекам не имела никакого отношения. Фасон своих платьев она не меняла в течение всей жизни. Она всегда шила прямые платья с английским воротничком и на пуговицах. И узбекское платье тоже было с английским воротничком и тоже на пуговицах. Я понял: она ничего не знает о рейсе 349 Москва — Адлер.

— Что-нибудь случилось? — испугалась мама.

— Случилось, — сказал я. — Соскучился.

— Этот Петр такой противный, — зашептала мама, оглядываясь на дверь, ведущую в комнату. — У него такая рожа, будто ему всунули за шиворот кактус.

В прихожую вошла Елена. Мама тотчас замолчала. Елена была бледная и вымороченная. Никаких следов счастья не читалось. В глубине дома орал ребенок.

— Мальчик? — спросил я.

— Девочка, — ответила Елена. — Светка.

Пока я до них добирался, я протрезвел и отупел, и, честно сказать, мне было безразлично, мальчик или девочка.

— Поздравляю. — Я обнял сестру.

Когда-то в детстве она любила меня как бешеная. Теперь она так же любила своего Петра. Она умела любить только кого-то одного. Главное для нее — вкладывать свою преданность. Чтобы был объект, куда можно было вкладывать.

Ребенок продолжал орать с той же громкостью и в тех же интонациях, будто в него, как в счетную машину, была вложена заданная программа.

— Иди покорми! — приказала мама.

— Не пойду! — упрямо отказалась сестра.

— Представляешь, ребенок орет с десяти часов ве-

чера, а они не хотят его кормить. У него же легкие разорвутся.

— Не разорвутся,— сказала Елена.— Детям полезно орать.

Мама с оскорбленным видом пошла на кухню, а я двинулся в комнату знакомиться с племянницей.

— Понимаешь, она перепутала день с ночью,— объяснила Елена.— Днем спит, а ночью есть просит. Если я буду ее кормить по ночам, рефлекс закрепится, и тогда все! Конец жизни! Я должна буду подстраиваться под ее режим.

Мы подошли к коляске. Племянница родилась недавно. Ей еще не купили кровать, и она временно жила в коляске. Личико у нее было темное от напряжения и двигалось, как резиновое.

— А сколько она будет орать?— спросил я.

— Пока не поймет, что по-другому не будет.

Из смежной комнаты появился Петр. Он был одет. Должно быть, не ложился. Весь дом находился под террором нового человека, который хотел переиначить сутки по собственному усмотрению.

Выражение лица у Петра было немножко напряженное и высокомерное. Казалось, он действительно носил под рубашкой кактус и постоянно прислушивался к неприятным ощущениям.

Петр не был ни талантлив, ни полуталантлив. Это был человек долга, и он всегда исполнял свой долг. Мне с ним становилось несколько скучно. А ему было, видимо, скучно со мной.

— Ты загорел,— заметил Петр, чтобы как-то проявить ко мне свое внимание.

— Я был на юге.

Петр опустил глаза чуть вниз и чуть в сторону, и по его лицу я понял: с каким удовольствием уехал бы он на юг от крика, от тещи и от жены. Елена коротко глянула на Петра, и я увидел: она это поняла. Она любила его и слышала все, что в нем происходит.

Петр с испугом посмотрел на Елену. Он понял, что она поняла, и испугался, будто его поймали за руку в чужом кармане.

— Может, действительно покормишь?— спросил

Петр, как бы выдергивая руку из чужого кармана и пряча ее за спину.

— Нет,— жестко ответила Елена, и слезы навернулись у нее на глаза.

Я решил взять племянницу на руки и покачать.

— Не трогай! — Елена предупредила движение моей души и протянутых рук.— Ты добренький, приедешь и уедешь. А она мне на голову сядет.

Я смотрел в коляску на маленького упрямого человечка, запеленатого, как рыбка.

Если бы у нас с Микой был ребенок, он оттянул бы Мику на себя и освободил ее от меня. Мы были бы вместе и врозь — идеальный вариант. И наверное, права была она, а не я.

— А я чуть было на самолете не разбился,— сказал я.

Я ожидал, что после моего сообщения все заломят руки и зарыдают. Причем зарыдают дважды: один раз от ужаса, что я мог погибнуть, а другой раз от радости, что я остался цел. Но Елена молчала, углубленная в себя. Будто не слышала.

— Я чуть не разбился,— повторил я.

— Но ты же стоишь...— отозвался Петр.

— Я не говорю, что я разбился. Я говорю: «Чуть не разбился».

— Мы ходим по тротуару, а машины — в метре от нас. Значит, мы тоже чуть не попадаем под машину,— сказала Елена.

Она отвечала мне, а продолжала молча доругиваться с Петром.

Я пошел к маме на кухню. На столе стоял не фасолевый суп, а тарелка с холодцом. Холодец был прозрачный, с островками желтка. Я хотел сесть на табуретку, но мама выдернула ее из-под меня.

— Не видишь, пеленки? А ты с грязными штанами. Неизвестно, где сидел...

Я пересел на другую табуретку.

Мать всегда любила меня больше, чем Елену, потому что я был похож на отца. А сейчас родилась Светка и полностью вытеснила меня из ее жизни. Я большой. Не путаю день с ночью. Не требую ежесекундного присутствия. Теперь маме достаточно знать, что со мной все в порядке,— и она может обходиться без меня годами и десятилетиями. Я сам ее к этому приучил.

И вдруг, ни с того ни с сего, а скорее от нервного переутомления, память явила мне двух лошадей на крутом берегу пруда. Вечерело. Они стояли с опущенными шеями и полностью отражались в зеркале пруда. Мы с Микой остановились на другом берегу. Она положила свою голову мне на плечо. Мы смотрели на лошадей. А лошади на нас. Мы стояли по разные стороны пруда и смотрели друг на друга.

Я встал и подошел к раковине, чтобы набрать воды. Мама выхватила у меня кружку. На кружке был нарисован заяц.

— Это детская. Я ее ошпарила.

Светка вдруг замолчала. Может, устала. А может, действительно поняла, что иначе не будет. День всегда будет днем, а ночь ночью.

Елена, осторожно ступая, вошла в кухню. Мы сидели и напряженно ждали, что Светка сейчас снова заорет и будет казнить своей беспомощностью.

— Этот Петр ленивый как черт,— сказала мне мама.— Целыми вечерами сидит и газету читает.

— Но ведь все мужчины такие! — заступилась Елена.— Что ты к нему пристаешь?

Мама сидела и копила обиду. Она приехала в дом Елены, чтобы тратить на нее свою жизнь, а та не ценила. И еще я видел: мама ревновала Елену и в самой глубине души хотела отвадить ее от мужа. И вместе с тем она хотела, чтобы Елена была счастлива.

— Он такой жадный,— сказала мне мама.— Дает сто пятьдесят рублей в месяц, и все. Как хочешь, так и крутись.

— А где он тебе больше возьмет? Что он, воровать пойдет?

— Он хочет, чтобы я вкладывала свою пенсию.

— Да ничего он не хочет.

— У него рожа, будто он ее отлежал,— добавила мама, исчерпав все аргументы.

— Вот видишь! — сестра повернула ко мне расстроенное лицо.

— Я пойду!

Я торопился уйти, пока Светка молчала. Мне было бы совестно уходить из дома, где плачет ребенок.

— Как это «пойду»...— удивилась мама.— А зачем же ты приехал?

— Соскучился,— повторил я.— Дай мне ключи от твоей комнаты.

— Зачем?

— Хочу взять «Справочник машиностроителя».

— А зачем тебе справочник?

— Как зачем? Я же все-таки инженер.

— Ты хочешь уйти из ансамбля?

Появился Петр. Кухня превратилась в электрическое поле с разнозаряженными частицами, которые сталкиваются.

Когда я уходил, мама сунула мне в карман апельсин. Ей неудобно было дать мне апельсин открыто, потому что она жила на средства Петра и не вкладывала свою пенсию.

Апельсин оттопыривал карман, и я чувствовал себя так, будто я его украл.

Я попрощался. Елена накинула шаль и вышла меня проводить.

Когда мы были маленькие и вместе ходили в школу, Елена носила мой портфель, потому что я рос слабым. Мама делала нам разные бутерброды: мне с колбасой или сыром, а Елене просто посыпала сахарным песком и поливала сверху водичкой, чтобы песок не рассыпался. Однажды во время большой перемены Елена обнаружила у себя бутерброд с яичницей. Она догадалась, что мама перепутала, и не съела его, а отнесла мне на другой этаж.

— Простудишься,— сказал я и поцеловал сестру в щеку.

— Понимаешь... Она все время недовольна. Петра это раздражает, ему не хочется быть дома. Я вижу, он уже не делает разницы между нею и мной. Ему уже все равно, что она, что я...

— А ты не обращай внимания,— посоветовал я.

— Я не могу не обращать внимания. Я все время зажигаюсь об нее, как спичка о коробок. Я устала...

Солнце выступило под соснами. Оно было нежно-пламенное, молодое, будто только что проснулось.

— А я никому не нужен,— сказал я Елене.

— Понимаешь... она все время талдычит: он жадный, он ленивый... Пусть даже она права, но скажи — зачем мне это знать?

— Я никому не нужен. Никому.

— Но ведь и тебе никто не нужен.

Солнце оторвалось от сосен, медленно плыло, чтобы в срок поспеть на середину неба.

— Ну, я пойду...

— Приезжай,— попросила Елена.

Она была покрыта шалью, как печалью, и уходила с печалью на плечах.

Я пошел по тропинке. Зелень была яркая и юная.

Я поднялся на дощатый перрон и стал ждать электричку. Неподалеку горели на солнце маковки церкви. Говорят, здесь жил какой-то патриарх.

«Интересно,— подумал я,— заснула ли Светка или только отдохнула и принялась за старое с новыми силами? А Елена стоит над коляской с каменным лицом и не хочет понять свою дочь. А над Еленой — ее мать, которая, в свою очередь, не хочет понять свою дочь». Что требовать от посторонних, когда даже самые близкие люди не умеют почувствовать друг друга.

Подошла электричка. Я зашел в вагон и сел на свободное место, спиной по ходу поезда. Вагон был почти полон. Люди ехали на работу.

Напротив меня сидела десятилетняя девочка с мамой. Девочка смотрела в окно, и в ее светлых глазах отражались деревья, дома, небо. Глаза были пестрые и разные, в зависимости от того, что было за окном. Женщина тоже смотрела за окно, но не видела ничего. В ней спала душа.

Я снова вспомнил Светку и подумал: дети плачут до определенного возраста, а потом начинают задавать вопросы. Далее они перестают задавать вопросы вслух и задают их только себе. И плачут тоже про себя.

Если сейчас, например, поставить в вагон аппарат, который улавливает и усиливает звук,— таким аппаратом записывают разговор рыб,— то выяснится, что вагон набит плачем и вопросами. Люди плачут и спрашивают с сомкнутыми губами.

Я сошел в Москве и пересел в метро. Я перемещал свое тело из электрички в метро, из метро в автобус. И все ехал и ехал, как грека через реку.

Автобус остановился. Шофер выпрыгнул из кабины и ушел. Я тоже вышел, огляделся и увидел здание аэропорта.

Зачем я сюда приехал? Может, я хотел успеть на свой рейс и боялся опоздать...

Я вошел в помещение аэропорта. Поднялся на вто-



12-751

рой этаж. Сел в кресло. Кроме меня, в зале ожидания был еще один человек, с усами и в такой большой кепке, что она вполне могла бы послужить посадочной площадкой для вертолета.

У подножия Кикиморы выстроилась недлинная шеренга. Здесь все мои родные по крови и близкие по духу. Я иду вдоль шеренги и вручаю каждому длинную палку, типа ручки от швабры. К палке прибита гвоздем пустая консервная банка, в банку положен чулок, смоченный в бензине. Я поджигаю чулок, образуется буйный факел.

Я вручаю каждому по факелу, и они молчаливой цепочкой поднимаются на Кикимору.

Я отхожу в сторону и смотрю, как они медленно идут мимо меня.

Вот мама.

— Мама,— кричу я,— живи всегда!

— Ладно,— соглашается мама.

Вот Мика.

— Мы скоро постареем, и все уладится само собой. Ты потерпи меня,— прошу я.

— А ты меня,— говорит Мика.

Вот мой ансамбль с Галей во главе.

— Идем с нами!— кричат они.

— Зачем я вам нужен?

— Мы не можем без тебя жить!

Вот дети: Антон, Вадик, Пашка Самодеркин и еще какой-то плохо одетый знакомый мальчик.

— Смотрите под ноги!— кричу я.

Но они идут, эгоистичные, как все дети, и смотрят вверх, на огонь.

Вот иностранцы.

— Дай мне руку,— просит старик.— Мне страшно.

Я встал в цепочку и протянул ему руку. А с другой стороны знакомый, плохо одетый мальчик протянул руку мне. Я вглядываюсь в него и узнаю себя маленького. Он тащит меня вверх, и я иду за своим собственным детством.

— А я вас узнала...

Я поднял голову. Надо мной стояла царевна-лягушка.

На ней была сиреневая атласная кофта и серая юб-

ка. Она только шла на работу и еще не успела надеть рабочий халат.

— Я сначала вас не узнала, а потом вспомнила. Но вы уже убежали...

Она была еще красивее, чем я думал, но понравилась мне меньше, чем в первый раз. Я от нее отвык.

— Вы что-то путаете...— заподозрил я.

— Вы Климов?— спросила она, решительно глядя мне в лицо.

— Климов. А откуда вы знаете?— искренне удивился я.

— Так вы же трубач! Из ансамбля. Я видела вас в ресторане. У меня и пластинка дома есть...

— Вам нравится?

— Ге-ни-аль-но!— Она потрясла стиснутыми кулачками, потому что восхищение не умещалось в ней.— Гениально,— повторила она безапелляционно, как бы отстаивая бесспорную истину.

Мне даже захотелось ей поверить.

— У тебя есть кто-нибудь?— спросил я.

— Сейчас нет.

— Хочешь, я буду у тебя?

Она вдруг притихла, стала серьезной. Смотрела на меня с недоверием и одновременно с надеждой. Я был новый, следующий человек в ее жизни, а новые люди — это новые надежды.

Я встал, положил руки на ее плечи. Но ладоням скользко было на атласе. Я опустил руки по швам. Смотрел в ее приподнятое робкое лицо — тоже с недоверием и надеждой.

Кто она? Лягушка? Царевна?

А ведь у нее, наверное, имя есть. Я спросил:

— Как тебя зовут?

— А тебя?

## СТАРАЯ СОБАКА

Инна Сорокина приехала в санаторий не затем, чтобы лечиться, а чтобы найти себе мужа. Санаторий был закрытого типа, для высокопоставленных людей, там вполне мог найтись для нее высокопоставленный муж. Единственное условие, которое она для себя оговорила,— не старше восьмидесяти двух лет. Все остальное, как говорила их заведующая Ираида, имело место быть.

Инне шел тридцать второй год. Это не много и не мало, смотря с какой стороны смотреть. Например, помереть — рано, а вступать в комсомол — поздно. А выходить замуж — последний вагон. Поезд уходит. Вот уже мимо плывет последний вагон. У них в роддоме тридцатилетняя женщина считается «старая первородящая».

Замужем Инна не была ни разу. Тот человек, которого она любила и на которого рассчитывала, очень симпатично слинял, сославшись на объективные причины. Причины действительно имели место быть, и можно было понять, но ей-то что. Это ведь его причины, а не ее.

В наше время принято выглядеть на десять лет моложе. Только малокультурные люди выглядят на свое. Инна не была малокультурной, но выглядела на свое — за счет лишнего веса. У нее было десять лишних килограммов. Как говорил один иностранец: «Ты немножко тольстая, стрэмительная, и у тебя очень красивые глаза...»

Инна была «немножко тольстая», высокая крашеная блондинка. Волосы она красила югославской краской. Они были у нее голубоватые, блестящие, как у ку-

клы из магазина «Лейпциг». Время от времени она переставала краситься — из-за хандры, или из-за того, что пропадала краска, или лень было ехать в югославский магазин, — и тогда от корней начинали взрастать ее собственные темно-русые волосы. Они отрастали почти на ладонь, и голова становилась двухцветной, половина темная, а половина белая.

Сейчас волосы были тщательно прокрашены и промыты и существовали в прическе под названием «помоталка». Идея прически состояла в следующем: вымыть голову ромашковым шампунем и помотать головой, чтобы они высохли естественно и вольно, без парикмахерского насилия.

Одета Инна была в белые фирменные джинсы и белую рубаху из модной индийской марли и в этом белом одеянии походила на индийского грузчика, с той только разницей, что индийские грузчики — худые брюнеты, а Инна — плотная блондинка.

Войдя в столовую, Инна оглядела зал. Публика выглядела как филиал богадельни. Старость была представлена во всех вариантах, во всем своем многообразии. Средний возраст, как она мысленно определила, — сто один год.

Инна поняла, что зря потратила отпуск, и деньги на путевку, и деньги на подарок той бабе, которая эту путевку доставала.

Инну посадили за стол возле окна на шесть человек. Против нее сидела старушка с розовой лысинкой, в прошлом клоун, и замужняя пара: он — по виду завязавший алкоголик. У него были неровные зубы, поэтому неровный язык, как хребет звероящера, и привычка облизываться. Она постоянно улыбалась, хотела понравиться Инне, чтобы та, не дай бог, не украла ее счастье в виде завязавшего алкоголика с ребристым языком. Одета была как чучело, будто вышла не в столовую высокопоставленного санатория, а собралась в турпоход по болотистой местности.

Завтрак подавали замечательный, с деликатесами. Но какое это имело значение? Ей хотелось пищи для души, а не для плоти. Хотелось влюбиться и выйти замуж. А если не влюбиться, то хотя бы просто устроиться. Человеческая жизнь рассчитана природой так, чтобы успеть взрастить два поколения — детей и внуков. Поэтому все надо успеть своевременно. Эту беспо-

щадную своевременность Инна наблюдала в прошлый отпуск в деревне. Три недели стояла земляника, потом пошла черника, а редкие земляничные ягоды будто налились водой. Следом — малина. За малиной — грибы. Было такое впечатление, что все эти дары лета выстроились в очередь друг за дружкой и тот, кто стоит в дверях, выпускает их одного за другим на определенное время. И каждый вид знает, сколько ему стоять. Так и человеческая жизнь: до четырнадцати лет — детство. От четырнадцати до двадцати четырех — юность. С двадцати четырех до тридцати пяти — молодость. Дальше Инна не заглядывала. По ее расчетам, ей осталось три года до конца молодости, и за эти три года надо было успеть что-то посеять, чтобы потом что-то взрастить.

Внешне Инна была высокая блондинка. А внутренне — наивная хамка. Наивность и хамство — качества полярно противоположные. Наивность связана с чистотой, а хамство — с цинизмом. Но в Инне все это каким-то образом совмещалось — наивность с цинизмом, ум с глупостью и честность с тяготением к вранью. Она была не врунья, а вруша. На первый взгляд это одно и то же. Но это совершенно разные вещи. По задачам. Врунья врет в тех случаях, когда путем вранья она пытается что-то достичь. В данном случае — это оружие. Средство. А вруша врет просто так. Низачем. Знакомясь с людьми, она говорила, что работает не в родильном доме, а в кардиологическом центре, потому что сердце казалось ей более благородным органом, чем тот, с которым имеют дело акушерки. В детстве она утверждала, что ее мать не уборщица в магазине, а киноактриса, работающая на дубляже (поэтому ее не бывает видно на экранах).

Наивность, среди прочих проявлений, заключалась в ее манере задавать вопросы. Она, например, могла остановить крестьянку и спросить: «А хорошо жить в деревне?» Или спросить у завязавшего алкоголика: «А скучно без водки?» В этих вопросах не было ничего предосудительного. Она действительно была горожанка, никогда не жила в деревне, никогда не спивалась до болезни, и ее интересовало все, чего она не могла постичь собственным опытом. Но, встречаясь с подобным вопросом, человек смотрел на Инну с тайным желанием понять: она дура или придуривается?

Что касается хамства, то оно имело у нее самые разнообразные оттенки. Иногда это было веселое хамство, иногда обворожительное, создающее шарм, иногда умное, а потому циничное. Но чаще всего это было нормальное хамское хамство, идущее от постоянного общения с людьми и превратившееся в черту характера. Дежуря в предродовой, она с трудом терпела своих рожениц, трубящих как слоны, дышащих как загнанные лошади. И роженицы ее боялись и старались вести себя прилично, и бывали случаи — рожали прямо в предродовой, потому что стеснялись позвать лишний раз.

Возможно, это хамство было как осложнение после болезни — дефект неустроенной души. Лечить такой дефект можно только лаской и ощущением стабильности. Чтобы любимый муж, именно муж, звонил на работу и спрашивал: «Ну, как ты?» Она бы отвечала: «Да ничего»... Или гладил бы по волосам, как кошку, и ворчал без раздражения: «Ну что ты волосы перекрашиваешь? И тут врешь. Только бы тебе врать».

Прошла неделя. Погода стояла превосходная. Инна томилась праздностью, простоем души и каждое утро после завтрака садилась на лавочку и поджидала: может, приедет кто-нибудь еще. Тот, кто должен приехать. Ведь не может же Он не приехать, если она ТАК его ждет.

Клоунесса усаживалась рядом и приставала с вопросами. Инна наврала ей, что она психоаналитик. И клоунесса спрашивала, к чему ей ночью приснилась потрошеная курица.

— Вы понимаете, я вытащила из нее печень и вдруг понимаю, что это моя печень, что это я себя потрошу...

— А вы Куприна знали? — спросила Инна.

— Куприна? — удивилась клоунесса. — А при чем здесь Куприн?

— А он цирк любил.

Старушка подумала и спросила:

— А как вы думаете, есть жизнь после жизни?

— Я ведь не апостол Петр. Я психоаналитик.

— А что говорят психоаналитики?

— Конечно, есть.

— Правда? — обрадовалась старушка.

— Конечно, правда. А иначе — к чему все это?

— Что «это»?

— Ну Это. Все.

— Честно сказать, я тоже так думаю,— шепотом поделилась клоунесса.— Мне кажется, что Это начало Того. А иначе зачем Это?

— Чтобы нефть была.

— Нефть? А при чем тут нефть?

— Каменный уголь — это растения. Торф. А нефть — это люди. Звери.

— Но я не хочу в нефть.

— Мало ли что...

— Но вы же только что сказали «есть», а сейчас говорите «нефть»,— обиделась старушка.

В этот момент в конце аллеи показалась «Волга». Она ехала к главному корпусу, и правильно сказать — не ехала, а летела, будто не касалась колесами асфальтированной дорожки. Инна насторожилась. Так могла лететь только судьба. Возле корпуса машина стала. Не остановилась и не затормозила, а именно стала как вкопанная. Чувствовалось, что за рулем сидел супермен, владеющий машиной, как ковбой мустангом.

Дверь «Волги» распахнулась, и с двух сторон одновременно вышли двое: хипповая старушка с тонкими ногами в джинсовом платье и ее сын, а может, и муж с бородкой под Добролюбова. «Противный»,— определила Инна, но это было неточное определение. Он был и привлекателен и отталкивающ одновременно. Как свекла — и сладкая и пресная в одно и то же время.

Он взял у старушки чемодан и понес его в корпус.

«Муж»,— догадалась Инна. Он был лет на двадцать моложе, но в этом возрасте, семьдесят и пятьдесят, разница не смотрится так контрастно, как, скажем, в пятьдесят и тридцать. Инна знала, сейчас модны мужья, годящиеся в сыновья. Как правило, эти внешне непрочные соединения стоят подолгу, как временные мосты. Заведующая Ираида старше своего мужа на семнадцать лет и все время ждет, что он найдет себе помоложе и бросит ее. И он ждет этого же самого и все время высматривает себе помоложе, чтобы бросить Ираиду. И это продолжается уже двадцать лет. Постоянные временщики.

Во время обеда она, однако, заметила, что сидят они врозь. Старушка в центре зала, а противный супермен — возле Инны. «Значит, не родственники»,— подумала она и перестала думать о нем вообще. Он си-

дел таким образом, что не попадал в ее поле зрения, и она его в это поле не включила. Смотрела перед собой в стену и скучала по работе, по своему любимому человеку, который хоть и слинял, но все-таки существовал. Он же не умер, его можно было бы позвать сюда, в санаторий. Но звать не хотелось, потому что неинтересно было играть в проигранную игру.

Вспоминала новорожденных, спеленатых, как рыбки шпроты, и так же, как шпроты, уложенных в коляску, которую она развозила по палатам. Она набивала коляску детьми в два раза больше, чем положено, чтобы не ходить по десять раз, и возила в два раза быстрее. Рационализатор. И эта коляска так грохотала, что мамаши приходили в ужас и спрашивали: «А вы их не перевернете?»

Новорожденные были похожи на старичков и старушек, вернее, на себя в старости. Глядя на клоунессу, сидящую напротив, и вспоминая своих новорожденных, Инна понимала, что природа делает кольцо. Возвращается на круги своя. Новорожденный нужен матери больше всего на свете, а у глубоких стариков родителей нет, и они нужны много меньше, и это естественно, потому что природа заинтересована в смене поколений.

Клоунесса с детской жадностью жевала холодную закуску. Инна догадывалась, что для этого возраста ценен только факт жизни сам по себе, и хотелось спросить: «А как живется без любви?»

— А где моя рыба? — спросил противный супермен.

Он задал этот вопрос вообще. В никуда. Как философ. Но Инна поняла, что этот вопрос имеет к ней самое прямое отношение, ибо, задумавшись, она истребила две закуски: свою и чужую. Она подняла на него большие виноватые глаза. Он встретил ее взгляд — сам смутился ее смущением, и они несколько длинных, нескончаемых секунд смотрели друг на друга. И вдруг она увидела его. А он — ее.

Он увидел ее глаза и губы — наполненные, переполненные жизненной праной. И казалось, если коснуться этих губ или даже просто смотреть в глаза, прана перельется в него и тело станет легким, как в молодости. Можно будет побежать трусцой до самой Москвы.

А она увидела, что ему не пятьдесят, а меньше. Лет сорок пять. В нем есть что-то отроческое. Седой отрок.

Интеллигент в первом поколении. Разночинец. Было очевидно, что он занимается умственным трудом, и очевидно, что его дед привык стоять по колено в навозе и шуровать лопатой. В нем тоже было что-то от мужика с лопатой, отсюда бородка под Добролюбова. Маскируется. Прячет мужика. Хотя — зачем маскироваться? Гордиться надо.

Еще увидела, что он — не свекла. Другой овощ. Но не фрукт. Порядочный человек. Это было видно с первого взгляда. Порядочность заметна так же, как и непорядочность.

Она все смотрела, смотрела, видела его детскость, беспородность, волосы серые с бежевым, иностранец называл такой цвет «коммунальный», бледные губы, какие бывают у рыжеволосых, покорные глаза, привыкшие перемаргивать все обиды, коммунальный цвет усов и бороды.

— Как вас зовут? — спросила Инна.

— Вадим.

Когда-то, почти в детстве, ей это имя нравилось, потом разонравилось, и сейчас было скучно возвращаться к разочарованию.

— Можно я буду звать вас иначе? — спросила она.

— Как?

— Адам.

Он тихо засмеялся. Смех у него был странный. Будто он смеялся по секрету.

— А вы — Ева?

— Нет. Я Инна.

— Ин-на... — медленно повторил он, пружиня на «н».

Имя показалось ему прекрасным, просвечивающим на солнце, как виноградина.

— Это ваше имя, — признал он.

После обеда вместе поднялись и вместе вышли.

Вокруг дома отдыха шла тропа, которую Инна называла «гипертонический круг». На этот круг отдыхающие выползали как тараканы и ползли цепочкой друг за дружкой.

Инна и Адам заняли свои места в цепочке.

Навстречу и мимо них прошли клоунесса в паре с хипповой старушкой. На старушке была малахитовая брошь, с которой было бы очень удобно броситься в пруд вниз головой. Никогда не всплывешь. Обе стару-

шки обежали Инну и Адама глазами, объединив их своими взглядами, как бы проведя вокруг них овал. Прошли мимо. Инна ощутила потребность обернуться. Она обернулась, и старушки тоже вывернули шеи. Они были объединены каким-то общим флюидным полем. Инне захотелось выйти из этого поля.

— Пойдемте отсюда,— предложила она.

— Поедем на речку.

Дорога к реке шла сквозь высокую рожь, которая действительно была золотая, как в песне. Стебли и колосья скреблись в машину. Инна озиралась по сторонам, и казалось, что глаза ее обрели способность видеть в два раза ярче и интереснее. Было какое-то общее ощущение событийности, хотя невелико событие — ехать на машине сквозь высокую золотую рожь.

Изо ржи будто нехотя поднялась черная сытая птица.

— Ворона,— узнала Инна.

— Ворон,— поправил Адам.

— А как вы различаете?

— Вы, наверное, думаете, что ворон — это муж вороны. Нет. Это совсем другие птицы. Они так и называются: ворон.

— А тогда как же называется муж вороны?

— Дело не в том, как он называется. А в том, кто он есть по существу.

Адам улыбнулся. Инна не видела, но почувствовала, что он улыбнулся, потому что машина как бы наполнилась приглушенной застенчивой радостью.

Целая стая взлетела, вспугнутая машиной, но поднялась невысоко, видимо понимая, что машина сейчас проедет и можно будет сесть на прежнее место. Они как бы приподнялись, пропуская машину, низко планировали, обметая машину крыльями.

Невелико событие — проезжать среди птиц, но этого никогда раньше не было в ее жизни. А если бы и было, она не обратила бы внимания. Последнее время Инна все время выясняла отношения с любимым человеком, и ее все время, как говорила Ираида, бил колотун. А сейчас колотун отлетел так далеко, будто его и вовсе не существовало в природе. В природе стояла золотая

рожь, низко кружили птицы, застенчиво улыбался Адам.

Подъехали к реке.

Инна вышла из машины. Подошла к самой воде. Вода была совершенно прозрачная. На середине в глубине стояли две метровых рыбины — неподвижно, нос к носу. Что-то ели или целовались.

Инна никогда не видела в естественных условиях таких больших рыб.

— Щелкопёрка,— сказал Адам. Он все знал. Видимо, он был связан с природой и понимал в ней все, что надо понимать.

— А можно их руками поймать?— спросила Инна.

— А зачем?— удивился Адам.

Инна подумала: действительно, зачем? Отнести повару? Но ведь в санатории и так кормят.

Адам достал из багажника раскладной стульчик и надувной матрас. Матрас был яркий — синий с желтым и заграничный. Инна догадалась, что он заграничный, потому что от наших матрасов удушливо воняло резиной и этот запах не выветривался никогда.

Адам надул матрас для Инны, а сам уселся на раскладной стульчик возле самой воды. Стащил рубашку.

Инна подумала и тоже стала снимать кофту из индийской марли. Она расстегнула только две верхних пуговицы, и голова шла туго.

Адам увидел, как она барахтается своими белыми роскошными руками, и тут же отвернулся. Было нехорошо смотреть, когда она этого не видит.

Подул теплый ветер. По реке побежала сверкающая рябь, похожая на несметное количество сверкающих человечков, наплывающих фанатично и неумолимо — войско Чингисхана с поднятыми копьями.

Инна высвободила голову, сбросила джинсы, туфли. Медленно легла на матрас, как бы погружая свое тело в воздух, пропитанный солнцем, близкой водой, близостью Адама. Было спокойно, успокоенно. Колотун остался в прежней жизни, а в этой — свернуты все знамена и распущены все солдаты, кроме тех, бегущих над целующимися рыбами.

«Хорошо»,— подумала Инна. И подумала, что это «хорошо» относится к «сейчас». А счастье — это «сейчас» плюс «всегда». Сиюминутность плюс стабиль-

ность. Она должна быть уверена, что так будет и завтра, и через год. До гробовой доски и после гроба.

— А где вы работаете?—спросила Инна.

Этот вопрос был продиктован не праздным любопытством. Она забивала сваи в фундамент своей стабильности.

— В патентном бюро.

— А это что?

— Я, например, занимаюсь продажей наших патентов за границу.

— Это как?—Инна впервые сталкивалась с таким родом деятельности.

— Ну... Когда мы умеем делать что-то лучше, они у нас учатся,—популярно объяснил Адам.

— А мы что-то умеем делать лучше?

— Сколько угодно. Шампанское, например.

Инна приподнялась на локте, смотрела на Адама с наивным выражением.

От слов «патентное бюро» веяло иными городами, отелями, неграми, чемоданами в наклейках.

— А ваша жена—тоже в патентном бюро?—спросила Инна.

Это был генеральный вопрос. Ее совершенно не интересовало участие жены в общественной жизни. Ее интересовало—женат он или нет, а спросить об этом прямо было неудобно.

— Нет,—сказал Адам.—Она инженер.

«Значит, женат»,—поняла Инна, но почему-то не ощутила опустошения.

— А дети у вас есть?

— Нет.

— А почему?

— У жены в студенчестве была операция аппендицита. Неудачная. Образовались спайки. Непроходимость,—доверчиво поделился Адам.

— Но ведь это у нее непроходимость.

— Не понял,—Адам обернулся.

— Я говорю: непроходимость у нее, а детей нет у вас,—растолковала Инна.

— Да. Но что же я могу поделать?—снова не понял Адам.

«Бросить ее, жениться на мне и завести троих детей, пока еще не выстарился окончательно»,—подумала Инна. Но вслух ничего не сказала. Подняла с земли

кофту и положила на голову, дабы не перегреться под солнцем. Адам продолжал смотреть на нее, ожидая ответа на свой вопрос, и вдруг увидел ее всю — большую, молодую и сильную, лежащую на ярком матрасе, и подумал о том же, что и она, и тут же смутился своих мыслей.

Обедали они уже вместе. То есть все было как раньше, каждый сидел на своем месте и ел из своей тарелки. Но раньше они были врозь, а теперь — вместе. Когда подали второе, Адам снял со своей тарелки круглый парниковый помидор и перенес его в тарелку Инны — так, будто она — его дочь и ей положены лучшие куски. Инна не отказалась и не сказала «спасибо». Восприняла как должное. На этом кругленьком, почти не настоящем помидорчике как бы определилась дальнейшая расстановка сил: он все отдает, она все принимает без благодарности. И неизвестно — кому лучше? Дающему или берущему? Отдавая, человек лишается чего-то конкретного, скажем, помидора. А черпает из чаши ДОБРА.

Инна тоже черпала, было дело. Отдала все, чем была богата,— молодость, надежды. И с чем она осталась?

После обеда поехали по местным торговым точкам. Инна знала — в загородных магазинах можно купить то, чего не достанешь в Москве. В Москве у каждого продавца своя клиентура и клиентов больше, чем товаров. А здесь, в ста километрах, клиентов может не хватить, и сто́ящие товары попадают на прилавок.

Инна вошла в дощатый магазин, сразу же направилась в отдел «мужская одежда» и сразу же увидела то, что было нужно: финский светло-серый костюм из шерстяной рогожки.

Инна сняла с кронштейна костюм, пятьдесят второй размер, третий рост, и протянула Адаму.

— Идите померьте! — распорядилась она.

Адам не знал, нужен ему костюм или нет. Но Инна вела себя таким образом, будто она знала за него лучше, чем он сам.

Адам пошел в примерочную, задернул плюшевую занавеску. Стал переодеваться, испытывая все время внутреннее недоумение. Он не привык, чтобы о нем заботились, принимали участие. Жена никогда его не одевала и не одевалась сама. Она считала — не имеет зна-

чения, во что одет человек. Имеют значение нравственные ценности. Она была человеком завышенной нравственности.

Инна отвела шторку, оглядела Адама. Пиджак сидел как влитой, а брюки были велики.

Инна принесла костюм сорок восьмого размера, высвободила с вешалки брюки и протянула Адаму.

— Оденьте эти брюки,— велела она.— А эти снимите.

— Почему?— не понял Адам.

— Велики.

— Разве?

— А вы не видите? Сюда же можно засунуть еще один зад.

— Зато не жмут,— неуверенно возразил Адам.

— Самое главное в мужской форме — это зад!

Она действительно была убеждена, что мужчина во все времена должен гоняться с копьем за мамонтом и у него должны торчать ребра, а зад обязан быть тощий, как у кролика, в брюках иметь полудетский овальный рисунок.

У Адама в прежних портках зад выглядел как чемодан, и любая мечта споткнется о такое зрелище.

— Тесно,— пожаловался Адам, отодвигая шторку.— Я не смогу сесть.

Инна посмотрела и не поверила своим глазам. Перед ней стоял элегантный господин шведского типа — сильный мира сего, скрывающий свою власть над людьми.

— Останьтесь так,— распорядилась Инна. Она уже не смирилась бы с обратным возвращением в дедовские штаны и неприталенную рубаху, которая пузырилась под поясом.

Она взяла вешалку, повесила на нее брюки пятьдесят второго размера, пиджак сорок восьмого. Отнесла на кронштейн.

— Идите платить,— сказала она.

— Наверное, надо предупредить продавщицу,— предположил Адам.

— О чем?

— О том, что мы разрознили костюм. Что он не парный...

— И как вы думаете, что она вам ответит?— поинтересовалась Инна.

— Кто?

— Продавщица. Что она вам скажет?

— Не знаю.

— А я знаю. Она скажет, чтобы вы повесили все как было.

— И что?

— Ничего. Останетесь без костюма.

Адам промолчал.

— У вас нестандартная фигура: плечи пятьдесят два, а бедра — сорок восемь. Мы так и купили. Я не понимаю, что вас не устраивает? Вы хотите иметь широкие штаны или узкий пиджак?

— Да, но придет следующий покупатель, со стандартной фигурой, и останется без костюма. Нельзя же думать только о себе.

— А чем вы хуже следующего покупателя? Почему у него должен быть костюм, а у вас нет?

Адам был поставлен в тупик такой постановкой вопроса. Честно сказать, в самой-самой глубине души он считал себя хуже следующего покупателя. Все люди казались ему лучше, чем он сам. И еще одно обстоятельство: Адам не умел быть счастлив за чей-то счет, и в том числе за счет следующего покупателя.

— Ну, я не знаю...— растерянно сказал Адам.

— А я знаю. Вы любите создавать себе трудности,— определила Инна.— Вас хлебом не корми — дай пострадать.

Она взяла Адама за руку и подвела к кассе.

— Сто шестьдесят рублей,— сказала кассирша.

Адам достал деньги, отдал кассирше. Та пересчитала их и бросила в свой ящичек, разгороженный для разных купюр. И все это время у Адама было чувство, будто идет через контрольный пост с фальшивыми документами.

Инна отошла к продавцу и протянула старую одежду Адама.

— Заверните.

Продавец ловко запаковал, перевязал шпагатиком и вручил сверток.

Вышли на улицу.

Возле магазина был небольшой базар. Старухи в черном продавали яблоки в корзинах и астры в ведрах.

Увидев Адама и Инну, они притихли, как бы напол-

нились уважением. Инна посмотрела на своего спутника — со стороны, глазами старух — и тоже наполнилась уважением. А уважение — самый необходимый компонент для пирога любви.

— Потрясающе...— обрадовалась Инна, услышав в себе этот необходимый компонент.

— Да? — Адам осветился радостью и тут же забыл свои недавние сомнения относительно следующего покупателя.

«А в самом деле,— подумал он.— Почему не я?» Он давно хотел иметь хороший костюм, но все время почему-то откладывал на потом. Хотя почему «потом» лучше, чем «сейчас»? Наверняка хуже. «Потом» человек бывает старше и равнодушнее ко всему. В жизни надо все получать своевременно.

— Pour le moment,— проговорил Адам.

— Что? — не поняла Инна.

— Pour le moment по-французски — это «сейчас».

Инна остановилась и внимательно посмотрела на Адама. Она тоже ничего не хотела ждать. Она хотела быть счастлива сегодня. Сейчас. Сию минуту.

Адам подошел к старухе и купил у нее цветы. Астры были с блохами, а с повядших стеблей капала вода.

Инна оглядела цветы, вернула их бабке, востребовала деньги обратно и купила на них яблоки у соседней старухи. Когда они отошли, Адам сказал, смущаясь замечания:

— По-моему, это неприлично.

— А продавать такие цветы прилично? — Инна посмотрела на него наивными зелеными глазами.

«И в самом деле»,— усомнился Адам.

По вечерам в санатории показывали кино. Фильмы были преимущественно о любви и преимущественно плохие. Похоже, их создатели не догадывались, зачем мир расколот на два пола — мужчин и женщин. И не помнили наверняка, как люди размножаются,— может быть, отводками и черенками, как деревья.

Однако все отдыхающие шли в просмотровый зал, садились и пережидали кино от начала до конца, как пережидают беседу с занудливым собеседником. С той разницей, что от собеседника уйти неудобно, а с фильма — можно.

Инна и Адам садились рядом и смотрели до конца, не потому что их интересовала вялая лента, а чтобы по-



13-751

сидеть вместе. Инна все время ждала, что Адам проявит какие-то знаки заинтересованности: коснется локтем локтя или мизинца мизинцем. Но Адам сидел как истукан, глядел перед собой с обалделым видом и не смел коснуться даже мизинцем. Инна догадывалась, что все так и будет продолжаться и придется брать инициативу в свои руки. Такого в ее небогатой практике не встречалось. Адам был исключением из правила. Как правило, Инна находилась в состоянии активной обороны, потому что не хотела быть случайной ни в чьей жизни. Пусть даже самой достойной.

В понедельник киномеханик был выходной. Отдыхающие уселись перед телевизором, а Инна и Адам отправились пешком в соседнюю деревню. В клуб.

В клубе кино отменили. В этот день проходил показательный процесс выездного суда. Инна выяснила: истопник пионерского лагеря «Ромашка» убил истопника санатория «Березка». Оба истопника из этой деревни, поэтому именно здесь, в клубе, решено было провести показательный суд, в целях педагогических и профилактических.

Деревня состояла из одной улицы, и вся улица собралась в клуб. Народу набралось довольно много, но свободные места просматривались. Инна и Адам забрались в уголочек, приобщились к зрелищу. Скорбному театру.

За длинным столом лицом к залу сидел судья — черноволосый, с низким лбом, плотный и идейно добротный. По бокам от него — народные заседатели, женщины со сложными, немодными прическами и в кримпленовых костюмах.

На первом ряду, спиной к залу, среди двух милиционеров сидел подсудимый, истопник «Ромашки».

— А милиционеры зачем? — тихо спросила Инна.

— Мало ли... — неопределенно отозвался Адам.

— Что?

— Мало ли что ему в голову взбредет.

Инна внимательно посмотрела на «Ромашку» и поняла: ему ничего в голову не взбредет. «Ромашка» был мелок, худ, как подросток, невзрачен, с каким-то стертым лицом, на котором читались явные признаки вырождения. Чувствовалось, что его род пришел к окончательному биологическому упадку, и следовало бы запретить ему дальше размножаться, в интересах охраны

природы. Однако выяснилось, что у обвиняемого двое детей, которые его любят. А он любит их.

Судья попросил рассказать «Ромашку», как дело было. Как это все произошло.

«Ромашка» начал рассказывать о том, что утром он подошел к шестерке за бутылкой и встретил там «Березку».

— Какая шестерка? — не понял судья.

«Ромашка» объяснил, что шестерка — это сельмаг № 6, который стоит на улице и сокращенно называется «шестерка».

Судья кивнул головой, показывая кивком, что он понял и удовлетворен ответом.

...«Березка» подошел к «Ромашке» и положил ему на лицо ладонь с растопыренными пальцами. («Ромашка» показал, как это выглядело, положив свою ладонь на свое лицо.)

Он положил ладонь на лицо и толкнул «Ромашку» — так, что тот полетел в грязь.

По показаниям свидетелей, потерпевший «Березка» имел двухметровый почти рост и весил сто шестнадцать килограммов. Так что «Ромашка» был величиной с одну «Березкину» ногу. И наверняка от незначительного толчка летел далеко и долго.

— Дальше,— потребовал судья.

— Дальше я купил бутылку и пошел домой,— продолжал «Ромашка».

Он нервничал до озноба, однако, чувствуя внимание к себе зала, испытывал, как показалось Инне, что-то похожее на вдохновение. Он иногда криво и немножко высокомерно усмехался. И зал внимал.

— А потом днем я опять пришел к шестерке. Сел на лавку.

— Зачем? — спросил судья.

— Что «зачем»? Сел или пришел?

— Зачем пришел? — уточнил судья.

— За бутылкой.

— Так вы же уже взяли утром,— напомнил судья.

«Ромашка» посмотрел на судью, не понимая замечания.

— Ну да, взял...— согласился он.

— Куда же вы ее дели?

— Так выпил...— удивился «Ромашка».

— С утра? — в свою очередь удивился судья.

— Ну да! — еще больше удивился «Ромашка», не понимая, чего тут можно не понять.

— Дальше,— попросил судья.

— Я, значит, сижу, а он подошел, сел рядом со мной и спихнул. Вот так,— «Ромашка» дернул бедром.— Я упал в грязь.

«Ромашка» замолчал обиженно, углубляясь в прошлое унижение.

— Ну а дальше?

— Я пошел домой. Взял нож. Высунулся в окно и позвал: «Коль...» Он пошел ко мне. Я встал за дверями. Он постучал. Я открыл и сунул в него нож. Он ухватился за живот и пошел обратно. И сел на лавку. А потом лег на лавку.

«Ромашка» замолчал.

— А потом? — спросил судья.

— А потом помер,— ответил «Ромашка», подняв брови.

Медицинская экспертиза показала, что нож попал в крупную артерию и потерпевший умер в течение десяти минут от внутреннего кровотечения.

— Вы хотели его убить или это получилось случайно? — спросил судья.

— Конечно, хотел,— «Ромашка» нервно дернул лицом.

— Может быть, вы хотели его только напугать? — мягко, но настойчиво спросила женщина-заседатель, как бы наводя «Ромашку» на нужный ответ.

Если бы «Ромашка» публично раскаялся и сказал, что не хотел убийства, что все получилось случайно, он судился бы по другой статье и получил другие сроки.

— Нет! — отрезал «Ромашка».— Я б его все равно убил!

— Почему? — спросил судья.

— Он меня третировал.

Чувствовалось, что слово «третировал» «Ромашка» приготовил заранее.

Зал зашумел, заволновался, как рожь на ветру. Это был ропот подтверждения. Да, «Березка» третировал «Ромашку», и тот убил его потому, что не видел для себя иного выхода. Драться с ним он не мог — слишком слаб. Спорить тоже не мог — слишком глуп. Избегать — не получалось, деревня состояла из одной улицы. Он мог его только уничтожить.

— Садитесь,— сказал судья.

«Ромашка» сел, и над залом нависло его волнение, беспомощность и ненависть к умершему. Даже сейчас, за гробом.

Судья приступил к допросу «Березкиной» жены. Вернее, вдовы.

Поднялась молодая рослая женщина Тоня, с гладкой темноволосой головой и большими прекрасными глазами. Инна подумала, что, если ее одеть, она была бы уместна в любом обществе.

— Ваш муж был пьяница? — спросил судья.

— Пил,— ответила Тоня.

— А это правда, что в пьяном виде он выгонял вас босиком на снег?

— Было,— с неудовольствием ответила Тоня.— Ну и что?

То обстоятельство, что ее муж пил и дрался, не было достаточной причиной, чтобы его убили. А судья, как ей казалось, спрашивал таким образом, будто хотел скомпрометировать умершего. Дескать, невелика потеря.

— Обвиняемый ходил к вам в дом?

— Заходил иногда.

— Зачем?

Судья хотел исключить или, наоборот, обнаружить любовный треугольник. Поискать причину убийства в ревности.

— Не помню.

Она действительно не помнила — зачем один заходил к другому? Может быть, поговорить об общем деле, все-таки они были коллеги. Истопники. Но скорее всего — за деньгами на бутылку.

— Когда он к вам приходил, вы с ним разговаривали?

— Может, и разговаривала. А что?

Тоня не понимала, какое это имело отношение к делу: приходил или не приходил, разговаривала или не разговаривала.

Судья посмотрел на статную, почти прекрасную Тоню, на «Ромашку» — и не смог объединить их даже подозрением.

— Вы хотите подсудимому высшей меры? — спросил судья.

— Как суд решит, так пусть и будет,— ответила Тоня, и ее глаза впервые наполнились слезами.

Она не хотела мстить, но не могла и простить.

— Озорной был...— шепнула Инне сидящая рядом старуха.— Что с его ишло...

Сочувствие старухи принадлежало «Ромашке», потому что «Ромашка» был слабый, почти ущербный. И потому, что «Березку» жалеть было поздно.

Инна внимательно поглядела на старуху и вдруг представила себе «Березку» — озорного и двухметрового, не знающего, куда девать свои двадцать девять лет и два метра. Ему было тесно на этой улице, с шестеркой в конце улицы и лавкой перед шестеркой. На этой лавке разыгрывались все деревенские празднества и драмы. И умер на этой лавке.

— Садитесь,— разрешил судья.

Тоня села, плача, опустив голову.

Стали опрашивать свидетелей.

Вышла соседка подсудимого — баба в ситцевом халате, с прической двадцатилетней давности, которую Инна помнила у матери. Она встала вполоборота, чтобы было слышно и судье и залу. Принялась рассказывать:

— Я, значит, побежала утречком, набрала грибов в целлофановый мешок. Отварила в соленой водичке, скинула на дуршлаг. Собралась пожарить с лучком. Говорю: «Вась, сбегай за бутылкой...»

— Опять бутылка! — возмутился судья.— Что вы все: бутылка да бутылка... Вы что, без бутылки жить не можете?

Свидетельница замолчала, уставилась на судью. Челюсть у нее слегка отвисла, а глазки стали круглые и удивленные, как у медведика. Она не понимала его неудовольствия, а судья не понимал, чего она не понимает.

Повисла пауза.

— Рассказывайте дальше,— махнул рукой судья.

— Ну вот. А потом он забежал на кухню, взял нож. А дальше я не видела. Потом захожу к нему в комнату, а он под кроватью сидит...

Судья развернул тряпку и достал нож, который лежал тут же на столе как вещественное доказательство. Нож был громадный, с черной пластмассовой ручкой.

Зал замер.

— Да...— судья покачал головой.— С таким тесаком только на кабана ходить.

И преступление выпрямилось во весь рост.

«Ромашке» дали одиннадцать лет строгого режима. Он выслушал приговор с кривой усмешкой.

Судья испытывал к «Ромашке» брезгливое пренебрежение. А женщины-заседатели смотрели на него со сложным выражением. Они знали, что стоит за словом «строгий режим», и смотрели на него как бы через это знание. А «Ромашка» не знал, и ему предстоял путь, о котором он даже не догадывался.

Суд кончился.

«Ромашку» посадили в машину и увезли. Все разбрелись с отягощенными душами.

Инна и Адам пошли в санаторий.

Дорога лежала через поле.

Солнце скатилось к горизонту, было огромное, объемно-круглое, уставшее. Инна подумала, что днем солнце бывает цвета пламени, а вечером — цвета тлеющих углей. Значит, и солнце устает к концу дня, как человек к концу жизни.

Вдоль дороги покачивались цветы и травы: клевер, метелки, кашка, и каждая травинка была нужна. Например, коровам и пчелам. Для молока и меда. Все необходимо и связано в круговороте природы. И волки нужны — как санитары леса, и мыши нужны — корм для мелких хищников. А для чего нужны эти две молодые жизни — Коли и Васи? Один — уже в земле. Другой хоть и жив, но тоже погиб, и если нет «иной жизни», о чем тоскливо беспокоилась клоунесса, значит, они пропали безвозвратно и навсегда. А ведь зачем-то родились и жили. Могли бы давать тепло — ведь они истопники.

Кто всем этим распоряжается? И почему «он» или «оно» ТАК распорядилось...

Вошли в лес. Стало сумеречно и прохладно.

Инна остановилась и посмотрела на Адама. В ее глазах стояла затравленность.

— Мне страшно,— сказала она.— Я боюсь...

Ему захотелось обнять ее, но он не смел. Инна сама шагнула к нему и уткнулась лицом в его лицо. От него изумительно ничем не пахло, как ничем не пахнет морозное утро или ствол дерева.

Инна положила руки ему на плечи и прижала к себе,

будто объединяя его и себя в общую молекулу. Что такое водород или кислород? Газ. Эфемерность. Ничто. А вместе — это уже молекула воды. Качественно новое соединение.

Инне хотелось перейти в качественно новое соединение, чтобы не было так неустойчиво в этом мире под уставшим солнцем.

Адам обнял ее руками, ставшими вдруг сильными. Они стояли среди деревьев, ошеломленные близостью и однородностью. Кровь билась в них гулко и одинаково. И вдруг совсем неожиданно и некстати в ее сознании всплыло лицо того, которого она любила. Он смотрел на нее, усмехаясь презрительно и самолюбиво, как бы говорил: «Эх ты...» — «Так тебе и надо», — мысленно ответила ему Инна и закрыла глаза.

— Адам... — тихо позвала Инна.

Он не отозвался.

— Адам!

Он, не просыпаясь, застонал от нежности. Нежность стояла у самого горла.

— Я не могу заснуть. Я не умею спать вдвоем.

— А?

Адам открыл глаза. В комнате было уже светло. Тень от рамы крестом лежала на стене.

— Ты иди... Иди к себе, — попросила Инна.

Он не мог встать. Но не мог и ослушаться. Она сказала: иди. Значит, надо идти.

Адам поднялся, стал натягивать на себя новый костюм, который был ему неудобен. Инна наблюдала сквозь полуприкрытые ресницы. Из окна лился серый свет, Адам казался весь дымчато-серебристо-серый. У него были красивые руки и движения, и по тому, как он застегивал пуговицы на рубашке, просматривалось, что когда-то он был маленький и его любила мама. Инна улыбнулась и поплыла в сон. Сквозь сон слышала, как хлопнула одна дверь, потом другая. Ощутила свободу, которую любила так же, как жизнь, и, засыпая, улыбнулась свободе. Провела ладонью по плечу, с удивлением отмечая, что и ладонь и плечо — не прежние, а другие. Раньше она не замечала своего тела, оно имело как бы рабочее значение: ноги — ходить, руки — работать. Но оказывается, все это, вплоть до каждой реснички, может существовать как отдельные живые существа и необходимо не только тебе. Гораздо

больше, чем тебе, это необходимо другому человеку. Инна заснула с уверенностью, что она — всесильна и прекрасна. Ощутила себя нормально, ибо это и есть норма — слышать себя всесильной и прекрасной. А все остальное — отклонение от нормы.

Птицы молчали, значит, солнце еще не встало. Облака бежали быстро, были перистые и низкие.

Цвела сирень. Гроздья даже по виду были тугие и прохладные. Адам посмотрел на небо, его глаза наполнились слезами. Он заплакал по жене. Ему бесконечно жаль стало свою Светлану Алексеевну, с которой прожил двадцать лет и которая была порядочным человеком. Это очень ценно само по себе — иметь дело с порядочным человеком, но, как оказалось, в определенной ситуации это не имело ровно никакого значения.

Он понимал, что должен уйти от нее, а значит, нанести ей реальное зло.

Адам пошел по аллее к своему корпусу. Деревья тянулись к небу, ели — сплошные, а березы — ажурные. Одна береза лежала поваленная, с выкорчеванными корнями. Корни переплелись, как головы звероящера. У одной головы болел зуб и корень-рука подпирал корень-щеку. «Инна»,— подумал Адам.

Пробежал ежик. Он комочком перекатился через дорогу и нырнул в высокую траву. «Инна»,— подумал Адам.

Все живое и неживое слилось у него в единственное понятие: Инна.

Облака бежали, бежали, бежали... Адам остановился, вбирая глазами небо и землю, испытывая гордый человеческий настрой души, какого он не испытывал никогда прежде. Он был как никогда счастлив и как никогда несчастен.

На завтрак Инна пришла позже обычного. Адам ждал ее за столом.

Она волновалась — как они встретятся, что скажут друг другу. Тот человек, которого она любила, умел сделать вид, что ничего не случилось. И так у него это

ловко выходило, что Инна и сама, помнится, усомнилась. И засматривала в его безмятежное лицо.

Инна подходила к столу — прямая и независимая, на всякий случай, если понадобится независимость. Адам поднялся ей навстречу. Они стояли друг против друга и смотрели молча — глаза в глаза, и это продолжалось долго, почти бесконечно.

Со стороны было похоже, будто они глядят на спор: кто дольше?

Кто-то очень умный, кажется даже царь Соломон, сказал о любви: тайна сия велика есть. Тайна — это то, чего не знаешь. Когда-то вода тоже была тайной, а теперь вода — это две молекулы водорода и одна кислорода. Так и любовь. Сейчас это тайна. А когда-нибудь выяснится: валентность души одного человека точно совпадает с валентностью другого и две души образуют качественно новую духовную молекулу.

Адам и Инна стояли и не могли снять глаз друг с друга, и сердце стучало, потому что шла цепная реакция, объединяющая души в Любовь.

— Панкратов! К телефону! — крикнула уборщица тренированным горлом.

— Это меня, — сказал Адам.

— Кто? — испугалась Инна. Ей показалось, он сейчас уйдет и никогда не вернется и душа снова останется неприкаянной, как детдомовское дитя.

— Не знаю.

— Панкратов! — снова гаркнула уборщица.

— Я сейчас, — пообещал он и пошел.

Инна села на стул и опустила глаза в тарелку.

— Можно я у вас спрошу? — обратилась клоунесса. Она не начала сразу с вопроса, который хотела задать, а как бы деликатно постучалась в Инну.

Инна подняла глаза.

— Мне сегодня снилось, будто меня кусала кошка.

— Больно? — спросила Инна.

— Ужасно. Она сцепила зубы на моей руке, и я просто не знала, что мне делать. Я боялась, что она мне выкусит кусок.

— Надо было зажать ей нос, — предложил завязавший алкоголик.

— Зачем?

— Ей нечем стало бы дышать, и она разжала бы зубы.

— Я не догадалась,— клоунесса подняла брови.

— Между прочим, я тоже ужасно боюсь кошек,— сказала жена алкоголика.— Вот я иду мимо них и никогда не знаю, что у них на уме.

Вернулся Адам. Он сел за стол и начал есть.

— Это очень хороший сон,— сказала Инна. Она сказала то, что клоунесса хотела от нее услышать.

Людям совершенно необязательно заранее знать плохую правду. Плохая правда придет сама и о себе заявит. Людям надо подкармливать надежду.

Клоунесса радостно закивала, поверила, что кусающая кошка — вестник прекрасных перемен.

— Жена? — тихо спросила Инна.

Он кивнул.

— Ты уезжаешь?

Он кивнул.

— Навсегда?

— На полдня. Туда и обратно.

Адам поднял глаза на Инну, и она увидела в них, что цепная реакция его души уже совершилась и никакие звонки не в состоянии ее расщепить. Инна хотела улыбнуться, но сморщилась. Она устала.

— Жена уезжает в командировку. Некуда девать собаку. Она попросила, чтобы я ее забрал.

— А как ее зовут? — спросила Инна.

— Кого? Жену?

— Собаку.

— Радда... Она все время радовалась. Мы ее так и назвали.

— Глупая, что ли?

— Почему глупая?

— А почему все время радовалась?

— Оттого что умная. Для радости найти причины гораздо сложнее, чем для печали. Люди любят себя, поэтому им все время что-то для себя не хватает. И они страдают. А собаки любят хозяев и постоянно радуются своей любви.

— Я тебя провожу,— сказала Инна.

— Проводишь и встретишь.

Адам вернулся к вечеру и повел Инну в деревню Манино — ту самую, где шел суд.

Держать собаку в санатории категорически запретили. Адам договорился со старушкой из крайнего дома, и она за пустяковую цену сдала Радде пустую конуру.

Радда без хозяина остаться не пожелала, она так взвыла, что пришлось Адаму поселиться у той же старушки. Он решил, что будет кормиться в санатории, а жить в деревне.

— А какой она породы? — спросила Инна.

— Шотландский сеттер.

Инна в породах не разбиралась и не представляла себе, как выглядит шотландский сеттер, однако оба этих слова ей понравились. За словом «шотландский» стояло нечто еще более иностранное, чем «английский». За этим словом брезжили молчаливые блондины в коротких клетчатых юбках.

Дорога шла через овраг. На дне оврага стучал по камешкам ручей. Через него лежали деревянные мостки с деревянными перилами.

«Как в Шотландии», — подумала Инна, хотя овраг с ручейком и мостиком мог быть в любой части света. Кроме Африки. А может, и в Африке.

— А она красивая? — спросила Инна.

— Она очень красивая, — с убеждением сказал Адам. — Она тебе понравится. Она не может не понравиться.

Он открыл калитку, сбросив с нее веревочную петлю, и вошел во двор. Большая тяжелая собака, улыбаясь всей пастью и размахивая хвостом, устремилась навстречу. Она подняла к Инне морду с выражением: «Ну, что будем делать? Я согласна на все», и Инна увидела, что ее правый глаз затянут плотным сплошным бельмом и напоминает крутое яйцо. Вокруг смеющейся пасти — седая щетина, а розовый живот болтается как тряпка...

— Она старая? — догадалась Инна.

— Ага, — беспечно сказал Адам. — Ей шестнадцать лет.

— А сколько живут собаки?

— Пятнадцать.

— Значит, ей сто десять лет? — спросила Инна. — Она у тебя долгожитель?

Адам тихо, счастливо улыбался, поскольку присутствовал при встрече самых родных и необходимых ему существ.

Из дома вышла старуха и высыпала в траву собачий ужин: остатки каши и размолоченный хлеб. Радда обнюхала и с недоумением поглядела на хозяина.

— Ешь,— приказал Адам.— Ты не дома.

Радда стала послушно есть, и такая покорность была почему-то неприятна Инне. Она поняла, что старая собака будет жрать все, абсолютно все, без исключения, если хозяин прикажет: ешь.

Радда покончила с ужином и угодливо обнюхала каждую травинку, проверяя, не осталось ли чего, и посмотрела на Адама, ожидая похвалы.

— Пошли погуляем,— предложил Адам.

Вышли на дорогу. Собака побежала впереди. Инна обратила внимание, что она не останавливается для малой нужды, как все собаки, а продолжает идти на чуть согнутых и чуть раскоряченных ногах, не прерывая своего занятия. Видимо, ей было жалко тратить на это время. Собака знакомилась со всем, что встречалось ей на дороге: обрывки газет, деревенские собаки, редкие прохожие. Подбегая к людям, она прежде всего обнюхивала конец живота, отчего люди конфузились, смущенно взглядывали на Адама и Инну, и у Инны было такое чувство, будто она участвует в чем-то малопристойном.

— Радда! Фу! — прикрикивал Адам низковатым скрипучим голосом. В раздражении его голос как бы терял соки и становился необаятельным. И можно было себе представить, каков он в раздражении.

— Пойдем на речку,— попросила Инна.

Адам открыл дверцы машины. Радда тут же привычным движением вскочила на переднее сиденье.

— А ну убирайся! — приказал Адам, но Радда и ухом не повела. Ей хотелось быть как можно ближе к хозяину, и она умела не слышать то, что ей не хотелось слышать.

— Ее надо вымыть,— заметила Инна тускло.

— Разве? — удивился Адам, отмечая тусклость ее голоса и теряясь.

— А ты не чувствуешь?

Дорога к реке и река были прежними, но Инна не могла пробиться к прежней радости. Ей что-то мешало, но что именно — она не могла определить.

Радде не мешало ничего. Выскочив из машины на берег, она пришла в неописуемый восторг. Она разогналась и влетела в воду, поплавала там по-собачьи, приподняв нос над водой, потом выскочила на берег, сильно стряхнулась, и брызги веером полетели на Ин-

ну, и в каждой капле отражались все семь цветов светового спектра.

— Убери ее,— тихо и определенно попросила Инна.

Убрать собаку, а самому остаться возле Инны было практически невозможно. Собаку можно было убрать только вместе с собой.

Адам разделся, взял собаку за ошейник и пошел вместе с ней в воду. Инна сидела на берегу, насупившись, и наблюдала, как он выдавил на ладонь полтюбика шампуня и стал мыть собаку. Инна подумала, что этими же руками он обнимает ее вечером, и насупилась еще больше. Освободившись от хозяина, собака выскочила на берег, опрокинулась на спину и стала кататься по земле, как бы назло: дескать, ты меня мыл, а я сейчас запачкаюсь.

— Фу! — сказал Адам, выходя.

Инна не поняла — почему «фу», посмотрела внимательнее и увидела, что собака катается по засохшим коровьим лепешкам.

— Убери ее! — снова потребовала Инна.

— Она что, тебе мешает? — заподозрил Адам.

Инна внимательно посмотрела на Адама и вдруг увидела, что они похожи со своей собакой: та же седая желтизна, то же выражение естественности на длинном лице. И то же упрямство. Чем бы их желания ни были продиктованы, пусть даже самыми благородными намерениями, но они всегда делали так, как хотели,— и Радда, и Адам. Эта собачья преданность была прежде всего преданностью себе.

— Да,— сказала Инна.— Мешает.

— Тогда как же мы будем жить?

— Где? — не поняла Инна.

— В Москве. У тебя. Я же не смогу ее бросить. Я должен буду взять ее с собой.

— Кого? — растерялась Инна.

— Собаку, кого же еще.

Это было официальное предложение. И все остальное теперь зависело только от нее. Значит, не зря она приехала в санаторий и так дорого заплатила за путевку и за подарок той тете, которая эту путевку доставала.

— Ты еще сам не переехал,— растерянно сказала Инна.— А уже собаку свою тащишь...

Решено было, что стены прихожей они обошьют деревом, а спальню обтянут ситцем, и тогда спальня будет походить на шкатулку. А гостиную они оклеят нормальными обоями, но изнаночной стороной. И гостиная будет белая. Она видела такую гостиную в доме у иностранцев. Книжных полок решили не покупать, а сделать стеллажи из настоящих кирпичей и настоящих досок. На кирпичи положить доски и укрепить, чтобы не рассыпались. Такое она видела в иностранном журнале. Было решено — никаких гарнитуров, никакого мещанства. Основной принцип — рукоделье, то есть дело рук, а значит, и творчества.

Еще было решено, что вить гнездо они начнут после того, как Адам разведется с женой и официально распишется с Инной. Можно было бы принять другой план: сначала съехаться и обивать спальню ситцем, а потом уже разводиться и расписываться. Но Инна боялась, что, если согласится на этот план, Адам начнет тянуть с разводом и, в конце концов, захочет сохранить обеих женщин, как это сделал тот человек, которого она любила. Потому что в каждой женщине есть то, чего нет в другой.

Срок пребывания в санатории подходил к концу. Они каждый день гуляли втроем: Адам, Инна и Радда, и каждый раз выбирали новые маршруты, чтобы разнообразить впечатления. Адам в угоду Инне орал на собаку, но собака не обижалась. Для нее было главное, чтобы хозяин находился рядом. Когда он уходил и оставлял собаку одну, в ней образовывалось чувство, похожее на голод, с той разницей, что голод она могла терпеть, а этот, душевный голод — нет. Каждая секунда протягивалась в бесконечность, и в этой бесконечности сердце набухало болью и работало как бы вхолостую, без крови, и клапана перетирались друг о друга. И собаке казалось: если это состояние не кончится, она взбесится. И тогда она начинала рыдать в конуре. Выходила старуха и что-то говорила, но Радда не слышала ее сквозь отчаянье. Потом возвращался хозяин, и сердце сразу наполнялось горячей кровью и все успокаивалось внутри.

Адам любил свою собаку, но в присутствии Инны он стеснялся и даже боялся это обнаружить. Он испытывал к Инне то же самое, что Радда к нему. В отсутствие

Инны он слышал в себе тот же самый душевный голод и так же трудно его переносил. Инна понимала это и догадывалась, что, если она скажет: «Адам!» — и бросит палку в кусты, он тут же помчится со всех ног, путаясь в ногах, и принесет ей эту палку в зубах, и, приподняв лицо, будет ждать, что ему дадут кусочек сахару или погладят по щеке.

Инна наслаждалась своей властью и временами была почти счастлива, но все же что-то ей мешало. Если бы понять — что именно. И однажды поняла.

Это было в полдень.

Они вышли в поле, похожее на степь, покрытое шелковым ковылем. Радде что-то показалось подозрительным, и она осторожно вошла в ковыль.

— Мышь,— предположил Адам.— Или крот.

Он крикнул какой-то охотничий термин. Радда вся напряглась и забеспокоилась.

— Челноком идет,— сказал Адам, будто Инна что-то в этом понимала.

Собака красиво стелилась по полю. Отсюда было не видно ее бельмастого глаза, высокая трава скрывала дряблый живот. Была видна только узкая породистая морда, темно-коричневая спина и вдохновенный ход гончей собаки.

Адам с любовью и родительской гордостью смотрел на Радду и приглашал глазами Инну разделить его любовь и гордость. И сам в это время был похож на студента, и очки поблескивали на солнце.

— Как молодая,— сказал Адам. И в этот момент Инна отчетливо поняла, что ей мешало. КАК. Собака шла КАК молодая, но она была старая. И то, что случилось у нее с Адамом,— КАК любовь. И даже с официальным предложением и ситцевыми стенами. Но это — не любовь. Это желание любви, выдаваемое за любовь. И тот человек, которого она любила, всплыл перед глазами так явственно, будто стоял возле крайней березы. Их отношения последнее время были похожи на боксерский матч — кто кому сильнее врежет. С той разницей, что в боксе сохраняются правила игры, а они без правил, в запрещенные места. И сейчас, уехав в санаторий и присмотрев себе Адама, врезала она. Так, чтоб не встал. Но он встал и стоял возле крайней березы, усмехаясь, вытирая кровь с зубов.

А собака все шла над шелковым ковылем.

А Адам весь светился, щурясь.

А Инна стояла — побежденная и глухая от навалившейся пустоты. И все это происходило средь бела дня под радостным полуденным солнцем. И где-то улепетывала от собаки несчастная мышь. Или крот.

Срок Инны заканчивается на неделю раньше, чем у Адама. Но Адам тоже решил прервать отпуск и вернуться в Москву. У него была тысяча дел: разводиться, расписываться, размениваться, разговаривать с начальством. Предстоящий развод несколько тормозил его продвижение по престижной лестнице. Но престижная лестница в его новой системе ценностей не стоила ничего. Полторы копейки. Престиж — это то, что думают о тебе другие. А какая разница, что подумают, сидя у себя дома, Кравцов или Селезнев.

Служебные удостоверения, ордена, погоны, бриллианты, деньги — это то, что человек снимает с себя на ночь и кладет на стол или вешает на стул — в том случае, если это китель. А все, что можно снять и положить отдельно от себя, не имело больше для Адама никакого значения. Имело значение только то, с чем он ложился спать: здоровье, спокойная совесть и душевное равновесие. И женщина. А точнее — Любовь. А еще точнее — это дети. Много детей: трое, четверо, пятеро — сколько бог даст. Он будет водить их в зоопарк, показывать носорога и покупать мороженое. Он построит им дом на зеленой траве, чтобы на участке стояли сосны и росла земляника. Он будет в жаркую погоду ходить босиком по душным сосновым иголкам и спокойно, счастливо стареть. Старость — это тоже большой кусок жизни, и в нем есть свои преимущества, тем более что молодость и зрелость у Адама счастливыми не были, и он все время ждал перемен. В молодости они с женой очень долго снимали углы, потом комнаты. Адам привык считать себя временным жильцом, и это ощущение временности невольно ассоциировалось со Светланой.

В Воркуте (Адам ездил туда в командировку) он встречал многих людей, которые приехали за Полярный круг, чтобы заработать деньги на лучшую жизнь, а потом вернуться на материк и начать эту лучшую жизнь. Они жили в полярной ночи, зевали от авитаминоза, жмурились от полярных ветров и были по-своему счастливы, однако считали эту жизнь черновым ва-



14–751

риантом. Так проходили десять, двадцать и даже тридцать лет. А потом они возвращались на материк и скоро умирали, потому что менять климат после определенного возраста уже нельзя. Организм не может адаптироваться.

Адам решил для себя не ждать больше ни одного дня, уехать на свой материк, обтянуть спальню ситцем и зачать детей, пока не стар. Нет и пятидесяти. Говорят, в этом возрасте создаются самые удачные дети. Еще ни одного гения не произошло от молодого отца.

Поднимаясь по лестнице, Адам мечтал, чтобы Светланы не оказалось дома. Он не представлял себе, как скажет ей о том, что уходит. Это все равно что подойти к родному человеку и, глядя в глаза, сунуть под ребра нож, как истопник из деревни Манино. И при этом приговаривать: «Ну вот... все... уже не больно. Видишь? А ты боялась...»

Светлана оказалась дома, но у нее сидела подруга Райка. А при постороннем человеке говорить было неудобно. Да и невозможно. Адам ненавидел эту вымогательницу Райку, она вымогала из Светланы все, что ей удавалось, с искусством опытной попрошайки. Адам даже усвоил ее систему: сначала Райка начинала жаловаться на свою жизнь и приводила такие убедительные доводы, что ее становилось жаль. Потом начинала извиняться за предстоящую просьбу, и извинялась так тщательно, что хотелось тут же все для нее сделать. Потом уже шла сама просьба, просьба ложилась на подготовленную почву, и эта дуреха Светлана готова была тут же стащить с себя последнюю рубаху, и если надо — вместе с кожей. Может, и кожа пригодится для пересадки.

— У тебя нет пятидесяти рублей? — шепотом спросила Светлана, оглядываясь на комнату.

— Сначала надо сказать «здравствуй», — посоветовал Адам и подумал при этом, что вот он бросит Светлану и эта Райка растащит ее по частям, унесет руки и ноги. Заставит сбрить волосы себе на парик и поселит в квартире своих родственников, а Светлану заставит жить в уборной, мыть руки в унитазе.

— Здравствуй, — Светлана осветилась лицом и прижала к себе морду Радды.

Радда постояла, заряжаясь от хозяйки теплом и лю-

бовью, а потом тихо пошла на свое место и легла на тюфяк. Она устала от дороги.

— Пятьдесят рублей,— напомнила Светлана.

— Есть,— сказал Адам.— Но я не дам.

— Тише...— Светлана сделала испуганные глаза.

Адам вошел в комнату. Райка сидела среди подушек. Светлана купила в универмаге штук десять подушек и пошила на них синие вельветовые чехлы. На вельвет липли собачьи волосы, которые не брал пылесос, и надо было снимать каждую волосинку отдельно. Каждый раз, когда Светлана пыталась навести уют, это оборачивалось в свою противоположность.

— Вадим, ты прекрасно выглядишь! — искренне восхитилась Райка, вскинув на него крупные наглые глаза.

— Ты тоже,— сказал Вадим, чтобы быть вежливым.

Райка сидела в платье с низким декольте. Она всегда носила низкие декольте, видимо, ей сказали, что у нее красивые шея и грудь. Может быть, когда-то это было действительно красиво, но сейчас Райке шел сорок девятый год, и эти сорок девять лет были заметны всем, кроме нее самой. На вопрос: «Сколько тебе лет?» — она отвечала: «Уже тридцать семь»,— и при этом надевала выражение, которое она усвоила в детском саду,— выражение счастливого, незамутненного детства. И такой же голос — под девочку, едва начавшую говорить. И Вадиму всегда хотелось ее спросить: «Девочка, ты не хочешь пи-пи?»

— У него нет денег,— виновато сказала Светлана.

— Есть,— возразил Адам.— Но они мне нужны.

— Я сейчас у соседей попрошу,— смутилась Светлана и пошла из комнаты. Она шла, странно ступая, будто ее ноги были закованы в колодки.

— Что у тебя с ногами? — спросил Адам.

— Она мои туфли разнашивает,— ответила Райка.— Я купила, а они мне малы.

— Так ей они тем более малы. У нее же нога больше.

— Потому она и разнашивает.

Адам решил не продолжать разговор. Они с Райкой существовали каждый на своей колокольне и не понимали друг друга. Адам думал о Светлане, а Райка — о туфлях.

— Как у тебя настроение?—участливо спросила Райка.

Адам глянул на нее, и ему показалось, что, если он пожалуется на настроение, Райка тут же предложит его исправить. По отношению к Светлане она была не только вымогательница, но и предательница. Светлана совершенно не разбиралась в людях, вернее, изо всех людей она предпочитала тех, с кем бы можно было делиться собой и они бы в этом нуждались. Но дружба — процесс двусторонний. Светлана мирилась с односторонностью и, сталкиваясь со злом, только удивлялась и недоумевала. Как Радда. У них были одинаковые характеры.

— У меня все в порядке,—сказал Адам, глядя на свои руки, чтобы не смотреть на Райку.— А ты как?

— Я? Банкрот.

— То есть?

— Ждала у моря погоды и осталась у разбитого корыта.

— Почему?

— Потому что я всегда искала звезд. А их нет.

То есть «звезды» при ближайшем рассмотрении оказались обычными пьющими мужиками, но с фанабериями и дурным характером.

— Тебе сейчас сколько лет?—спросил Вадим.

— Тридцать семь уже.— Райка всхлопнула ресницами, и уголки ее губ летуче вспорхнули вверх.

Вошла Светлана и тут же села, не в силах стоять на ногах. Ее ступни вспухли и наплывали на туфли подушками. От всего ее облика исходило изнурение.

— Голодает,—сказала Райка.— Идиотка.

— Ты голодаешь?—спросил Адам.

Светлана начиталась переводной литературы о пользе голодания и время от времени приносила своему организму реальную пользу.

— Сегодня на соках,—ответила Светлана.

— Она уже четыре дня на соках,—уточнила Райка.— Потом четыре дня будет пить зеленый чай с медом. Потом четыре дня есть протертую пищу. А потом ты отвезешь ее в крематорий.

— Вот деньги,—Светлана протянула деньги одной бумажкой.

— Я через неделю отдам,—пообещала Райка.

— Не думай об этом. В крайнем случае — я отдам, а ты мне, когда сможешь.

Адам поднялся и пошел на кухню. Светлана вышла следом.

— Сними туфли! — приказал он.

— Почему?

— Потому что тебе больно! Потому что у тебя будет гангрена!

— Это неудобно. Она уйдет, тогда я сниму.

— Я сейчас сам сниму и дам ей туфлей по морде.

— Но что же делать? Они ей малы...

— Пусть отнесет в растяжку, в обувную мастерскую.

— Да. Но там наливают воду, и обувь портится.

Светлана тоже стояла на Райкиной колокольне и думала не о своих ногах, а о ее туфлях. Адам смотрел на жену. Она исхудала, и ее глаза светились одухотворенным фанатическим блеском. Лицо она намазала кремом, смешанным с облепиховым маслом, от этого оно было желтым, как у больной.

Адам сел перед ней на корточки и с трудом стащил туфли, они были малы размера на три.

— Прекрати голодать,— попросил Адам.

— Жаль прерывать. Столько мучилась. Только четыре дня осталось.

«Через четыре дня и скажу,— подумал Адам.— А то она просто не выдержит». Решив это, он успокоился, и даже Райка перестала казаться такой зловещей фигурой. Просто несчастная баба со своими приспособлениями.

Адам вернулся в комнату и сказал Райке:

— В каждом проигрыше есть доля выигрыша. И наоборот.

— Ты о чем? — не поняла Райка.

— О разбитом корыте. Может быть, оно было гнилое, это корыто. Тридцать семь лет — еще не вечер.

Райка усмехнулась.

Адам сел на диван в вельветовые подушки. Райка и Светлана стали чирикать какие-то светские сплетни, хотя им правильнее было бы чирикать о внуках. Сплетни Адама не интересовали. Он прикрыл глаза и, как в воду, ухнул в воспоминания.

...Они вернулись после суда. Инна сказала: не уходи... и стала его целовать, целовать, целовать, будто

сошла с ума,— каждый палец, каждый ноготь, каждый сустав, и он не мог ее остановить, и ему казалось, что он попал под бешеную летнюю грозу, когда земля смешивается с небом...

Адам сидел, прикрыв глаза. Сердце его сильно стучало, а под ребрами, как брошенная собака, выла тоска.

— Я пойду погуляю с Раддой.

Он взял собаку и пошел звонить в телефон-автомат.

Радда неуклюже полезла в телефонную будку, но Адам ее не пустил, отпихнул ногой и плотно прикрыл дверь. Он хотел быть наедине с Инной.

Заныли гудки. Потом он услышал ее голос.

— Это я,— сказал Адам, волнуясь.— Ну, как ты?

— Противно в городе,— сказала Инна.

— В городе очень противно. Я к тебе сейчас приеду. Но я не один.

— А с кем?— удивилась Инна.

— С собакой.

— Не надо.

— Почему?

— Она линяет.

Подошел человек и сильно постучал монетой по стеклу.

— Я тебе перезвоню,— пообещал Адам. Он не мог говорить с Инной, когда ему мешали. Не мог раздваиваться, должен был принадлежать только ей.

Адам вышел из телефонной будки. Радды не было. «Придет,— подумал он,— куда денется...»

Он стоял и ждал, пока поговорит тот, с монетой. Потом подошла женщина. Он переждал и ее, невольно прислушиваясь к разговору. Женщина кричала, что ее муж совершенно не выходит на улицу, гуляет на балконе пятнадцать минут в день. А если выходит из дома — только за водкой, а прогулка сама по себе для него невыносима и вообще невыносимо состояния здоровья. Здоровье он воспринимает как болезнь.

Радда не появлялась. Адам забеспокоился и пошел домой. Дома ее тоже не было. Он снова спустился вниз и пошел к автомату, надеясь, что Радда стоит там и ждет. Но возле автомата ее не было.

Адам пошел дворами, приглядываясь к собакам-одиночкам и собачьим компаниям. Вышел на площадь. Их дом стоял неподалеку от вокзала. Адам подумал

вдруг, что ее могли украсть приезжие и увезти на поезде. С тем чтобы охотиться. Шотландские сеттеры — это лучшие охотничьи собаки и на Птичьем рынке стоят сто рублей. Он пересек площадь и пошел к пригородным электричкам. Ходил вдоль поездов, толкаясь в толпе, и громко звал: «Радда! Радда!» — и все на него оборачивались.

Потом он снова пересек площадь, вернулся к автомату и стоял не меньше двух часов. Несколько раз он порывался уйти и уже уходил, но снова возвращался и стоял как столб. Часы на вокзале показывали уже одиннадцать вечера.

Адам вошел в будку, набрал номер Инны и сказал:

— У меня пропала собака.

— Тогда приезжай, — сказала Инна.

— Не могу.

— Почему?

— У меня пропала собака.

Они замолчали, и это молчание было исполнено взаимного непонимания. Адам подумал вдруг, что его колокольня, наверное, самая неудобная и прошита сквозняками, потому что никто не хочет лезть на нее вместе с ним.

Вадим проснулся среди ночи, будто кто-то тронул его за плечо. Он выбыл из сна и явственно понял: собаку украли. Кто-то поманил ее, она пошла, потому что еще ни разу за все свои шестнадцать лет не встречалась со злом и даже не представляла, что оно есть на свете. Вадим купил ее недельным щенком, они со Светланой любили ее как дочку. Радда питалась их добротой, любовью и не представляла, что есть другая пища. Они никогда не бросали Радду, никому не доверяли, и если кто-то один уезжал в отпуск или в командировку, то другой оставался с собакой. А сейчас она на несколько минут осталась на улице одна, и ее украли. Ее позвали, она пошла. Вадим представил себе, что будет, когда вор увидит, что она старая и почти слепая. Что он сделает с ней? Выгонит? Или убьет? Хорошо, если убьет. А если выгонит? Вадим представил себе свою собаку — слепую и больную, с хроническим заболеванием почек. Он делал ей уколы антибиотиков, и она сама подходила к нему и подставляла ногу под иглу. Вадим предста-

вил себе растерянность и недоумение Радды, если ее будут бить. Именно недоумение, потому что она не знала, что это такое.

Вадим резко сел на постели. Он увидел, что Светлана тоже сидит.

— Как это могло случиться? — Она протянула к нему руки, плача, будто желая получить ответ прямо в ладошки.— Как?

«Я вас предал — вот как,— подумал Вадим.— И ее. И тебя».

— Может быть, завтра вернется,— сказал он.— Просто заблудилась.

Ребенок орал, надрывался, семнадцатилетняя Пескарева преспокойно отправилась в туалет.

— О! Мамаша называется,— осудила Инна.— Ребенок орет, а ей хоть бы что...

— Не привыкла еще,— сказала Ираида.— Сама еще ребенок. Ей в куклы играть.

На посту зазвонил телефон. Ираида сняла трубку, послушала и сказала:

— Тебя.

Инна взяла трубку и побледнела. Кровь отлила от головы, сердце забарахталось, не справляясь. Это был тот человек, которого она любила.

— Когда и где? — спросила Инна. Все остальные вопросы были лишними, тем более что ее ждали грудные дети, которые имели право не ждать.

— Семь,— сказал он.— Телевизионная башня.

«Почему телевизионная башня?» — подумала Инна, отходя к орущему ребенку. А потом вспомнила, что он живет возле ВДНХ, и значит, до телевизионной башни ему удобно добираться. А то, что ей пилить через всю Москву, так это ни при чем. К тому же он передвигается на собственной машине, а она на общественном транспорте.

Инна взяла ребенка на руки. Он был запеленат под грудку, а ручки свободны, и он поджал их, как зайчик. У него была послеродовая желтушка и черные волосики, и он походил на япончика. Подошла семнадцатилетняя Пескарева, взяла своего япончика, достала полудетскую грудь. Ребенок забеспокоился, дернул личиком вправо — промахнулся мимо соска, потом влево —

опять промахнулся, и в третий раз попал точно, вцепился. Инна подумала: недолет, перелет, цель. Так же обстреливают с воздуха, и этот военный маневр называется «вилка».

Япончик мощно тянул материнское молоко, постанывая от жадности. Инне вдруг стало пронзительно жаль этого ребеночка и его маленькую маму. Стало жаль всех на свете, и себя среди всех. Она поняла, что из встречи ничего путного не получится. Нечего и ходить.

— Ну? — спросил он с насмешкой.— Отдохнула?

— Отдохнула,— осторожно ответила Инна, пытаясь определить дальнейший ход беседы.

Пока она ехала к нему на трех видах транспорта, все думала, что он ей скажет, и проговаривала про себя варианты.

Первый: он скажет: «Я так устал бороться с собой и с тобой. Вся душа испеклась и скукожилась, как обгорелая спичка. Давай больше не будем расставаться ни на секунду. Положим души в любовь. Пусть отмокнут».

Второй: «Привык я к тебе, как собака к палке. Давай поженимся, черт с тобой». Она спросит: «А твои причины?» Он скажет: «Нет причины главнее, чем любовь».

Третий, самый неблагополучный вариант: он скажет: «Инна, подожди еще четыре месяца». Тогда она с достоинством подожмет губы и ответит: «Но не больше ни на минуту». И они отсчитают ровно четыре месяца от сегодняшнего дня, назначат день, час и место. Назначат, когда и где им предстоит встретиться, чтобы больше не расставаться.

— Ну что? — спросил он.— Нашла себе?

Инна внимательно смотрела в его лицо, пытаясь разгадать по его глазам хотя бы один из вариантов, но беседа шла по какому-то иному логическому ходу. Ни одного из вариантов не предусматривалось. Видимо, его причины были все-таки главнее, чем любовь. И это по-прежнему были его причины, а не ее. Инне захотелось сказать: «Нашла». Тогда он бы спросил: «А зачем же ты пришла?»

Она: «А зачем ты звал?»

Он: «Посмотреть».

Она: «Посмотрел?»

Он: «Посмотрел».

Она: «Ну, пока».
Он: «Пока».
И она уйдет. И чужие старые собаки, размахивая пузом, будут скакать вокруг ее жизни.
— А я и не искала,— ответила Инна.
— А почему так долго думала? — не поверил он.
— Вспоминала.
— Врешь?
— А зачем мне искать? Ты есть у меня.
Дальше он должен был сказать: «Я так устал от разлуки» и т. д. Но он самодовольно сморгнул, как человек, который боялся, что его обворовали, но вот он зажег свет и убедился, что все на месте. Он успокоился, самодовольно сморгнул и предложил:
— Давай посмотрим «Пустыню».
Фильм только что вышел, и там были заняты замечательные артисты. Он включил зажигание и, глядя через плечо, попятил машину. Инна поняла: программа была прежней. Сейчас они пойдут в кино, потом поедут к ней, а потом он пойдет домой. Все как раньше. С той разницей, что раньше она ждала, а сейчас вопрос ожидания был снят с повестки. Новая схема была такая: устраивает — пожалуйста, не устраивает — пожалуйста. Можно было не предполагать и не догадываться, а просто спросить об этом. Но тогда на прямой вопрос она получит прямой ответ, и после этого оставаться в машине будет невозможно. Надо будет уйти. А она так давно его не видела.
Подъехали к кинотеатру.
— Поди посмотри, что там,— велел он.
Инна вышла из машины и стала подниматься по широкой лестнице к кассам. Захотелось вернуться и спросить: а почему я? Кто из нас двоих мужчина? Вспомнила, как они с Адамом выходили из магазина. Он открыл перед ней дверь. За дверью стоял нетрезвый плюгавый мужичонка, и Адам чуть не снес этого мужичонку с поверхности земли.
— Осторожно...— сказала Инна.
— Пусть он сам «осторожно»,— возразил Адам.— Идет королева.
А тут королева пилит через всю Москву на трех видах транспорта, теперь бежит к кассам, потом повезет его к себе домой, будет утешать, шептать на ухо, сколько он достоинств в себе совмещает. И это вместо того,

чтобы держать возле груди своего собственного япончика...

Сеанс был неподходящий, и фильм шел плохой, хоть и итальянский.

— Вы не скажете, где идет «Пустыня»? — спросила Инна у кассирши.

— Позвоните ноль пять,— предложила кассирша.

Инна нарыла в кармане монету, подошла к автомату и набрала 05. Разумный женский голос тут же отозвался:

— Тринадцатый слушает.

— Скажите, пожалуйста, где идет фильм «Пустыня»? — спросила Инна, дивясь, что женщина под номером «тринадцать» спрашивает и слушает так внимательно и индивидуально, будто находится не на работе, а дома.

— Позвоните, пожалуйста, через десять минут,— интеллигентно попросила женщина, будто действительно была не на работе, а дома, и варила кофе, и боялась, что он убежит.

— Я не могу через десять минут! — крикнула Инна.

Но трубку уже положили.

Инна снова вернулась к кассирше.

— Скажите, пожалуйста, а у вас есть...— она зашевелила пальцами,— ну как это... киношное меню?

— Что? — не поняла кассирша.

— Ну... такой листок, где написано, где что идет.

— Обойдите кинотеатр с другой стороны. Там должно быть.

Инна вышла и стала спускаться по лестнице, чтобы обойти кинотеатр. Следом за ней шли два здоровенных парня, или молодых мужика.

— Я за три дня побывал в Ереване, Тбилиси и Баку,— сказал один другому.

— Значит, ты не был нигде,— ответил другой.— Ни в Ереване, ни в Тбилиси, ни в Баку. Правда, девушка?

— Он был в самолете,— сказала Инна и оглянулась на машину. Ей хотелось, чтобы Он увидел ее и увидел, что она нравится и годится на большее, чем на то, чтобы ею забивали недостающие участки в жизни. Как чучело паклей. Но Он не увидел. Он смотрел перед собой. Его лицо было мрачным и сосредоточенным, и Он походил на собственную жертву.

Инна обошла кинотеатр, но меню не увидела. Она

решила, что была невнимательна, и пошла во второй раз, ощупывая глазами стены. И вдруг она поймала себя на том, что кружит, как лошадь в шахте. Мать рассказывала, что в прежние времена в шахтах работали лошади и двигались по кругу десять и двадцать лет. Потом они слепли, но не знали об этом, потому что в шахте все равно темно. А потом их поднимали на землю, но они уже не могли видеть ни неба, ни травы. И, очутившись на земле, начинали ходить по кругу, хотя это было уже не надо. Но иначе они не умели.

Инна сошла с круга, пересекла дорогу и направилась к автобусной остановке. Подошел автобус. Она вошла в него и села на сиденье, которое было выше остальных. Автобус тронулся. Инну стало сильно трясти, и она догадалась, что сиденье располагается на колесе. Она пересела поближе к водителю, но тогда по ногам пахнуло жаром, видимо, в этом месте была отопительная система.

Инна встала и поехала стоя в полупустом автобусе, держась за ручку. Думала о том человеке, которого она любила. Он, наверное, решит, что Инна стоит в длинной очереди за билетом. Потом ему надоест ждать, он выйдет из машины и поднимется по лестнице к кассам. Там он спросит у кассирши: «Вы здесь не видели... такую высокую блондинку?» Потом он обойдет вокруг кинотеатра, вернется в машину, подождет еще немного и поедет домой. А во втором случае, то есть в том случае, если бы Инна не ушла, они вдвоем бы пошли в кино, потом он проторчал бы у Инны, а потом поехал домой. Во всех случаях он возвращался домой, как самолет на аэродром. Полетает и приземлится. Но у самолета — расписание и график, а у этого — свободный полет. У него никто не спрашивает отчета. Он пользуется полной свободой внутри жестоких обязательств. Как орел в зоопарке. Инна вспомнила его мрачное лицо, подумала, что никакой он не орел и не самолет. Несчастный человек. И его причины — действительно очень уважительные причины, и он горит с четырех сторон, как подожженная газета. И он любит ее, Инну, как сейчас говорят, по-своему. Наверное, ту лошадь в шахте тоже любили по-своему, и по-своему сочувствовали, и давали ей с ладони сахар и пряники.

Инна доехала до станции метро, сошла с автобуса и разыскала телефонную будку. Набрала номер Адама.

Номер состоял только из четных чисел, легко запоминался, был прост и ясен, как Адам. Запели гудки. У Инны было сейчас состояние как тогда, в лесу, после суда. Хотелось сказать: «Мне страшно. Спрячь меня. Спаси. Черт с ней, с твоей собакой. Не вечная же она, в конце концов...»

...В этот день с утра Вадим Панкратов отправился на работу в патентное бюро, но ни на чем не мог сосредоточиться. Он полулежал на стуле в своем кабинете, вытянув ноги, и думал о том, что «депрессия» происходит от слова «пресс». Тяжелый пресс давит на нервы, и они отказываются реагировать на любые раздражители: приятные — вроде встречи с сотрудниками — и неприятные — вроде голода. Вадим не мог ни есть, ни радоваться.

— Что с вами? — заметил Нисневич.

Нисневич — начальник и порядочный человек. Он был разным — таким и другим, но всегда порядочным.

— У вас такой вид, будто случилось несчастье.

— Вы угадали,— сказал Вадим.— У меня несчастье. Пропала собака.

— А... Это я понимаю,— серьезно посочувствовал Нисневич.— У меня у самого в прошлом году кот с балкона упал. Так верите, стыдно сказать, я смерть тещи меньше переживал. Правда, мы жили в разных городах...— как бы извинился Нисневич.

Вадим посидел на работе еще час и отправился домой и, пока шел, вдруг уверовал, что в его отсутствие Радда вернулась домой. Нюх у нее, конечно, ослаб с годами, но все же это — собачий нюх, и Радда уже дома, и Светлана уже вымыла ее в ванне и накормила супом с пельменями и кусочками докторской колбасы. Он придет домой, и они обе его встретят. Вадим представил себе их глаза, когда они его встретят: серые Светланы и рыжие Радды. И ускорил шаги.

Возле своей двери он стоял какое-то время — очень сильно стучало сердце. Потом решился и позвонил. Дверь отворилась в ту же секунду, будто Светлана стояла за дверью. Взметнулись и замерли ее глаза. Вадим увидел в них, что Светлана ждала их вдвоем: его и Радду. Она почти уверовала, что Вадим разыщет собаку и они вернутся вместе. Но Вадим стоял один. И Светлана — одна. Взметнулись и замерли ее глаза. Это взметнулась и замерла надежда. Надежда повисе-

ла в воздухе какое-то мгновение, как всякий подброшенный предмет, и рухнула.

Светлана ничего не сказала, повернулась и пошла на кухню.

Вадим тоже ничего не сказал, прошел в комнату и лег на диван лицом к стене. Депрессия диктовала организму именно эту позу. Он закрыл глаза, чтобы проникало как можно меньше раздражителей, и тут же увидел взгляд Светланы и понял, что такими одинаковыми взглядами он мог обменяться только с женой и больше ни с одним человеком на всем свете. Они существовали с ней на одной колокольне, и как бы там ни бывало скучно, а иногда и безнадежно, все-таки это была одна колокольня. Вадим подумал, что если бы он ушел от Светланы, то, наверное, через какое-то время вернулся обратно, потому что нельзя надолго уйти от совести. Светлана была не только его человек, она еще сама по себе была порядочным человеком. Бывают, конечно, моменты, когда порядочность не имеет никакого значения. Но это моменты. А в конечном счете — в черные дни, да и в серые, и даже в розовые порядочность — это единственное, что имеет значение. Потому что порядочность — это совесть. А совесть — это бог. А Вадим — человек верующий.

Вошла Светлана, и в ту же секунду зазвонил телефон. Звонок был частый, требовательный, похожий на международный. Вадим почувствовал, что это Инна.

— Скажи, что меня нет дома,— попросил Вадим.

Светлана сняла трубку и обернулась к Вадиму.

— Тебя...

— Я же просил.

— Ну, я не могу...

Светлана не умела врать физически. Для нее соврать — все равно что произнести фразу на каком-нибудь полинезийском языке, которого она не только не знала, но никогда не слышала.

Вадим встал и взял трубку.

— Адам...— позвала Инна.

Он молчал. Не из-за Светланы. Из-за Радды. Инна не любила собаку, и она устранилась. Развязала ему руки. И сейчас общаться с Инной как ни в чем не бывало — значит предать не только Радду, но и память о ней.

— Адам...

— Здесь таких нет. Вы не туда попали.

Он положил трубку.

— Какого-то Адама...

Вадим снова лег на диван и закрыл глаза. И увидел: бежали, бежали, бежали низкие облака. Вдоль дороги лежал печальный звероящер, и корень-рука подпирала корень-щеку.

Инна вышла из телефонной будки и направилась через дорогу. На середине дороги зажегся зеленый свет, и машины двинулись сплошной лавиной.

Инна стояла среди прочих пешеходов и пережидала движение. Вдруг увидела того человека, которого она любила. Его машина шла в среднем ряду. Инна подумала: он ждал меньше часа. Однако минут сорок все же ждал. Она увидела, что он ее тоже увидел. Улыбнулась доброжелательно и равнодушно, как хорошему знакомому, и мелко встряхнула головой, дескать: вижу, вижу... очень приятно. Он все понял. Он был умница — за это она и любила его так долго. Он понял, и тоже улыбнулся, и поехал дальше. И его машина затерялась среди остальных машин.

Инна вдруг почувствовала замечательное спокойствие. Она поняла, что Адам и тот человек, которого она любила, были каким-то странным образом связаны между собой, как сообщающиеся сосуды. И присутствие в ее жизни одного требовало присутствия другого. Когда один ее унижал, то другой возвышал. Когда один ее уничтожал, то другой спасал. А сейчас, когда один проехал мимо ее жизни, исчезла необходимость спасаться и самоутверждаться. Значит, исчезла необходимость и в Адаме. Адам мог сочетаться только в паре, а самостоятельного значения он не имел. Не потому, что был плох. Он безусловно представлял какую-то человеческую ценность. Просто они с Инной — из разных стай, как, например, птица и ящерица. Неважно — кто птица, а кто — ящерица. Важно, что одна летает, а другая ползает. Одной интересно в небе, а другой — поближе к камням.

Зажегся красный свет, и пешеходы двинулись через дорогу. Навстречу Инне шли люди разных возрастов и обличий, и среди всех бросалась в глаза яркая загорелая блондинка, похожая на финку с этикетки плавлено-

го сыра «Виола». Инна невольно обратила на нее внимание, потому что «Виола» бросалась в глаза и очень сильно напоминала кого-то очень знакомого. «На кого она похожа? — подумала Инна. — На меня». «Виола» шла прямо на Инну, не сводя с нее глаз до тех пор, пока Инна не сообразила, что это она сама отражается в зеркальной витрине магазина. Она шла себе навстречу и смотрела на себя как бы со стороны: вот идет женщина неполных тридцати двух лет. Выглядит на свое. Не моложе. Но и не старше ни на минуту. Это не много — тридцать два года. И не мало. С какой стороны смотреть: на пенсию — рано. Вступать в комсомол — поздно. А жить и надеяться — в самый раз. И до тех пор, пока катится твой поезд, будет мелькать последний вагон надежды.

## Я ЕСТЬ. ТЫ ЕСТЬ. ОН ЕСТЬ

*Повесть*

Анна ждала домой взрослого сына.

Шел уже третий час ночи. Анна перебирала в голове все возможные варианты. Первое: сын в общежитии с искусственной блондинкой, носительницей СПИДа. Вирус уже ввинчивается в капилляр. Еще секунда — и СПИД в кровеносной системе. Плывет себе, отдыхает. Теперь ее сын умрет от иммунодефицита. Сначала похудеет, станет прозрачным и растает как свеча. И она будет его хоронить и скрывать причину смерти. О Господи! Лучше бы он тогда женился. Зачем, зачем отговорила его два года назад. Но как не отговорить: девица из Мариуполя, на шесть лет старше. И это еще не все. Имеет ребенка, но она его не имеет. Сдала государству до трех лет. Сдала на чужие руки — а сама на поиски мужа в Москву. А этот дурак разбежался, запутался в собственном благородстве, как в соплях. Собрался в ЗАГС. Анна спрятала паспорт. Чего только не выслушала. Чего сама не наговорила. В церковь ходила. Богу молилась на коленях. Но отбила. Победа. Теперь вот сиди и жди.

Нервы расходились. Надо взять себя в руки. Надо поговорить с собой.

«Перестань,— сказала себе Анна.— Что за фантазии? Почему в общежитии? Почему СПИД? Может, он не у женщины, а с друзьями. Пьют у кого-нибудь на кухне. Потом разойдутся».

А вдруг пьяная драка? Он ударит, его ударят, и он валяется, истекает кровью. А может, его выбросили в окно и он лежит с отсутствующим лицом и отбитыми



15-751

внутренностями. Господи... Если бы он был жив, позвонил бы. Он всегда звонит. Значит — не жив. Не жив — это мертв.

Анна подошла к телефону, набрала 09. Спросила бюро несчастных случаев. Ей продиктовали.

— Алё...— отозвался сонный голос в бюро.

— Простите, к вам не поступал молодой мужчина? — спросила Анна.

— Сколько лет?

— Двадцать семь.

— Во что одет?

Анна стала вспоминать.

— Валь,— сказал недовольный голос в трубке,— ну что ты заварила? Я, по-твоему, это пойло пить должна?

«У людей несчастья, а они про чай»,— подумала Анна. И в этот момент раздался звонок в дверь.

Анна бросила трубку. Метнулась к двери. Открыла.

Сбылось и первое и второе. И женщина и пьяный. Правда, живой. Улыбается. Рядом — блондинка. Красивая. Анне было не до нее, глянула краем глаза, но даже краем заметила — красавица. Можно запускать на конкурс красоты.

— Мамочка, знакомься, это Ирочка,— Олег еле собирал для слов пьяные губы.

— Очень приятно,— сказала Анна.

При Ирочке неудобно было дать сыну затрещину, но очень хотелось. Прямо рука чесалась.

— А можно Ирочка у нас переночует? А то ей в общежитие не попасть. У них двери запирают.

«Так. Общежитие,— отметила Анна.— Еще одна лимитчица».

— А из какого вы города? — спросила Анна.

— Из Ставрополя,— ответил за нее Олег.

Та из Мариуполя, эта из Ставрополя. Греческие поселения.

Анна посторонилась, пропуская молодую пару. От обоих пахло спиртным.

Они просочились в комнату Олега. Оттуда раздался выстрел. Это рухнул диванный матрас. Анна знала этот звук. Потом раздался хохот, как в русалочьем пруду. Шабаш какой-то.

Тяжело иметь взрослого сына. Маленький — боялась, что выпадет из окна, поменялась на первый этаж. Теперь в случае чего — не разменять. В армию

пошел — боялась, что дедовщина покалечит. Теперь вырос — и все равно.

Анна не могла заснуть. Вертелась. Зачем-то считала количество букв в городах: Мариуполь — девять букв, Ставрополь — десять. Ну и что? Было бы двое детей — не так бы сходила с ума. Но второго ребенка не хотела: с мужем жили ровно, все завидовали: «Какая семья». И только он... И только она знала, как все это хрупко. Анна хотела новой любви. Не искала, но ждала. Второй ребенок лишал бы маневренности.

Анна ходила и смотрела куда-то вдаль, поверх головы своего мужа, как будто высматривала настоящее счастье.

Все кончилось в одночасье. Муж умер в проходной своего научно-исследовательского института. Ушел на работу, а через час позвонили. Нету человека.

Анна сопровождала его в морг. Ехали на «скорой». Муж лежал, будто спал. Наверное, он не заметил, что умер. Анна не отрываясь вглядывалась в лицо, пытаясь прочитать его последние ощущения. Смотрела на живот, на то место, которое всегда было таким живым. И если там умерло, значит, его действительно нет.

Однажды приснился сон: муж сидит перед ней, улыбается.

— Ты же умер,— удивилась Анна.

— Я влюбился, в этом дело,— объяснил муж.— Встретил женщину. Не мог оторваться. Но мне было жаль тебя. Я притворился, что умер. А вообще я живой.

Анна проснулась тогда и плакала. Она, конечно, знала, что мужа нет. Но сон показался правдой. Муж, наверное, кого-то любил, но не посмел переступить через семью. Рвался и умер. Лучше бы ушел.

После смерти мужа Анна осталась одна. Сорок два года. Выглядела на тридцать пять. Многие претенденты распускали слюни, как вожжи. Однако семьи не получалось. У каждого дома была своя семья. А те, кто без семьи, и вовсе бросовые мужики. Норовили записаться в сынки, чтобы их накормили, напоили, спать уложили и за них бы все и проделали.

Была, конечно, и любовь, что там говорить... Чудной был человек, похожий на чеховского Вершинина: чистый, несчастный и жена сумасшедшая. И нищий, конечно. Это до перестройки. А в последнее время всту-

пил в кооператив, стал зарабатывать две тысячи в месяц. Нули замаячили. Не человек — гончая собака. И уже ни томления, ни страдания — завален делами выше головы. Некогда? Сиди работай. Устал? Иди домой. Он обижался, как будто ему говорили что-то обидное. Он хотел еще и любви в придачу к нулям.

В один прекрасный день Анна поняла: у нее все было. В прошедшем времени. Плюсквамперфект. И то, что казалось временным, и было настоящим: муж, дом, общий ребенок. Семья. Но мужа нет. И дальше — тишина. Самый честный союз — это союз с одиночеством.

Женщина не может без душевного пристанища. Пристанище — сын. Умница. Красавец. Перетекла в сына.

А сын за стеной перетекает в Ирочку. Из Ставрополя. Десять букв. Мариуполь — девять. А что еще остается? Только буквы считать.

Ирочка проснулась в час дня.

За это время Олег встал, сделал зарядку, позавтракал, ушел на работу и сделал плановую операцию.

Анна за это время сходила в магазин, приготовила обед — курицу с овощами — и села за работу.

В учебной программе шли большие перемены. Историю СССР практически переписывали заново. Дети не сдавали экзамен.

У Анны — французский язык. В этом отсеке все как было: je suis, tu est, il est. Я есть. Ты есть. Он есть.

Возникали учителя-новаторы: ускоренный метод, изучение во сне. Анна относилась к этому скептически, как к диете. Быстро худеешь, быстро набираешь. Ускоренно обретенные знания так же скоро улетучиваются. Лучше всего по старинке: обрел знание — закрепил. Еще обрел — еще закрепил.

Анна сидела за столом. Работа шла плохо, потому что в доме находился посторонний человек.

Наконец — задвигалось, зашлепало босыми ногами, зажурчало душем.

«Надо накормить,— подумала Анна.— Молодые, они прожорливые». Вышла на кухню, поставила кофе.

Из ванной явилась Ирочка в пижаме Олега. Утром она была такая же красивая, как вечером. Даже краси-

вее. Безмятежный чистый лоб, прямые волосы Офелии, промытые молодостью синие глаза. Интересно, если бы Офелия переночевала у Гамлета и утром явилась его мамаше, королеве...

Анна не помнила точно, почему Офелия утопилась. Эта не утопится. Всех вокруг перетопит, а сама сядет пить кофе с сигаретой.

— Доброе утро,— поздоровалась Ирочка.

— Добрый день,— уточнила Анна.

Ирочка села к столу и стала есть молча, не глядя на Анну. Как в купе поезда.

— А вы учитесь или работаете?— осторожно спросила Анна.

— Я учусь в университете, на биофаке.

«Значит, общежитие университетское»,— поняла Анна.

— На каком курсе?

— На первом.

«Значит, лет восемнадцать-девятнадцать»,— посчитала Анна. Олегу двадцать семь.

— А родители у вас есть?

— В принципе есть.

— В принципе — это как?— не поняла Анна.

— Люди ведь не размножаются отводками и черенками. Значит, у каждого человека есть два родителя.

— Они в разводе?— догадалась Анна.

Ирочка не ответила. Закурила, стряхивая пепел в блюдце.

«Курит,— подумала Анна.— А может, и пьет».

— А вы не опоздаете в университет?— деликатно спросила Анна.

— У нас каникулы.

Анна вспомнила, что студенческие каникулы в конце января — начале февраля. Да, действительно, каникулы. Не собирается ли Ирочка провести у них две недели?

— А почему вы не поехали в Ставрополь?— осторожно поинтересовалась Анна.— Разве вы не соскучились по дому?

— Олег не может. У него работа.

— А у вас с Олегом что?— Анна замерла с ложкой.

— У нас с Олегом все.

Зазвонил телефон. Аппарат стоял на столе. Анна хотела привычным движением снять трубку, но Ирочка

оказалась проворнее. Ее тонкая рука змеиным броском метнулась в воздухе. И с добычей-трубкой обратно к уху.

— Да...— проговорила Ирочка низко и длинно.

В этом «да» были все впечатления прошедшей ночи и предвкушения будущей.

После «да» было «я»,— такое же длинное, как выдох.

Это звонил Олег. Ирочка произносила только два междометия «да» и «я». Но это были такие «да» и «я», что Анне стыдно было при этом присутствовать. Наконец Ирочка замолчала и посмотрела на Анну умоляюще-выталкивающим взглядом.

Анна вышла из кухни. Подумала при этом: «Интересно, кто у кого в гостях...»

Каждая семья имеет свои традиции, ибо человек без традиций голый. Равно как и общество. Общество, порвавшее с традициями, обрубает якорную цепь, и его корабль болтается по воле волн или еще по чьей-то воле.

В традиции Олега и Анны входило звонить друг другу на работу, отмечаться во времени и пространстве: «Ты есть, я есть. И ничего не страшно: ни социальные катаклизмы, ни личные враги. Ты есть, я есть. Мы есть».

В традиции входило открывать друг другу дверь, встречать у порога, как преданная собака. Выражать радость, махать хвостом. Потом вести на кухню и ставить под нос миску с божественными запахами.

И сегодня Олег позвонил в обычное время. Анна заторопилась, но на пути возникла Ирочка.

— Он попросил, чтобы я открыла.

Анна растерялась, сделала шаг назад. Привилегии отбираются, как во время перестройки. В семье шла перестройка.

Ирочка тем временем распахнула дверь и повисла на Олеге в прямом смысле слова. Уцепилась руками за шею и подогнула ноги. Обычно Олег целовал мать в щеку, но сегодня между ними висело пятьдесят килограмм Ирочки.

Олега, похоже, не огорчало препятствие. Он охватил Ирочку за спину, чтобы удобнее виселось, они загородили всю прихожую и из прихожей вывалились в комнату Олега и пропали.

Курица стыла. Устои дома рушились. Еще час такой жизни — и упадет потолок, подставив всем ветрам жилище.

Вечером Анна подстерегла момент и тихо спросила:

— А Ирочка что, не собирается в общежитие?

— Видишь ли...— Олег замялся. Потом вскинул голову, как партизан перед расстрелом.— Мы поженились, мама.

— В каком смысле? — не поверила Анна.

— Ну, в каком смысле женятся?

— И расписался?

— Естественно.

— И свадьба была?

— Была.

— В общежитии?

— Нет. В ресторане.

— На какие деньги?

Анна задавала побочные, несущественные вопросы. Ей было страшно добраться до существенного.

— На мои. Откуда у нее деньги? Она сирота.

— У нее есть родители.

— Это не считается.

— А где ты взял деньги?

— Одолжил. У Вальки Щетинина.

Валька — друг детства, юности и молодости. Вместе учились. Вместе работают.

— А почему ты не взял у меня? — спросила Анна.

— Ты бы все узнала.

— А я не должна знать? — Это был главный, генеральный вопрос.— Почему ты мне не сказал?

— Ты бы все испортила.

Наступила пауза.

— Ты бы не пустила,— добавил Олег.— Я этого боялся.

Анна молчала. Было больно. Как дверью по лицу.

— Прости,— попросил Олег.

— Не могу,— ответила Анна.— И еще знаешь что?

— Что?

— Ты мерзавец.

— Я так не считаю.

— А как ты считаешь?

— Я боролся за свою любовь.

Олег счел разговор оконченным. Бывают моменты в жизни мужчины, когда он должен бороться за свою

любовь. Это его правда. Но есть правда Анны: вырастила сына, пустила в жизнь, и теперь ее можно задвинуть под диван, как пыльный тапок.

Да. Стареть надо на Востоке. Там уважают старость. Там такого не бывает.

Дима... Вот когда нужен близкий человек. Когда тебя предают в твоем же собственном доме.

Анна снова не спала ночь. Мучил вопрос «ЗА ЧТО?».

Может быть, за то, что их поколение — шестидесятники — проморгали хрущевскую перестройку и двадцать лет просидели по уши в дерьме. А может быть, все началось раньше и сейчас завершилось. Выросли внуки Павлика Морозова. Их научили отрекаться от родителей, затаптывать корни, нарушать заповедь: «Почитай отца и мать своих».

Ночь сгустила все зло в плотный мрак и накрыла с головой.

— Да просто ты ревнуешь,— растолковала Беладонна.

— Классическая свекровь, и все дела,— дополнила Лида Грановская.— Не ты первая, не ты последняя.

У Анны — две подруги со студенческих лет. Лида Грановская и Беладонна.

Лида — жена Грановского и сама по себе Лида. Грановский в последнее время в связи с перестройкой выбился в недосягаемые верха, а Анна осталась на прежнем месте. Это не помешало дружбе. Дружили все равно по душевной привычке.

В жизни Лиды все определилось с пятнадцати лет, с восьмого класса, когда классная руководительница приставила отличницу Лиду к неуспевающему Стасику Грановскому. Все началось тогда, тридцать лет назад, и продолжалось до сегодняшнего дня. Расстановка сил ясна: Грановский — солнце, Лида — луна. Остальной космос существует где-то отдельно от их жизни.

Беладонна — значит прекрасная женщина и еще какое-то желудочное лекарство. Беладонна — то и другое. Она самая красивая из трех. Но ее жизнь, как молодая планета, никак не может образоваться, устояться. То ледники, то оползни.

Беладонна — человек компромисса. Вышла замуж — до лучшего мужа.

Купила дачу — до лучшей дачи. И всю жизнь ждала эту лучшую дачу и лучшего мужа.

Известно, что временные мосты оказываются самыми постоянными. Беладонна ходила по временным мостам, неся в душе разъедающее чувство неудовлетворенности. Она жила как бы в обнимку с этим разъедающим чувством.

У Лиды жизнь стоячая, у Беладонны — текущая река. Анне необходимо было то и другое, в зависимости от того, чего просила душа: движения или благородного покоя.

Но сегодня были необходимы обе. Анна собрала подруг на совет. Сидели в кооперативном кафе. Пили кофе из автомата.

Анна полагала, что, выслушав ее, Лида и Беладонна схватятся за голову и громко закричат в знак протеста и солидарности. Но подруги отнеслись несерьезно. Задавали дурацкие вопросы.

— Ей сколько, сорок? — поинтересовалась Беладонна.

— Почему сорок? Девятнадцать,— ответила Анна.

— Проститутка?

— Что ты глупости говоришь? Учится в университете. На биофаке.

— Любит? Или по расчету, из-за прописки?

— На шею вешается, как кошка.

— Тогда что тебе не нравится? Объясни. Молодая, красавица, умница, любит...

Лида и Беладонна уставились на Анну. Анна напряженно молчала.

— Тебе ни одна не понравится,— заключила Лида.

— Почему это?

— Потому что тебе нравится Олег. Я даже удивляюсь, что ему удалось из-под тебя выскочить. Молодец. Мужик.

— Но ведь больно!

— Так он же хирург,— напомнила Лида.— Сейчас больно, потом будет хорошо.

— Не опошляй,— посоветовала Беладонна.— Первый брак — пробный брак. Через год разведутся. Сейчас все разводятся.

В груди Анны полыхнуло зарево надежды.

— А если не разойдутся?—осторожно проверила она.

— Значит, будут жить. Ты что, не хочешь счастья своему сыну?

Анна задумалась. А в самом деле... Должен же Олег когда-то жениться. Почему не Ирочка?

Тяжкая ночь как будто собралась в облачко и отлетела, рассеялась по небу. «За что?», «Почему?» А нипочему. Полюбил—женился. Женился—привел в дом. Не в общежитие же им идти... Поживут—разведутся, сын достанется Анне. А уживутся—дай бог счастья.

— А давайте выпьем шампанского,—решила Анна.—Все же событие.

Взяли бутылку.

Лица подруг стали еще роднее и прекраснее. И как бежит время. Недавно сами были в возрасте Ирочки, выходили замуж: Лида—за Стасика, Беладонна—за своего Ленчика. Анна—за Диму. Теперь, через тридцать лет, Димы нет. Ленчик есть, но его нет. Беладонна спровадила сына в армию, дочь замуж—и в новый брак. Захотелось свежего чувства.

— Ну, как чувство?—полюбопытствовала Анна.

Беладонна вздохнула из глубины души. Любовь любовью, но полезли всякие побочные обстоятельства.

Дочка родила ребенка Павлика и уехала с мужем на Кубу. Там влажность. Павлик может пропасть, как растение, приспособленное для другого климата. Мальчика оставили Беладонне, и никуда не денешься, поскольку бабка. Внучок по ночам плачет, мешает всем спать. Беладонна его качает, прижимает к груди, затыкает рот ладошкой, как партизан на чердаке, когда внизу ходят немцы. И так жалко этого мальчика. И сама тоже плачет. А был бы за стеной собственный муж, родной дед Ленчик—нравится, не нравится—терпи, да еще и люби. И сам вставай, и сам качай.

Новый мост, выстроенный в сорок пять лет, оказался неудобным для повседневной жизни. Вот ведь как бывает.

Анне стало жалко мальчика с маленькой желтоволосой головкой, которому зажимают рот ладонью, не дают плакать. И тоже захотелось маленького. Она будет его холить и лелеять и отвяжется от Олега и Ирочки. Пусть как хотят, так и живут. У нее будет свой собственный маленький Олег.

Потекла совместная жизнь. День нанизывался на другой день, как шашлык на шампур. Набирались месяцы.

Ни о каком ребеночке не было речи, зато Олег купил видеомагнитофон. С рук. За бешеные деньги. Два года работы.

По вечерам дом превращался в караван-сарай. Гостиницу со скотом. Приходил курс Ирочки и ординаторская Олега. Сидели на всем, на чем можно сидеть, в том числе и на полу.

Анна вначале тоже пыталась приобщиться к мировому кинематографу, но хорошие фильмы случались редко. Зато бывали такие, которые запретил Ватикан,— столько там было безбожия и бесстыдства. Совестно смотреть, тем более рядом с молодыми людьми.

Анна уходила в кухню. Через какое-то время вся кодла перекатывалась в кухню: ели, курили, балдели. Анна отступала в свою комнату.

Она с удовольствием бы «побалдела» вместе с молодыми, послушала, о чем они говорят, что за поколение выросло. Но она была им неинтересна. Отработанный биологический материал. И Анна сама чувствовала разницу. Ее биополе — бурое, как переваренный бульон. А их биополе — лазоревое, легкое, ясное. Эти биополя не смешивались. Анна уходила в свой угол, как старая собака, и слышала облегченный вздох за спиной.

В первом часу ночи расходились по домам, оставив гору грязной посуды, пустой холодильник и серую сопку окурков в пепельнице.

У Анны возникли две новые проблемы: проблема денег и проблема сумок. Ирочка не готовила и не ходила по магазинам. Она училась в университете на биологическом факультете, и училась очень хорошо. Ее выбрали старостой группы. Олег тоже не ходил за продуктами и не готовил, потому что у него каждый день было по две операции. Не будет же человек, простояв две операции, еще стоять в очереди за сосисками.

А у Анны в неделе два присутственных дня. Остальное время — работа дома. Ну разве ей сложно пойти

в магазин и приготовить обед на трех человек? Какая разница: на двух или на трех?

Гости? Но сейчас же не война и не блокада. Как можно не напоить людей чаем?

— Олег, нам надо разъехаться,— сказала Анна.

— Как ты это себе представляешь?

— Разменяться. Двухкомнатная квартира меняется на однокомнатную и комнату.

— Ты хочешь, чтобы мы жили в комнате?

— Можешь взять себе однокомнатную.

— А сама в коммуналку?

Анне не хотелось в коммуналку, но что делать?

— Мне трудно, Олег.

Анна прямо посмотрела сыну в глаза. В его глазах она увидела Ирочку. Сын счастлив. А от счастья человек становится герметичным. Чужая боль в него не проникает.

Ее, Анну, употребляют и не любят. Ею просто пользуются.

Хотелось крикнуть, как Борис Годунов в опере Мусоргского:

— Я царь еще! Я женщина!

— Отстань от них,— посоветовала Беладонна.— Живи своей жизнью.

Анна созвонилась с Вершининым и пошла в ресторан.

Вершинин заказал малосольную форель, икру. Он теперь был богат и широк, как купец, и торопился это продемонстрировать.

Анна незаметно спустила молнию на юбке. Противоречия последних месяцев так распирали Анну изнутри, что она расширилась. Растолстела. Вершинин ничего не замечал, поскольку был занят только собой. И тогда и теперь. Но раньше он жаловался, а теперь хвастал. Его фирма хочет продавать финнам вторичное сырье, а на эти деньги построить гостиницу для иностранцев. Качать твердую валюту. Анна понимала и не понимала: финны, гостиница, валюта... Раньше встречались возле метро, заходили в булочную, покупали

слойку за восемь копеек. Он рассказывал, чем она для него стала. А она слушала, заедая булкой. Чудесно.

А теперь белая скатерть. Малосольная форель. Про любовь — ни слова. Только сказал: «У нас появилось новое качество. Мы теперь умеем ждать». Появилось новое — ждать, потому что исчезло старое — страсть. Раньше не могли дня жить друг без друга, а теперь недели пролетают — и ничего. Ослабел магнит. Все очень просто.

Вершинин перешел от яви к мечтаниям. В мечтах он хотел взять кусок неосвоенной земли, скажем, Бурятию или Крайний Север, и произвести там экономический эксперимент. Страна внутри страны, с другим экономическим и даже политическим устройством. Как остров инженера Гарина. Блестели глаза. Лучились зубы. Никакого острова ему никто не даст, это понятно. Но какова мечта...

Вершинин похорошел. Однако раньше он был лучше. Он был ЕЕ, как Олег. А теперь Олег у Ирочки, Вершинин у бизнеса. А что же ЕЕ? Французский язык: je suis, tu est, il est. И это все.

— Значит, у тебя хорошее настроение? — подытожила Анна.

— Да нет, конечно...

Сейчас разговор съедет на сумасшедшую жену и двух девочек. Он ведь не может бросить сумасшедшего, а значит, беспомощного человека.

— А я не сумасшедшая? — спросила Анна.

— Ты нет. Ты умная. И сильная.

В этом все дело. Ее не жалко. Никому.

На горячее принесли осетрину с грибами. Анна ела редкую еду и думала о том, что дома — вчерашний суп. Мучили угрызения совести.

Домой вернулась с чувством вины, но квартира опять в народе, дым коромыслом и смех до потолка и выше — на другой этаж. Жарят в духовке картошку. Рады, что Анны нет дома.

— Я им не нужна, — сказала Анна Лиде Грановской.

— Ты им не нужна. Но ты им необходима.

Необходима... На этом можно жить дальше, какое-то время, до тех пор, пока не накалится температура до критического состояния и не рванет последним взры-

вом, от которого летишь и не знаешь — где опустишься.

— Ирочка, пусть ваши гости снимают обувь в прихожей.

— А может, у них носки дырявые,— заступилась Ирочка.

— Как это — дырявые?

— Ну нет у человека целых носков. На стипендию живут.

В самом деле, может быть и так: человеку предлагают снять ботинки, а он не может.

— Но у нас ковер,— напомнила Анна.

— Что вам, ковра жалко? — удивилась Ирочка.— Все равно он дольше нас с вами проживет.

«Нас с вами». Не сказала «вас», а взяла с собой в компанию.

— Ирочка, можно у тебя спросить?

Ирочка напряглась, как перед ударом.

— Вы скрыли от меня вашу свадьбу...

— Олег скрыл,— уточнила Ирочка.

— Но ты не должна была допустить.

— Это его отношения с матерью. Почему я должна вмешиваться?

— Ты тоже будешь мать. И представь себе: твой сын не позовет тебя на свадьбу.

— Почему? — спросила Ирочка.

— Ну...— Анна поискала слово.— Испугается...

— Вот именно,— Ирочка одобрила слово.— Надо, чтобы сын не пугался своей матери. Вы ведь любите его для себя. Чтобы ВАМ было хорошо, а не ему.

Это новость.

— И мне его очень жаль,— заключила Ирочка.

Новость номер два. Олег, оказывается, одинок и не понят в своем доме. Но она, Ирочка, протянула ему руки. Их двое, как в вальсе. Кружат по голой планете.

— Предположим, я плохая мать. Но почему ваших родителей не было на свадьбе?

Ирочка не ответила.

Существуют ли они, эти родители? Или только в принципе? Кто она? Из каких корней? Из какого сада-огорода?

— Я не слышу,— поторопила Анна.

— А я молчу.

Человек если не хочет — может не отвечать. Он же не на суде. Даже президенты на пресс-конференции могут промолчать, если им не нравится вопрос. Если он кажется им бестактным. Но здесь не суд. И не пресс-конференция.

— Почему ты молчишь?

Вместо ответа Ирочка вытащила из-под кровати дорожную сумку, молча побросала туда свои вещи и молча ушла. Захлопнула за собой дверь.

На все это понадобилось пятнадцать минут времени. Последнее, что видела Анна,— зад Ирочки, обтянутый джинсами, похожий на две фасолины.

Олег вернулся с работы. Достал с антресолей чемодан, положил туда четыре пары обуви, видеомагнитофон, кассеты. Все остальное было на нем. На его сборы ушло двадцать пять минут. И там пятнадцать. Всего сорок.

Сорок минут потребовалось на то, чтобы разрубить конструкцию: мать—сын.

Жизнь разделилась пополам: ДО и ПОСЛЕ.

Эти две жизни отличались друг от друга, как здоровая собака от парализованной. Все то же самое: голова, тело, лапы — только ток не проходит.

Анна была как будто выключена из сети. По утрам просыпалась, пила кофе. Кофе она варила замечательный, но не чувствовала аромата. Какая разница — что пить, можно и сырую воду. А можно вообще ничего не пить.

После завтрака по привычке включала кассету Высоцкого. Он заряжал ее на работу. Но сейчас Анну укачивали однообразные хрипловатые крики. В жизни ПОСЛЕ — повышался оценочный критерий. Ничего не нравилось, никому не доверялось.

Выключив магнитофон, Анна садилась за работу.

Подстрочный перевод — это полдела. Он передает содержание, а не автора. Надо услышать авторскую интонацию, общую тональность. В мозгу должен прозвучать звук — скажем, «ля» — камертон данной вещи. И если это услышишь — тогда есть все: и автор, и таинство творчества, и языковой код. Анна как бы перемещалась во французского писателя — слышала его голос, вбирала энергетику души. Счастливые люди — творцы. У них другое бессмертие. Они не зависят от детей так напрямую.

В жизни ПОСЛЕ Анна сидела за столом, как чурка с глазами. Пыталась вникнуть в интонацию, но мозги затянуло липким туманом.

Да и зачем нужен этот перевод? И почему именно Анна должна переводить? Без нее обойдутся. Этих переводчиков как собак нерезаных.

Язык, кстати, связан с ландшафтом. В Армении гористая местность и слова — тоже гористые. Может встретиться фамилия, где пять согласных подряд: МКРТЧЯН. А в Эстонии равнинная местность. Там такие слова: СААРЕМАА... Северные языки протяжные. К югу ускоряются. Французский язык набирает скорость, а испанский уже сыплет, как горох на блюдо.

Но при чем тут Мкртчян, горох? А ни при чем.

Просто работать не хочется, есть не хочется. Жить не хочется. Еще немножко — и превратится в призрак. Все видит, но ни в чем не участвует.

— Ты должна была ее полюбить. Взять на душу, — сказала Лида Грановская.

— С какой такой стати? — не поняла Анна.

— Если ты любишь сына, а сын Ирочку, ты должна любить то, что любит твой сын.

— Значит, Ирочку будут любить и я и Олег. А меня никто. Меня только терпеть, зажав нос.

У Анны выступили на глазах злые самолюбивые слезы.

Еще полгода назад этой Ирочки не было в природе. То есть она где-то была — в Ставрополе или в Мариуполе, так далеко от их жизни. И вот явилась, проникла в дом, впилась, как энцефалитный клещ — отравила, убила, стащила сына.

Ненависть забила горло. Пришлось вдохнуть поглубже, чтобы пробить ненависть.

Сидели на даче у Лиды Грановской. В окно смотрели елки под тяжелым снегом. Как обидна, как оскорбительна ненависть, когда под небом такая красота...

Интересно, а у природы есть ненависть? Может быть, землетрясения? Извержения вулканов? Штормы на море?

Лида Грановская выкладывала в камине дрова.

— У тебя была свекровь? — спросила Беладонна.

— А что? — не поняла Анна.

— Интересно, ты как к ней относилась?

Анна добросовестно вспомнила свою свекровь. Димину маму. Когда они познакомились — Анне было девятнадцать, а свекрови сорок семь. Между ними — двадцать восемь лет. Целая сознательная жизнь. Добролюбов за это время успел состояться и умереть. Но при чем тут Добролюбов... Свекровь казалась Анне сильно пожилой: на теле лишние куски, на лице лишние заломы, под глазами мято, будто пергаментную бумагу пожулькали в кулаке, а потом разгладили ладонью. Анна прослышала: в молодости у свекрови был крутой роман с кем-то значительным, она любила, и ее любили. Но Анне трудно было это представить.

Первое время жили вместе. Свекровь мощно метала свое тело то туда, то сюда, из комнаты в кухню и обратно. Ставила тарелки, выносила тарелки. Выражала какие-то свои мысли, которые вполне могла держать при себе. От этого бы ничего не менялось. Анна слушала вполуха, никогда не возражала, не грубила, не приведи господь... Была равнодушно-вежлива. И это все.

— Ты ее любила? — спросила Беладонна.

— Терпела.

— Ну вот, и тебя терпят. Закон бумеранга. Как ты, так и к тебе.

— Неужели передается? — с мистическим испугом спросила Анна.

— А как бы ты думала...

Лида Грановская обложила дрова газетами.

— Просто вам не надо было жить вместе. С самого начала, — поставила диагноз Лида. — На Западе вместе не живут.

— А куда я их дену? У нас двадцать семь метров на троих. Норма. Нам никто ничего не даст.

— Этот развитой социализм кого хочешь заложит, — заключила Лида и поднесла спичку.

Огонь занялся сразу. В камине весело загудело.

Разлили по рюмкам яичный ликер. Лида сама приготовила из сгущенного молока, водки и яичных желтков. Лида придумывала не только еду, но и напитки.

Грановский отсутствовал в очередной загранице. Последнее время он разъездился. Капиталистический ученый мир просто вырывал его друг у друга. Друзья шутили, что в таможенной карточке в графе «профес-

сия» он писал «вел.уч.» — что значило «великий ученый». Его так и звали: «Велуч».

Помимо основной науки, Велуч завел себе хобби: сочинять лозунги бастующим — армянам, молдаванам, шахтерам — в зависимости от исторического момента. Лозунги были эмоциональны, научно-корректны. Точно и упруго выражали основную мысль.

Лида выполняла роль фильтра, пропуская через себя воображение мужа. Ненужное и лишнее — отбрасывалось. Это было своеобразное соавторство. Они любили друг друга с восьмого класса средней школы, в общей сложности тридцать лет. С любовью ничего не делалось: она не переживала кризисы, не хирела, не мелела. Наверное, так и должно быть. Проходит что-то другое, не любовь. А настоящая любовь проходит вместе с человеком.

Анна смотрела на огонь, и ей хотелось любви. Был бы рядом человек — не страшна никакая Ирочка. Он сидел бы сейчас рядом и смотрел вместе с ней на огонь.

— А где они паркуются? — спросила Беладонна.

— Снимают, наверное, — предположила Анна.

— Почему «наверное»? Ты что, не знаешь? Они не звонят?

Лида вглядывалась в Анну. Анне было стыдно сознаться в том, что сын бросил ее и не звонит, и если бы она заболела или даже умерла — он узнал бы об этом с опозданием и от третьих лиц.

Анна молчала.

— Все-таки дети сволочи! — подытожила Беладонна.

— А как мы к своим матерям? — спросила Лида.

Огонь был привязан к дровам и устремлялся вверх, как будто хотел оторваться от основания. Так и люди — привязаны к корням, а рвутся вверх и в стороны.

...Анна отдавала матери маленького Олега на три летних месяца. Выезжали на дачу. Мать батрачила, носила воду из колодца, готовила на керосинке. И в один из таких месяцев получила страшный диагноз. Анна приезжала каждую субботу и спрашивала:

— Ну, как Олег?

— А ты не хочешь спросить: как я?

Мать скрывала диагноз. Видимо, не хотела огор-

чать и не рассчитывала на поддержку. Она прошла эту дорогу одна.

Родительская любовь не возвращается обратно. Движется в одну сторону. К детям.

Мать любила Анну больше всех на свете. Анна так же любила своего сына. Сын будет любить свою семью, Анне останутся какие-то ошметки. Родители — отработанный материал. Природа не заинтересована в том, что отжило и больше не плодоносит. И надо обладать повышенными душевными качествами, чтобы любить детей и родителей одинаково.

У Анны не было этих качеств. Значит, и у Олега нет.

За окном смеркалось. С елки упал снег, освобожденная ветка закачалась.

Жизнь справедлива, если подумать. И человек получает возмездие за свою вину. Анна получила за мать и за свекровь. От Олега и от Ирочки. Сработал закон бумеранга.

— У меня нет детей. Знаете почему? — вдруг спросила Лида.— Мой прадед был пастухом и изнасиловал дурочку.

— Какую дурочку?

— В деревне дурочка жила. Ее никто не трогал. А он посмел. Деревня его прокляла. На нашем роду проклятье.

— Значит, прадед виноват, а ты должна платить,— скептически заметила Беладонна.

— Должна,— серьезно сказала Лида.— Кто-то ведь должен. Почему не я?

— Ерунда! — отвергла Беладонна.— Некоторые всю жизнь насилуют дурочек. И ничего. Живут.

Дрова распались в крупные угли. Пламя неспешно писало свои огненные письмена. Три женщины смотрели на огонь, как будто пытались прочитать и расшифровать главную тайну жизни.

Так, наверное, сидел в поле у костра продрогший молодой пастух-прадед. А неподалеку бродила молодая спелая дурочка.

Олег Лукашин, хирург городской больницы, шел к своей матери после семимесячного перерыва. Семь месяцев. За это время может родиться ребенок. Живой,

хоть и недоношенный. Говорят, что Наполеон был семимесячный.

Олег шел к матери пешком — до метро. Спускался в метро. Качался в вагоне. Плыл на эскалаторе. Выплывал на земную твердь возле Киевского вокзала. Ждал автобуса, автобус не шел. Такси в этом месте не останавливалось. У них за углом была официальная стоянка. К стоянке — очередь, как митинг неформалов. Проклятое какое-то место.

Черноволосые люди продавали гвоздики. Цветы стояли в стеклянном аквариуме, и там горели свечи. Видимо, так защищают от холода хрупкое временное цветение. Все очень просто. Но Лукашину вид свечей и цветов напомнил церковную службу. В подмосковной церкви. Батюшка был старый, неряшливый и грубый. Застойный батюшка. Поп-бюрократ. А старухи — настоящие. Но при чем тут это?

Думать связно Лукашин не мог ни о чем. Какие-то обрывки мыслей, ощущений. Он стоял на привокзальной площади, как голый нерв, а вокруг творилась грубая жизнь, которая цепляла этот нерв и закручивала.

Надо бы напиться, но не помогает. Когда напивался — кричал не про себя, а громко. Соседи прибегали, грозились милицией.

... Она сказала: хочу собаку.

Хочешь собаку — купим. Будет тебе собака. Если бы он тогда не согласился: «Ну вот еще, зачем нам собака? Что сторожить? У нас и дома-то нет».

Но он сказал: купим.

Утром выходили из квартиры. Ирочка зацепила плащом за острый угол мусоропровода. Плащ затрещал, порвался. Они остановились. Вместе рассматривали отвисший лоскут, похожий на собачье ухо. Ирочка расстроилась. Личико стало растерянное. Плащ фирменный, навороченный, с примочками — Ирочка им гордилась. После Олега плащ был самым престижным в ее жизни.

Ирочка — обыкновенная женщина. И за это Олег ее любил. Он так соскучился по естественности, обыкновенности. Все вокруг — личности, понимаешь... А вся эта личностность — не что иное, как самоутверждение за счет других, и в том числе за его счет, Олега Лукашина. «Смотри, какая я вся из себя уникальная, а ты — совковый мэн». «Совки» — от слова «советы». Значит,

советский мужчина. Ни денег от тебя, ни галантного обхождения, и в совках — бардак.

А Ирочка — как роса на листке. Как березовый сок из весенней березы. Он целовал ее в растерянное личико, утешал. Ирочка была безутешна. Потом отвлеклась от своего плаща, включилась в поцелуй. Они стояли возле мусоропровода и пили друг друга до изнеможения.

— Давай вернемся,— пересохшим голосом сказал Олег. Если бы они тогда вернулись, не поехали на Птичий рынок — все было бы иначе.

Но поехали. Купили. Ирочка взяла в руки теплый комочек и не смогла отказаться.

— Какая это порода? — спросила Ирочка у хозяина.

— Дворянин.

— Дворняжка,— перевел Лукашин.— Давай еще походим, посмотрим.

— Смотри, какой он дурак.— На лицо Ирочки легло выражение щенка. Они уже жили одной жизнью.

Такси искали долго. Сейчас таксисты вообще с ума сошли. Не возят население. Не нужны им трешки и пятерки. Договариваются с кооператорами на целый день и получают сразу круглую сумму. Что им народ? Для них люди — мусор.

Взяли частника. Милый такой парень. На свою маму похож, наверное. Мужская интерпретация женского лица. А может быть, если бы дождались такси, все бы обошлось. Таксисты — опытные водители. Таксист бы увернулся. А частник не увернулся. И рафик ударил его прямо в лоб. Лукашин увидел этот летящий на них рафик — сердце сжалось, душа сжалась, тело сжалось — до стальной твердости. Лукашин превратился в кусок металла.

Но что-то было до этого. Что-то очень важное. А... Ирочка сказала:

— Смотри, как сверкают купола.

Частник, милый парень, объяснил:

— Их недавно позолотили.

Ирочка сказала:

— Олег, давай поменяемся, мне отсюда не видно.

Ирочка с щенком на коленях сидели сзади. А он возле шофера. Она сказала: «Давай поменяемся».

Шофер остановил машину. Они поменялись местами. Ирочка села возле водителя, а Олег сзади.

Рафик ударил в лоб и убил шофера, милого парня, похожего на свою маму. Его вырезали автогеном. Иначе было не достать, так заклинило двери.

Ирочку он достал сам. Кровь свернулась, была густой и липкой. Белые шелковые волосы в ржавой и липкой субстанции. Люди столпились, разинули рты. Что, не видели, как человек умирает? Нате, смотрите... Лукашин тянул рыжие от крови руки.

Но что-то было перед тем... Что-то очень важное. А... он не должен был пересаживаться. Когда она сказала: «Давай поменяемся», надо было ответить: «Да ладно, сиди, где сидишь». Они бы не остановились и проскочили тот поворот. Три минуты ушло на пересадку. А за три минуты они миновали бы поворот, за которым стояла смерть. За кем она охотилась? За шофером? За Олегом? За кем-то из них. За Олегом. А Ирочка подставилась. И прикрыла. Взяла на себя. Теперь он есть. А ее почти нет.

Олег рвался в операционную, говорил, что он хирург. Говорил нормальным голосом, но все вокруг его почему-то боялись. Не пустили. Потом он бежал по лестнице. Стоял у грузового лифта. Лифт открылся, выкатили носилки с Ирочкой. Голова в бинтах, глаза закрыты, личико оливковое, бледное до зелени. И какое-то жесткое, как будто вытащили из морозильной камеры. Не она. Но она.

Он шел к ней и не мог ухватить. И не удержал. И она разбилась. Вот в чем дело. Он ее не удержал. Она доверилась — на! А он не удержал.

... Свечи под стеклянным колпаком. Цветы и свечи.

Однажды в театре шли по лестнице. Кончился спектакль. Спускались в гардероб. Он впереди. Она сзади. Он спиной чувствовал, что она сзади. И вдруг стало холодно спине — холодно-знобко. Обернулся. Ирочка отстала, и кто-то другой прослоился, оказался за спиной. Ирочка шла через человека. Олег дождался, взял ее за руку. Только он и она. Одно целое. И никого в середине — ни матери, ни друга. Одно целое. Так было. Есть. И будет. Она взяла на себя его смерть. Он возьмет на себя всю ее дальнейшую жизнь, какой бы она ни была, эта жизнь. Мать поможет. Матери сорок семь. На тридцать лет ее еще хватит.

Мать... вечно чем-то недовольна, что-то доказывает. Навязывает. А каждый человек живет так, как ему нравится. Как он может, в конце концов...

Олег вспомнил несчастное лицо матери, как у овцы на заклание. Жалость и раздражение проскребли душу. Но ненадолго. Он не мог ни на что переключиться. В его организме, как в компьютере, были нажаты одновременно все кнопки: и пуск, и стоп, и запись, и память. Мигали лампочки тревоги: внимание, опасность. Но уже шел раскрут. Сейчас все взорвется.

Подошел троллейбус. Олег втиснул себя в человеческие спины. И сам для кого-то стал спиной. Как много людей. И почему судьба выбрала именно Ирочку — такую молодую и совершенную, созданную для любви. Какой смысл? Никакого. Судьба — скотина. Она тупо настаивает на своем. Но он, Олег, сам сделает свой выбор. Если Ирочка умрет, он не останется без нее ни минуты. Он уйдет с ней и за ней. Как тогда, на театральной лестнице. Вместе. За руку.

От этой мысли стало легче. Это все-таки был выбор. Какая-то альтернативная программа.

— Пробейте мне билет, пожалуйста,— попросили Олега.

Вокруг варилась жизнь, пустая, бессмысленная. В ней надо было участвовать.

Олег взял билет. Положил на компрессор. Нажал.

Анна смотрела телевизор, когда в дверях повернулся ключ и вошел Олег.

Он вошел. Снял ботинки. Надел тапки, глядя вниз. Как будто не было семи месяцев разлуки, ведра слез и километра нервов, намотанных на кулак. Пришел домой. Раздевается. Устал. Глаза странные, будто в них кинули горсть песка. Не спал. Может, пил. А может, и то и другое. Пил и не спал. То и другое. И третье. Про третье говорить не будем. Дело молодое.

Анна приняла условие игры. Олег пришел, будто ничего не случилось. Значит, и у нее ничего не случилось.

— Тебя кормить? — спросила Анна.

Он не ответил. Правильно, что спрашивать...

Анна прошла на кухню. Налила тарелку борща. Борщ она варила потрясающий: овощи тушила отдель-

но. Потом заливала бульоном. Выжимала целый лимон и головку чеснока.

Олег взял ложку и стал есть. Ел, как в детстве, наклоняя голову то к одному плечу, то к другому. Его свитер был жесткий от грязи, и весь Олег был какой-то жесткий, грязный, небритый, как бомж.

Поднял глаза на мать и сказал:

— Хорошо горячее.

— А тебя что, дома не кормят?—спросила Анна как бы между прочим.

Олег так же между прочим промолчал. Конечно, он не питается. Он закусывает и перекусывает. И много работает. Никакого здоровья не хватит на такую жизнь.

— Вы где живете?—спросила Анна.

— Снимаем.

По телевизору шла передача со съезда. Доносился резкий высоковатый голос депутата Собчака.

— Сколько стоит квартира?—спросила Анна.

— Сто рублей.

— Я могу платить,—сказала Анна.

— Не надо.

— Я возьму пару учеников. Мне это не трудно.

— Не надо,—повторил Олег.

Вот, значит, как обстоят дела. Не хотят пользоваться ее услугами: ни кошельком, ни территорией. Ирочка не хочет. И Олегу запретила.

— У меня к тебе дело,—сказал Олег.

Ах, все-таки дело. Все-таки не полная блокада.

— Я забираю Ирочку из больницы...

— Она в больнице?—удивилась Анна. Хотя что тут удивляться. Молодые женщины, которые хотят спать с мужчинами, но не хотят рожать детей, довольно часто попадают в больницу. По три раза в году.

— Какое-то время она поживет здесь. У тебя. Ее нельзя оставлять одну. А я работаю.

Тысячи женщин делают аборты и на другой день выходят на службу. Почему за Ирочкой нужен особый уход? Странно.

— Но я тоже работаю,—напомнила Анна.

— Ты можешь работать дома. А я не могу. Я должен быть в операционной.

— А Ирочка согласна?—осторожно спросила Анна.

— Ирочка больна. Ей нужна помощь.

— Значит, вы используете меня как рабсилу?

— Я тебя не использую. Я тебя прошу.

— Почему бы тебе не нанять тетку? Дай объявление в «Вечерку»: требуется женщина для ухода за больным.

— У меня нет денег на тетку. И на квартиру. И я не доверю Ирочку чужим рукам.

— Извини, Олег. Но мне твоя Ирочка не нужна ни больная, ни здоровая.

Олег поднял голову, смотрел на мать, как будто не понял сказанного. Как будто она ему сказала по-французски, а он не может перевести.

— Я тебе не верю,— тихо сказал Олег.— Это не ты говоришь. Ты очень хороший человек. Я знаю. У меня никого нет, кроме тебя...

Анна заплакала, опустив голову. Стала видна непрокрашенная седая макушка.

— Мы попали в автомобильную катастрофу,— бесцветным голосом сказал Олег.— Шофера убило. Ира калека.

Анна перестала плакать. Подняла голову.

Мозг отказывался переработать информацию. Но на глаза, как казалось, надавили изнутри. Они вылезли наружу, и все лицо переместилось в глаза.

— А ты?— выдохнула Анна.

— И меня убило, мама,— просто сказал Олег.— Разве не заметно?

Ирочку привезли в среду.

Олег внес ее на руках в свою комнату и положил на диван.

Анна готовилась к встрече, преодолевала внутреннее напряжение. Ненависть все-таки существовала в ней — не остро, а как хроническая простуда. Надо было как-то замаскировать эту ненависть, забросать словами, улыбками, приветствиями.

Но ничего не понадобилось. Ирочка лежала на диване. Олег взбил под ней подушку, приспособил так, чтобы Ирочка полусидела.

Голова ее была обрита наголо, повязана косынкой, как у баб на сенокосе. Голубые большие глаза, как пустые окна,— не выражали ничего. Было неясно: осознает она происшедшее с ней или разум ее отлетел, при-

соединился к мировому разуму и существует отдельно от нее.

Анна застыла в дверях и впервые за все время их знакомства испытала человеческое чувство, освобожденное от ревности. Это чувство называлось СОстрадание. Сострадание съело ненависть, как солнце съедает снег. Осталась влажная пустота.

... Ирочка шла по незнакомой планете. На ней не было людей. Домов. Под ногами серо-черное и пористое, как пемза. Было больно ногам и неудобно дышать. От недостатка воздуха болела голова. Хотелось перестать идти. Лечь. Но ее кто-то ЖДАЛ. Очень важный. Очень ждал. И если она ляжет, то не поднимется. И не дойдет. А надо идти. Больно ногам. И голове. Шаг... Еще шаг... Еще...

Олег сидел возле дивана на полу и смотрел на жену. Не отводил глаз. Он был похож на горящий изнутри дом, когда стены еще целы, но из окон уже рвется пламя.

Еще секунда — и прямым факелом в небо. Надо было как-то спасать. Облить водой.

— Тебе сегодня надо на работу? — спокойно спросила Анна.

— Что? — Олег повернул к ней лицо.

— Я говорю: на работу надо?

— Я не пойду.

— Люди болеют, ждут. Нехорошо.

— У меня своя боль.

— А это никого не волнует.

— Да, — согласился Олег. — Это никого не волнует. Мы одиноки в нашем несчастье, мама.

— А люди всегда одиноки в несчастье, — сказала Анна. — Ты просто не знаешь.

Анна как будто поливала сына холодной водой. Охлаждала. Успокаивала.

— Иди, — сказала она. — Я справлюсь.

Олег поднялся, вышел из дома.

Вернулся с собакой: видимо, машина ждала его внизу.

Бросил собаку на пол.

— Я поеду... — Он поцеловал мать. Притиснулся лицом на секунду, на долю секунды. Но ведь больше

и не надо. Сомкнулась порванная орбита. Они снова вместе: мать и сын. Ирочка развела. Ирочка соединила.

Собака ходила по комнате. Она была какая-то кургузая, и, когда двигалась, ее зад заносило в сторону.

Собака понюхала ковер, облюбовала себе место и присела по своим делам. Окончив начатое — отошла.

Анна тупо посмотрела на то, что оставила собака. Долго стоять и размышлять не имело смысла. Надо было двигаться и действовать и что-то делать.

Анна взяла метлу, совок и мокрую тряпку. Надо было действовать. А значит, жить.

На другой день Олег привел травника. Это был человек лет сорока — немножко толстый, немножко неопрятный, с большим процентом седины в волосах и бороде. Волосы и борода не причесаны, а просто приглажены. Встал человек утром и пригладил руками волосы. Имеет право. Но все это мелочи. Главное в травнике — то, что не брал денег. Значит, целитель, а не шабашник.

Травник достал пузырек зеленоватого цвета с каким-то настоем, стал объяснять его состав и суть лечения. Анна не особенно понимала, она была туповата в химии и биологии, а заодно и в физике. Она, например, до сих пор не понимала, что такое электричество и как выглядит ток.

Травник изучил воздействие какого-то фермента живой природы на фермент внутри человека. И при длительном мягком волнообразном воздействии восстанавливаются разрушенные рефлексы.

Принимать капли надо по сетке.

В шесть утра, с восходом солнца, надо дать первую каплю, разведенную в чайной ложке воды. Далее каждый час прибавлять по одной.

И так далее до полудня. До двенадцати часов дня, до седьмой капли. Начиная с тринадцати — капли убывают по одной.

В восемнадцать часов — последняя капля. И перерыв до следующих шести утра.

Каждый день — цикл. Вдох и выдох. Первая половина дня вдох, вторая — выдох. И ни в коем случае нельзя пропустить хотя бы один прием или нарушить последовательность капель.

— А поможет? — спросил Олег.

— Хуже не будет. Либо нуль, либо плюс.

Олег жадно смотрел на травника, пытаясь вникнуть в его прогноз.

— Либо без изменений, либо положительная динамика,— повторил травник.

Он не давал гарантий.

Анна — сова. Для нее встать в шесть утра — равносильно... чему равносильно? Ничему. Просто катастрофа и все.

Можно было бы спросонья дать первую каплю и рухнуть досыпать. Но в семь надо опять вскакивать. Как матрос на вахте.

Можно будить Олега. Пусть встает и капает. Но Олег в восемь уходит из дома. У него операционные дни. В руках жизни человеческие. Что же, обречь его на дрожащие руки?

— А сколько длится весь курс? — спросила Анна.

— Девять месяцев,— ответил травник.— Девять — вообще мистическая цифра. За девять месяцев вызревает человек. На девятый день отлетает душа.

Девять месяцев... Анна окинула мыслью это временно́е расстояние. Двести семьдесят дней выкинуто из жизни. Так ли много у нее осталось, чтобы выкинуть двести семьдесят дней...

Анна вздохнула.

— Вы привыкнете,— ласково и спокойно сказал травник.— Это хороший режим. Поверьте. Человек должен рано ложиться и просыпаться с восходом солнца. Вместе с природой. Как растение.

— Но я же не растение,— воспротивилась Анна.

Олег вскочил со стула, как будто в нем развернулась тугая пружина.

— Учти, если она умрет, я тоже умру.

Анна понимала: правда. Они сейчас скованы одной цепью. И если Анна хочет вытащить сына, она должна тащить Ирочку.

— А что я такого сказала? — Анна наивно округлила глаза.— Я только сказала, что я не растение, и больше ничего.

Потекли капли: одна, две, три, четыре, пять, шесть, семь, шесть, пять, четыре, три, две, одна...

Часы и капли — вот что составляло ее жизнь.

Часы и капли — механическое, не интеллектуальное занятие. Отсутствие творчества и равноценного общения выматывали больше, чем бессонница.

Анна вставала на рассвете. Больше не ложилась, но и не просыпалась до конца. Пребывала в состоянии анабиоза, как муха в спячке. Вяло ползала по стенам. Она присутствовала в этой жизни и не присутствовала. И в чем-то приблизилась к Ирочке.

Три неприятеля шли на Анну, выкинув штыки.

Недосып — угнетенность тела. Недообщение — угнетенность духа. И отсутствие конечного результата: Ирочка лежала бревно бревном. Было непонятно: образуется у нее новая память или нет?

— Зачем тебе это надо? — искренне удивилась Беладонна.— Это же как с грудным.

— С грудным — понятно. Человека растишь. Сейчас уродуешься, потом человек получится. А это что?

Лида непонимающе смотрела на Анну.

— А что же делать? — спросила Анна.

— Сдай государству,— нашла выход Беладонна.— В интернат.

— Знаю я эти интернаты. Там можно с ума сойти.

— Так Ирочке же... извини, не с чего сходить. Она же не соображает,— напомнила Беладонна.— Какая ей разница — ГДЕ?

— А так и она не живет, и ты не живешь, и Олег,— поддержала Лида Грановская.

Разговор происходил на приеме в посольстве. Грановского приглашали к себе все послы, но он игнорировал приглашения. Ему были скучны эти необязательные общения, фланирования по залу, пустые разговоры. А Лида — напротив, тяготела к светской жизни, суете и тусовке и приобщала своих подруг. Подруги не ездили за границу, для них прием в посольстве — окошко в капитализм. Высунутся, посмотрят — и обратно. Все лучше, чем ничего.

Посол с женой встречали гостей. Возможно, они отмечали отсутствие господина Грановского. Вместо господина Грановского стояли три малосущественные женщины. Но посол одинаково любезно здоровался

с Лидой и с Беладонной и с послами других государств. Тою же рукой, с тою же улыбкой.

Беладонна таращилась во все глаза. Мечтала сменить новый мост на еще более новый.

Анна незаметно перебирала глазами присутствующих.

Неподалеку стояла высокая элегантная женщина в смокинге. Такие смокинги носят швейцары в дорогих гостиницах и дирижеры оркестра. Но самое любопытное в женщине не смокинг, а возраст. То ли сорок, то ли девяносто шесть. Лицо перешито несколько раз, и кое-где образовались вытачки, как на ткани. Руки в крупных пигментных пятнах. Все-таки девяносто шесть. Но сколько шарма...

— Смотри...— Анна толкнула Беладонну.

— Где?— не поняла Беладонна, поскольку смотрела только на мужчин.

Официантки — все работники УПДК — носили на подносах еду: бутерброды величиной с юбилейный рубль и напитки — какие хочешь: виски, кампари, куантро... От одних слов опьянеешь. Анна перепробовала все подряд и опьянела.

Прием был совмещен с показом мод. Стулья расставили у стен, и по центру зала пошли манекенщицы, демонстрируя верхнюю одежду из кож. Какой-то известный западный модельер привез свою коллекцию.

Анна всегда знала: зимняя одежда защищает от холода. Нет. Оказывается, одежда может быть произведением искусства, как, скажем, картина Пикассо. И ее можно надеть на себя и носить. Манекенщицы, молодые девки, роскошные, наглые, шли каким-то милитаризованным строем, как в наступление. Шли, выламывая бедра, синхронно ступая, неся тайны своего тела. А Ирочка — не хуже. Лучше. А вот лежит бревно бревном. И Олег мог бы морочить головы этим девкам. А вот сидит возле Ирочки, будто сам парализованный.

А она... Анна... У нее никогда не будет такого пальто, и таких ног, и маленькой задницы. И никто из этих мужчин не позовет ее в кино и не скажет в темноте: «Я люблю тебя, я умираю...»

Анна заплакала.

— Ты чего?— толкнула ее Лида.

— От зависти,— тихо объяснила Беладонна.

И это было правдой. Не столько от зависти, сколь-

ко от печального сознания: у нее никогда ничего не было. И уже не будет. Только одна капля, две капли, три капли...

Анна вернулась домой, не протрезвев. Олег был на дежурстве. Ирочка спала.

— А я пьяная,— доверчиво сообщила Анна собаке. Надо же было с кем-то разговаривать.

Собака сильно выросла и за два месяца превратилась в здоровенную лохматую дуру. Похоже, один из ее родителей — ньюфаундленд. Из тех, кто в горах спасает людей. Собаку выгоняли в коридор. Там было мало места, негде развернуться, и собака двигалась, как маневровый паровоз по рельсам: вперед — назад.

Анна села к телефону и набрала Вершинина. Позвонила прямо в сердце семьи, что против правил. Подошел он сам. Услышала его голос.

— Привет,— поздоровалась Анна.— А я сейчас посмотрела в зеркало. У меня такая морщина на лбу, что в нее вполне может залезть немец, как в траншею, и отсидеться. И его не будет видно.

— Пьяная, что ли? — догадался Вершинин.

— Ага... — созналась Анна.

— Я тебе позвоню,— тихо заговорщически пообещал Вершинин. И вдруг бодрым голосом произнес: — Да, да...

Это значило — появилась жена.

Ирочка шла по незнакомой планете и вдруг оказалась в квадрате.

Стены квадрата были в клеточку. Посреди — что-то лохматое. А в углу — не лохматое и возвышающееся. Ирочка с удивлением всматривалась. Когда-то она это видела. Ирочка напряглась. Заболела голова. КОМНАТА,— вспомнила она. СОБАКА. ЧЕЛОВЕК. И она тоже ЧЕЛОВЕК. Но в углу не она. Значит, кто?

Девять часов утра. Анна отсчитала четыре капли, подняла голову и вдруг увидела, что Ирочка смотрит на нее. Не вообще, а именно на нее. Рассматривает. Это было так неожиданно, что Анна вскрикнула.

Люди кричат от ужаса и от противоположного чувства, которое на другом конце ужаса. Как оно называется, это противоположное чувство? Счастье? Пожалуй, от укола счастья, от его мгновенного воздействия.

Анна вскрикнула. Собаке тут же передался ее ликующий заряд. Она вскочила и, обезумев от возбуждения, лизнула Анну горячим языком по лицу. Потом метнулась к Ирочке и лизнула Ирочку.

По пятнадцатиметровой комнате большим мохнатым шаром металось чистое ликование.

Анна схватила телефонную трубку. Надо было сообщить Олегу генеральную новость жизни.

Недосып, недообщение, часы и капли, ее труд и терпение — все сомкнулось в одно и теперь называется — ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА.

К телефону не подходили. Потом голос Петраковой задушенно сказал:

— Перезвоните позже. У нас совещание.

Анна хотела крикнуть:

— Да не могу я позже, какое к черту совещание...

Но Петракова бросила трубку.

— Проститутка,— сказала Анна. И это о заведующей отделением Юлии Александровне Петраковой.

Анна вдруг испугалась, что положительная динамика ей показалась. Она вернулась в комнату.

Ирочка спала. Видимо, новые впечатления оказались ей не по силам. Личико было бледным, как снятое молоко.

«Без воздуха, без движения»,— подумала Анна и услышала в себе какое-то новое чувство. Раньше Ирочка существовала для Олега. А теперь — она сама по себе Ирочка. Несчастная молодая женщина. Почти девочка. Совсем беззащитна. Ее можно не накормить, и никто не узнает.

Как же она пойдет в жизнь? И что с ней будет, если Анна умрет?..

Олег сидел на диване у ног Ирочки и смотрел телевизор. Передача «600 секунд» сообщала, что один «мэн» по фамилии Прохоров нанял другого за пять тысяч убить человека. И тот убил. А передача «Добрый вечер, Москва» рассказывала, что морги переполнены, трупы негде хранить и их объедают крысы. Диктор сказал: грызуны.

Зачем ему, Олегу, это знать? Когда он умрет, ему все равно — объедят его грызуны или нет. А живым — страшно жить и умирать страшно.

Олег уже пресытился безобразиями нашей жизни и предпочитал смотреть видео. Но сегодня кассету достать не удалось. Не получилось.

У Петраковой дома целая видеотека.

Олег сказал:

— Дай что-нибудь посмотреть.

Она сказала:

— Поедем, выбери, что хочешь.

Из корпуса вышли вместе. Шел проливной дождь. На земле снег. А сверху — дождь.

— Кончилась зима,— сказала Петракова.

На ней было надето что-то черное с коричневым. Несочетаемо, а интересно.

Дождь лупил по плечам. Ее очки были в брызгах. Олег обратил внимание на номера машины: 17-40. «Без двадцати шесть,» — подумал он. И еще подумал: через двадцать минут последняя капля. Он тоже существовал в орбите часов и капель.

Петракова никак не могла насадить дворники.

— Дай я,— предложил Олег.

Он забрал у нее дворники и легко надел их.

Петракова не двигалась. Смотрела зачарованно. Потом сказала:

— Какие у тебя руки...

— Какие? — не понял Олег.

— Красивые. Мужские. Это очень редкость — красивые руки. Знаешь?

— Ты говоришь, как по подстрочнику,— заметил Олег.

— Ага,— согласилась Петракова.— Я часто думаю по-английски. Потом перевожу.

Петракова отсидела с мужем десять лет в англоязычной стране. У нее даже появился легкий акцент.

В квартире шел ремонт. Пол был засыпан известкой и застлан газетами. Мебель и диван закрыты простынями. «Как в операционной,— подумал Олег.— Только там чисто, а тут грязь. Да и там грязь, если придираться».

Мужа не было дома, он работал в Женеве. Петракова вернулась в Москву — караулить сына, чтобы не сбился с пути. Не стал на плохую дорогу. У сына был переходный возраст. Четырнадцать лет.

В данную минуту времени сына тоже не было дома, и он не оставил записки — где находится. Возможно,



17–751

именно в эту минуту он ступил на плохую дорогу и пошел по ней.

Петракова усадила Олега на диван, запустила кассету и вышла из комнаты.

Договорились: он посмотрит несколько фильмов — не до конца, минут по десять, и потом выберет то, что интересно. За десять, даже за две минуты бывает ясно — с чем имеешь дело. Искусство или так... вторичное сырье.

На экране замелькали кадры. Потащился сюжет. Сюжет состоял в том, что не очень молодая, страшненькая, затюканная жизнью женщина содержит публичный дом. Ее сын, умственно неполноценный дебил, слоняется по дому и заглядывает в замочные скважины. Вот, собственно, и все. Обыкновенная порнуха. Художественной ценности не представляет.

Порнуху, конечно, можно посмотреть, но не в доме начальницы, заведующей отделением. И не в своем доме, где мать и больная жена.

Хорошо было бы сменить кассету, но у Петраковой другое видео, мультисистемное, другое расположение кнопок. Сломает еще...

Олег смотрел и не мог оторваться, и его будто тянуло в дурной омут. Фильм шел на английском языке.

Вошла Петракова. Спросила:

— Хочешь переведу? — и села к нему на колени. Он услышал сладковатый жасминовый запах ее духов.

— Какие у тебя глаза...

Олег не стал уточнять какие. Не до того.

— Я переведу синхронно,— сказала Петракова и стала делать то же самое, что делалось на экране. Следовало вскочить, стряхнуть с себя бесцеремонную Петракову. Если бы он тогда вскочил — именно в ту минуту, когда она села,— ничего бы не было. Но он не сделал это сразу. Потом она заговорила про глаза. Время было упущено. Он услышал на своем теле ее руки. Это были руки... Они умели все. И держать скальпель. И ласкать... Петракова была хирург от бога. И женщина от бога... О... Как она умела ласкать.

Олег сидел в блаженном дурмане. Петракова затягивала его. Подтаскивала к обрыву. Сейчас полетит с мучительным предсмертным криком.

— Не надо...

— Почему? — Петракова сняла очки, и он увидел ее глаза — зеленые, безбожные...

Вот тут еще был шанс — приказать себе и ей: не надо! Но он схватил ее, смял — всеми своими молодыми мускулами, ущемленным самолюбием, зрелой страстью, жестоким долгим воздержанием, всем своим горем и безысходностью, отчаяньем раненого оленя.

Это не ты мне переводишь. Синхронно. Это я сам тебе все скажу. По-своему. На своем языке. Растопчу и возвышу.

Диван был кожаный. Простыни съехали. И Петракова съехала на пол. Она лежала в известке на газетах и смотрела безучастно, как Ирочка. Опять Ирочка.

В глубине квартиры раздались мужские голоса.

— Кто там?

— Рабочие, — безучастно ответила Петракова.

— Они были здесь все это время?

— Ну конечно. У нас же ремонт.

Олег онемел. Сидел с раскрытым ртом. Хорош у него был видок: с незастегнутыми штанами и раскрытым ртом. Петракова расхохоталась.

Ему захотелось ударить, но очень тонкое лицо. И не в его это правилах.

Олег поднялся и пошел из квартиры, ступая по газетам.

Дома дверь не заперта. Матери нет — видимо, у соседей. Хорошо. Не хотелось разговаривать.

Олег стал под горячий душ, смывал с себя ее прикосновения. Раздался телефонный звонок. Он заторопился, вышел из ванной голым. Текла вода.

— Я тебя искал, — сказал в телефон Валька Щетинин. — Где ты был?

Олегу не хотелось говорить, но и врать не хотелось.

— У Петраковой, — сказал он.

— А-а-а... — двусмысленно протянул Валька.

— Что «а»? — насторожился Олег. Ему уже казалось, что все всё знают.

— Она тебе говорила: какие глаза, какие руки.

— А что?

— Она всем это говорит, — спокойно объяснил Валька.

— Подожди... — Олег вернулся в ванную. Надел махровый халат. Так было защищеннее.

— Она что, проститутка? — беспечно спросил Олег.

— Вовсе нет. Она блядь.

— А какая разница?

— Проститутка — профессия. За деньги. А это — хобби. От жажды жизни.

Значит, не он и она. А две жажды.

Вот они, сложные женщины. Личности. Его употребили, как девку. Олег стиснул зубы.

Прошел к Ирочке. Сел в ногах. Стал смотреть «Пятое колесо». Сабака подвинулась, положила морду ему на колени. Дом... Собака его боготворит. Мать ловит каждый взгляд. Жена просто умрет без него. Только в этом доме он — бог. Богочеловек. А там, за дверьми, в большом мире, сшибаются машины и самолюбия, шуруют крысы и убийцы. Мужчины теряют честь.

Олег взял руку Ирочки, стал тихо, покаянно ее целовать.

Ирочка смотрела перед собой, и непонятно, была эта самая положительная динамика или нет.

В конце мая переехали на дачу. Лида Грановская отдала свое поместье, поскольку у них с Велучем все лето было распланировано. На дачу они не попадали. Июнь — Америка. Июль — Прибалтика. Август — Израиль.

— Сейчас не ездят только ленивые,— сказала Лида.

«Ленивые и я»,— подумала Анна.

Было себя жаль, но не очень. В ее жизни тоже накапливалась положительная динамика. Из трех неприятелей Анны: отсутствие конечного результата, недосып и недообщение — первые два сдались, бросили свои знамена к ее ногам.

Стрелка конечного результата заметно пошла от нуля к плюсу. Ирочка все чаще осмысленно смотрела по сторонам. Значит, понимала. Значит, скоро заговорит. И встанет. И вспомнит.

Травник оказался прав. Жизнь прекрасна именно по утрам. Анна просыпалась с восходом солнца, выходила в огород. Из земли пробивалось и тянулось вверх все, что только могло произрасти: и полезные травы, и сорняки. Казалось, каждая травинка страстно устремлялась к солнцу: люби меня. Мудрые старые ели, кряхтя, потягивались: все позади, все суета сует, глав-

ное — пить воду Земли, свет Солнца и стоять, стоять как можно дольше — сто лет, двести... Всегда...

Ажурные тонкие березки трепетали листьями, лопотали, готовились к дню, к ошибкам — пусть к роковым просчетам, пусть к гибели. Можно сгинуть хоть завтра, но сегодня — любовь, любовь...

Солнце только проснулось, не устало, не пекло, нежно ласкало Землю. Птицы опрометью ныряли в воздух из своих гнезд. Вдалеке слышался звон колокольцев. Это старик Хабаров вел своих коз на выпас.

У старика было семь коз: коза-бабка, козел-дед, двое детей и трое внуков. Козочки-внучки были беленькие, крутолобые, с продольными зрачками в зеленых, как крыжовины, глазах.

Они входили всем выводком на участок. Это Хабаров приносил трехлитровую банку молока. Анна отдавала пустую банку с крышкой. И так каждый день.

Ирочка сидела под деревом на шезлонге. Козы окружали ее. Библейская картина. Старик Хабаров каждый раз внимательно вглядывался в Ирочку. Однажды сказал:

— Ангела убили...

— Почему убили? Просто несчастный случай,— поправила Анна.

— Нет...— старик покачал головой.— Люди убили ангела.

Он забрал пустую чистую банку и пошел с участка, сильно и, как казалось, раздраженно придавливая землю резиновыми сапогами.

«Сумасшедший,— подумала Анна.— Крыша поехала».

Волосы у Ирочки отросли, глаза стояли на лице с неземным абстрактным выражением. Анна вспомнила, что у Ирочки неясно с родителями. Есть ли они? А может быть, действительно она — ниоткуда. Ангел, взявший на себя зло мира.

В середине лета приехал травник. Привез бутылочку с новым настоем. И сетка тоже новая: три раза в день через каждые шесть часов. Десять утра, четыре часа дня, десять вечера. Все. Это уже легче. Это уже курорт.

Сидели на траве, ели клубнику со своей грядки. Пили козье молоко из тяжелых керамических кружек.

— Скажите,— осторожно спросила Анна. Она боялась показаться травнику сумасшедшей и замолчала.

— Ну...— Травник посмотрел, как позвал.

— А может быть так, что Ирочка взяла на себя чужое зло?

— Вообще, вы знаете... Земля сейчас, если смотреть из космоса, имеет нехорошую, бурую ауру. Много крови. Зла.

— И что?

— Надо чистить Землю.

— Каким образом?

— Не говорить плохих слов, не допускать плохих мыслей и не совершать дурных поступков.

— И все?— удивилась Анна.

— И все. Человек — это маленькая электростанция. Он может вырабатывать добро, а может зло. Если он выбрасывает зло, атмосфера засоряется бурыми испарениями. И человек сам тоже засоряется. Надо чистить каналы.

— Какие каналы?

— Есть кровеносные сосуды, по ним идет кровь. А есть каналы, которые связывают человека с космосом. Вы думаете, почему ребенок рождается с открытым темечком? Мы общаемся с Солнцем. Солнце проникает в нас. Мы в него.

— Значит, зло поднимается к Солнцу?— поразилась Анна.

— А куда оно девается, по-вашему?

Травник посмотрел на Анну, и она увидела, что глаза у него как у козы — зеленые, пронизанные солнцем, только не с продольными зрачками, а с круглыми.

Когда травник уходил, Анна спросила, смущаясь:

— Сколько я вам должна?

— Я в другом месте заработаю,— уклонился травник.

— В каком?— полюбопытствовала Анна.

— Мы открыли совместное предприятие. Компьютеризация школ.

Анна ахнула. Вот тебе и божий человек. Нынче божьи люди и те в кооперативах.

Потом поняла: он не божий человек. Нормальный технарь. Просто не думает и не говорит плохо. От этого такое ясное лицо и глаза. Просто он чистит Землю.

Анна стояла над муравейником.

Она могла теперь уходить далеко в лес. Гулять подолгу. Из трех неприятелей остался один: недообщение. Олег приезжает раз в неделю. В основном его нет. Ирочки тоже как бы нет. Но зато есть книги. У Грановских прекрасная библиотека.

Выяснилось, что Анна — узкий специалист. Знает узко, только то, что касается профессии. А дальше — тишина... Серая, как валенок. Как рассветная мгла. Чехова не перечитывала со школьных времен. А что там было в школе? Человек в футляре? Борьба с пошлостью?

Какая борьба? Писатель не борется, он дышит временем. Анна открыла поразительное: Чеховых два. Один — до пятого тома. Другой — после. Пять томов разбега, потом взлет. Совершенно новая высота. Отчего так? Он знал, что скоро умрет. Туберкулез тогда не лечили. Жил в уединении, в Ялте. Вырос духовно до гениальности.

Уединение имеет свои преимущества. Может быть, остаться здесь навсегда. Купить избу. Завести коз.

Что город? Котел зла, из которого поднимаются в небо бурые испарения. А она сама, Анна, чем она жила? Какими установками? Выдирала Вершинина из семьи. А у него действительно две дочери, пятнадцать и семнадцать лет. Как они войдут в жизнь после предательства отца? А жена... Куда он ее? Пустит по ветру? Она наденет в волосы пластмассовый бантик и сквозь морщины будет улыбаться другим мужчинам? А Вершинин будет жить с усеченной совестью? Зачем он ей, усеченный...

Травник неправ. Зло, которое вырабатывает человек, опускается на его же собственную голову.

«Люди через сто лет будут жить лучше нас». Так говорили Астров, Вершинин, Мисаил Полознев, Тузенбах. Видимо, сам Чехов тоже так думал.

Через сто лет — это сейчас. Сегодня. Тогда были девяностые годы девятнадцатого века. Сейчас — двадцатого. И что же произошло за сто лет?

Сегодняшний Вершинин выходит в отставку. Армию сокращают. Тузенбахи вывелись как класс. Исчезло благородное образованное офицерство. Сталин ликвидировал. Соленый вступил в общество «Память». Ирина и Маша пошли работать. Они хотели трудиться

до изнеможения? Пожалуйста. Этого сколько угодно.

В Москву не переехать, не прописывают. Только по лимиту.

А мы, сегодняшние, смотрим в конец девятнадцатого века и ностальгируем по той, прежней жизни, по барским усадьбам, белым длинным платьям, по вишневым садам, по утраченной вере...

От муравейника шел крепкий спиртовый дух. Сосна оплывала смолой. Земля отдавала тепло. Как давно Анна не жила так — с муравьями, с деревьями, с собой, с Чеховым. Интересный был человек. А почему был? И есть. Книги сохранили его мысли. Энергетику души. В сущности — саму душу. Значит, можно беседовать. Правда, беседа односторонняя — монолог. Но все равно односторонняя беседа с Чеховым — интереснее, чем двусторонняя с Беладонной: опять про внука, опять про Ленчика, ля-ля тополя...

Ирочка... Как перевернула всю жизнь. Как будто Анна переместилась на другую сторону планеты и плывет в другом полушарии, где свой климат и своя еда.

Вернувшись на дачу, Анна застала Беладонну.

Беладонна щелкала семечки и разговаривала с Ирочкой, как с равной. Ее совершенно не смущала Ирочкина отключенность. Беладонне главное было — сказать, выговориться.

— Представляешь...— громко закричала Беладонна через весь участок.— Эта сволочь Ленчик, говно на лопате, я ему говорю: возьми ребенка на выходные, это все-таки и твой внук. А он мне...

— Не надо,— тихо, испуганно попросила Анна, подходя.

— Что «не надо»? — сбилась Беладонна.

— Не говори слова «говно».

— Почему? — еще больше удивилась Беладонна.

— Нет такого слова.

— Как это... Говно есть, а слова нет?

Оперировал Олег. Петракова — на подхвате, всевидящим оком, как инструктор-ас при вождении машины.

Операция — сложнейшая. Разъединяли сиамских близнецов. Срослись в позвоночнике, было общих четыре сантиметра. Сначала подумывали одного отбраковать, чтобы второй шел — с гарантией. Но Петрако-

ва постановила: поровну. Как можно отбраковать живого человека? На ком остановить выбор?

Операция удалась. Оба мальчика живы. Их повезли в реанимацию на двух разных каталках.

— В тебе есть крупицы гениальности величиной с клопов,— небрежно оценила Петракова.

Называется похвалила. Почему с клопов? Надо обязательно обидеть. Сочетать несочетаемое: восхищение и презрение.

Олег не ответил. Снял маску.

— Поехали ко мне,— между прочим позвала Петракова.

— Зачем?— холодно спросил Олег.

— Угадай с трех раз.

Он молчал. Стягивал перчатки. Она смотрела на его руки.

— Как мы...— вспомнила она и сморщилась, будто от ожога. Ее жгли воспоминания.

Олег испугался, что она назовет вещи своими именами. Но она не назвала.

— С крупицами гениальности?— насмешливо подсказал Олег.

— Ты весь гениальный. От начала до конца. Ты себе цены не знаешь, да тебе и нет цены. Твоя мать — счастливая женщина. Хорошего сына вырастила. Я бы мечтала, чтобы у меня был такой...

Немецкий философ считал, что женщины бывают двух видов: матери и проститутки. Это совершенно разные психологические структуры с разным набором ценностей. Петракова каким-то образом смешивала в себе одно с другим. Вернее, одну с другой. И Олега тоже видела в двух ипостасях: и сыном и любовником.

— Пойдем ко мне в кабинет,— позвала Петракова.

— Нет-нет...— торопливо отказался Олег.

— Боишься?

— Чего мне бояться?

— А если не боишься, пошли,— подловила она.

Пришлось идти за ней в кабинет.

В кабинете она достала из холодильника бутылку виски. Стаканы. Разлила.

— За Мишу и Сашу.— Так звали близнецов.

Олег почувствовал, как устал. Четыре часа на ногах. Высочайшее нервное напряжение. Он гудел, как высоковольтный столб.

Выпил. Послушал себя. Напряжение не проходило.

Петракова села рядом. Хорошо, что не на колени.

— Поедем ко мне,— спокойно позвала она.

— Я не поеду.— Олег твердо посмотрел ей в лицо.— Не надо.

— Почему?— Она сняла очки, обнажая большие удивленные глаза.— Тебе же не надо на мне жениться. Я замужем. Тебе не надо тратить на меня время. Я занятый человек. Не надо тратить деньги. Они у меня есть.

— Что же остается?— спросил Олег.

— Ну... немножко тела. Немножко души. Чуть-чуть...

— Я так не могу. Немножко тут, немножко там... Смотреть на часы, торопиться, врать. Ты же первая меня возненавидишь. И я себя возненавижу.

— Хочешь я брошу мужа?

Олег внимательно посмотрел в ее глаза. Там стояло детское бесстрашие. С этим же детским бесстрашием он прыгал на спор с крыши сарая.

— Нет. Не хочу,— ответил Олег.— Я не могу изменить свою жизнь.

— ПОЧЕМУ?

В ее вопросе было непонимание до самого дна. Им так хорошо вместе: общее дело, полноценная страсть. Как можно этого не хотеть?

— Моя жена больна. Она парализована.

— Но ты-то не парализован. Ты что, собираешься теперь на бантик завязать?

Олег не сразу понял, что она имеет в виду. Потом понял. Налил виски.

— Она подставила за меня свою жизнь. Она ангел...

— Что за мистика?— Петракова пожала плечами.— В Москве каждый день восемнадцать несчастных дорожных случаев. Один из восемнадцати, и больше ничего.

Олег смотрел в пол, вспомнил тот недалекий, теперь уже далекий день. Рафик шел по прямой. У него было преимущество. Шофер — их шофер, милый парень — не пропустил. Нарушил правило движения. Создал аварийную ситуацию. Вот и все. И больше ничего.

— Я не буду, Юля.— Он впервые назвал ее по имени.— Я не могу и не буду.

— Просто я старая для тебя. Тебе двадцать восемь, а мне тридцать восемь. В этом дело.

Петракова опустила голову. Он увидел, что она плачет — победная Петракова — хирург от бога, женщина от бога — плачет. Из-за кого...

Олег растерялся.

— Это не так. Ты же знаешь.— В нем все заметалось от противоположных чувств.— Ты мне... нравишься. Я просто боюсь в тебе завязнуть. Я не могу...

Петракова вытерла лицо рукой, будто умылась. Посидела какое-то время, возвращаясь в себя. Вернулась. Сказала спокойно и трезво:

— Ладно. Пусть будет так, как ты хочешь. Не будем начинать.

Между ними пролегла заполненная до краев тишина.

— Если бы ты пошел за мной...— она споткнулась, подыскивая слова,— пошел за мной в страну любви... Это такая вспышка счастья, потом такая чернота невозможности... Так вот, если эту вспышку наложить на эту черноту — получится в среднем серый цвет. А сейчас... Посмотри за окно: серый день. То на то и выходит. Остаемся при своих. Выпьем за это.

За окном действительно стелился серый день.

Они расстались при своих. Олег поехал на дачу.

На веранде сидели Грановские и Беладонна.

Олег знал, что Грановские вернулись из Америки.

— Ну как там, в Америке? — вежливо спросил Олег, подсаживаясь. На самом деле ему это было совершенно неинтересно. На самом деле он думал о Петраковой. Хотелось не забыть, а помнить. Каждое слово, каждый взгляд, каждый звук — и между звуками. И между словами. Когда с ней общаешься — все имеет значение. Совершенно другое общение. Как будто действительно попадаешь в другую страну. Что ему Америка. Можно поехать в Америку и никуда не попасть.

— Там скучно. Здесь — противно,— ответил Грановский.

— Они едут в Израиль,— похвастала Анна.

— А вы там не останетесь? — впрямую спросил Олег.

— Меня не возьмут. Я для них русский. У меня рус-

ская мать. Евреи определяют национальность по матери.

— Там русский, а здесь еврей,— заметила Лида.— Тоже не подходит.

— Да. Сейчас взлет национального самосознания,— подтвердила Беладонна.

— Гордиться тем, что ты русский, это все равно как гордиться тем, что ты родился во вторник,— сказал Олег.— Какая твоя личная в этом заслуга?

Все на него посмотрели.

— Вот вы работаете в русской науке, продвигаете ее, значит, вы русский. А некто Прохоров нанял за пять тысяч убить человека. Он не русский. И никто. И вообще не человек.

— Не надо все валить в одну кучу,— остановила Беладонна.— Русские — великая нация.

— А китайцы — не великая?

Олег поднялся из-за стола и ушел.

— Что это с ним? — спросил Грановский.

— Устал человек,— сказала Лида.

Все замолчали. У Анны навернулись слезы на глаза. Ее сын устал. И в самом деле: что у него за жизнь.

Молчали минуту, а может, две. Каждый думал о своем. Грановский — о науке. Где ее двигать, эту самую русскую науку.

Может, в Америке? В Америке сейчас спокойнее и деньги другие. Но здесь он — Велуч, великий ученый. А там — один из... Там он затеряется, как пуговица в коробке. Грановский мог существовать только вместе со своими амбициями.

Лида думала о том, что если Грановскому дадут в Америке место — она не поедет. И ему придется выбирать между наукой и женой. И неизвестно, что он выберет. Если дадут очень высокую цену, то и она войдет в эту стоимость...

Беладонна прикидывала: как бы Ленчика вернуть обратно в семью. Пока ничего не получается. Глотнув свободы, Ленчик воспарил, и теперь его не приземлишь обратно.

Анна вдруг подумала, что не говорить и не делать плохо — это, в сущности, Христовы заповеди, те самые: не убий, не пожелай жены ближнего... Интересное дело. Все уже было. И опять вернулось. Значит, все было. ВСЕ.

Олег сел возле Ирочки на пол.

Собака покосилась и не подползла. Что-то чувствовала.

Он все сделал правильно. Не пошел за Петраковой в страну любви. Сохранил чистоту и определенность своей жизни. Но в мире чего-то не случилось: не образовалось на небе перламутровое облачко. Не родился еще один ребенок. Не упало вывороченное с корнем дерево. Не дохнуло горячим дыханием жизни.

Ирочка лежала за его спиной, как прямая между двумя точками: А и Б. Она всегда была ОБЫКНОВЕННАЯ. Он за это ее любил. Девочка из Ставрополя, им увиденная и открытая. Но сейчас ее обычность дошла до абсолюта и графически выражалась как прямая между двумя точками. И больше ничего.

Петракова — многогранник с бесчисленными пересечениями. Она была сложна. Он любил ее за сложность. Она позвала его в страну любви. Разве это не награда — любовь ТАКОЙ женщины. А он не принял. Ущербный человек.

Олег поднялся, взял куртку и сумку.

Вышел из дома.

— Ты куда? — крикнула Анна.

— Мне завтра рано в больницу! — отозвался Олег.

— Мы тебя захватим! — с готовностью предложила Лида.

— Нет. Я хочу пройтись.

Олег вышел за калитку. Чуть в стороне стояла серебристая «девятка», номера 17-40.

«Без двадцати шесть», — подумал Олег и замер, как соляной столб. Это была машина Петраковой.

Олег подошел. Она открыла дверь. Он сел рядом. Все это молча, мрачно, не говоря ни слова. Они куда-то ехали, ехали, сворачивали по бездорожью, машину качало. Уткнулись в сосны.

Юлия бросила руль. Он ее обнял. Она вздрагивала под его руками, как будто ее прошили очередью из автомата.

В конце ноября выпал первый снег.

Ирочка уже ходила по квартире, но еще не разговаривала, и казалось, видит вокруг себя другое, чем все.

Олег приходил домой все реже. Много работал. Ночные дежурства. А когда бывал дома — звонила за-

ведующая отделением Петракова и вызывала на работу. Как будто нет других сотрудников.

Однажды Анна не выдержала и спросила:

— А вы поставьте себя на место его жены.

На что Петракова удивилась и ответила:

— Зачем? Я не хочу ни на чье место. Мне и на своем хорошо.

Вот и поговори с такой. Глубоководная акула. Если она заглотнет Олега, Анна увидит только его каблуки.

Однажды, в один прекрасный день, именно прекрасный, сухой и солнечный, Анна решила вывести Ирочку на улицу. С собакой.

Она одела Ирочку, застегнула все пуговицы. Вывела на улицу. Дала в руки поводок. А сама вернулась в дом.

Смотрела в окно.

Собака была большая, Ирочка слабая. И неясно, кто у кого на поводке. Собака заметила что-то чрезвычайно ее заинтересовавшее, резко рванулась, отчего Ирочка вынуждена была пробежать несколько шагов.

— Дик! — испуганно крикнула Анна, распахнула окно и сильно высунулась.

Собака подняла морду, выискивая среди окон нужное окно.

Анна погрозила ей пальцем. Собака внимательно вглядывалась в угрожающий жест.

Ирочка тоже подняла лицо. Значит, услышала.

Анна видела два обращенных к ней, приподнятых лица — человеческое и собачье. И вдруг поняла: вот ее семья. И больше у нее нет никого и ничего. Олега заглотнули вместе с каблуками. Остались эти двое. Они без нее пропадут. И она тоже без них пропадет. Невозможно ведь быть никому не нужной.

Дик слушал, но не боялся. Собаки воспринимают не слова человека, а состояние. Состояние было теплым и ясным, как день.

Ирочка стояла на знакомой планете. Земля. Она узнала. Вот деревья. Дома. Люди.

А повыше, среди отблескивающих квадратов окон, ЧЕЛОВЕК — ТОТ, КТО ЕЕ ЖДАЛ. Трясет пальцем и улыбается.

Над ним синее, чисто постиранное небо. И очень легко дышать.

## СОДЕРЖАНИЕ

**Токарева В. С.**
Т 51 Сказать — не сказать: Повесть, рассказы / Худож. Вл. Медведев.— М.: СП «Слово», 1991.— 271 с., ил.

ISBN 5-85050-267-X

Виктория Токарева родилась в Ленинграде, окончила музыкальное училище, а переехав в Москву — сценарный факультет ВГИКа. Первый ее рассказ «День без вранья» напечатан в 1964 г. «Виктория Токарева смотрит на мир так, будто другие глаза его еще не видели, будто ей дана возможность впервые обнаружить природу и суть вещей» (Ю. Нагибин). В настоящий сборник вошли новые произведения и печатавшиеся в журналах, получившие широкое читательское признание.

**Т $\frac{4702010201—47}{М\ 128(03)—91}$ Без объявл.** **ББК 84Р7**

**Токарева Виктория Самойловна**

**СКАЗАТЬ — НЕ СКАЗАТЬ**

Редактор *Н. М. Долотова*

Художественный редактор *В. В. Медведев*

Технический редактор *Л. И. Витушкина*

Корректоры *Т. И. Томашевская* и *Г. И. Киселева*

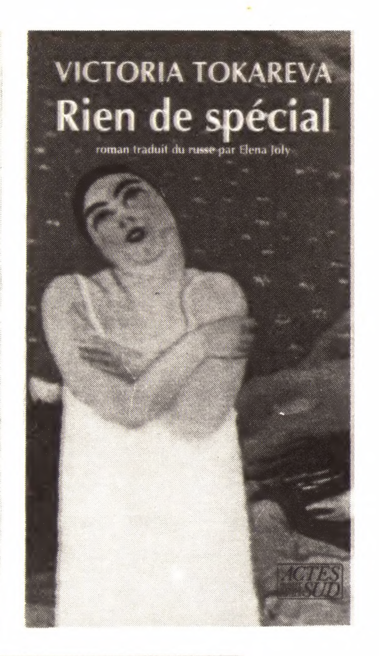
Сдано в набор 13.06.91 г. Подписано в печать 22.11.91 г. Формат 84 × 108$^1/_{32}$.
Бумага офсетная № 1. Гарнитура «Таймс». Печать офсетная.
Усл. печ. л. 14,28. Усл. кр.-отт. 15,12 Уч.-изд.л. 14,72.
Тираж 50 000 экз. Заказ № 751 Цена договорная.

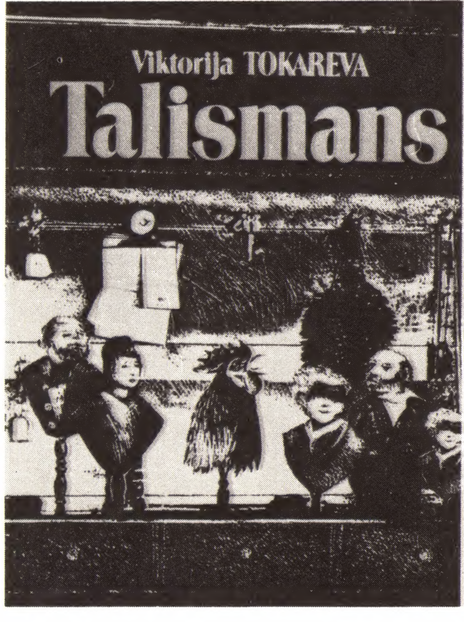
СП «Слово» 119034, Москва, Остоженка, 41.
Можайский полиграфкомбинат Министерства печати и массовой информации РСФСР. 143200, г. Можайск, ул Мира, 93.

KEĎ SA TROCHU OTEPLILO

Viktória Tokarevová

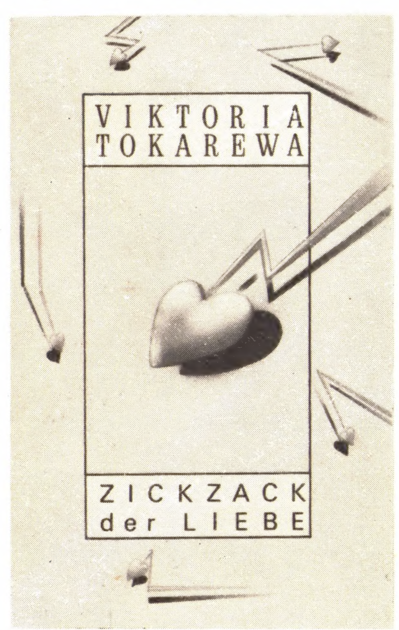
nová sovietska tvorba




Talisman
Onromantisch
Victoria Tokareva
UITGEVERIJ SIMON


Máj
Den bez lhaní
VIKTORIJA TOKAREVOVA


VIKTORIA
TOKAREWA
ZICKZACK
der LIEBE


VIKTORIJA
TOKAREVA
AZ ÚSZÓ-
MESTER